ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ



ВЪ ПОМОЩЬ ПЛѢННЫМЪ РУССКИМЪ ВОИНАМЪ.

1916

ъ помощь плѣннымъ русскимъ воинамъ.

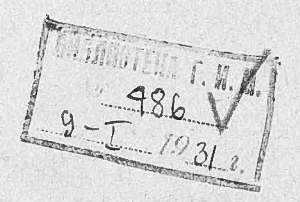


ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ

подъ редакціей

Н. В. Давыдова и Н. Д. Телешова.

МОСКВА.—1916.





Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., соб. домъ.
МОСКВА.—1916.

ВЪ ПОМОЩЬ ПЛѢННЫМЪ РУССКИМЪ ВОИНАМЪ.

СТАТЬИ и РАЗСКАЗЫ: Авиловой, Л. А.—Андреева, Л. Н.—Максима Горькаго.—Глѣбова, В. М.—Давыдова, Н. В.—Данилина, И. А.—Кизеветтера, А. А.—Котляревскаго, С. А.—Крашенинникова, Н. А.—Кречетова, С. А.—Разумовскаго, С. Д.—Кн. Сумбатова, А. И.—Телешова, Н. Д.—Тимоѳеева, Б. А.—Кн. Трубецкого, Е. Н.—Шмелева, И. С.

СТИХОТВОРЕНІЯ: Балтрушайтиса, Ю. К.—Бальмонта, К. Д.—Брюсова, В. Я.—Бунина, И. А.—Бѣлоусова, И. А.—Вересаева, В. В.—Гальперина, М. П.—Герцогъ, Е. С.—Грузинскаго, А. Е.—Ершова, П. П.—Кречетова, С. А.—Лепетича, Н. Н.—Мунштейна, Л. Г.—Петровскаго, П. Н.—Ратгауза, Д. М.—Столицы, Л. Н.—Тардова, В. Г.—Чельцова, А. В.—Чумаченко, А. А.

РИСУНКИ: Андреева, Н. А.—Васнецова, В. М.—Виноградова, С. А.—Гольдингеръ, Е. В.—Малютина, С. В.—Моравова, А. В.—Нестерова, М. В.—Ноаковскаго, С. В.—Пастернака, Л. О.—Полѣнова, В. Д.—Степанова, А. С.—Сурикова, В. И.—Якунчиковой, М. В.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Мысль объ изданіи настоящаго литературнаго сборника, цѣлью котораго является оживленіе и поддержаніе въ обществѣ заботы о нашихъ плѣнныхъ воинахъ за границей и оказаніе имъ матеріальной помощи, принадлежитъ одному изъ общественныхъ дѣятелей Москвы, княгинѣ М. Н. Гагариной, по инициативѣ которой составился редакціонный комитетъ сборника, взявшій на себя заботу о приглашеніи къ участію въ изданіи дѣятелей русской литературы и искусства.

Принося благодарность всѣмъ авторамъ и художникамъ, давшимъ свои произведенія, и въ ихъ числѣ Н. А. Андрееву, сработавшему спеціально для сборника скульптуру льва въ оковахъ, снимокъ съ которой изображенъ на обложкѣ книги, редакція долгомъ своимъ считаетъ упомянуть, что средства на расходы по изданію, на бумагу, печатаніе и т. п. были даны въ суммѣ 2640 рублей послѣднимъ общимъ собраніемъ московскихъ дѣятелей „Дня Печати". Кромѣ того, редакція считаетъ нелишнимъ отмѣтить, что изъ помѣщаемыхъ литературныхъ произведеній разсказъ И. С. Шмелева „У плакучихъ березъ", ранѣе напечатанный въ газетѣ, въ настоящее время переработанъ авторомъ; разсказъ С. А. Кречетова „Въ грозныхъ поляхъ" печатается полностью впервые, но извлеченія изъ него появлялись въ газетахъ; поэма „Сузге" П. П. Ершова, автора знаменитаго „Конька-Горбунка", была напечатана въ Сибирскомъ

сборникѣ 30 лѣтъ тому назадъ и остается почти никому неизвѣстной. Прилагаемые рисунки взяты для сборника исключительно изъ числа пожертвованныхъ художниками кн. М. Н. Гагариной для той же цѣли: въ пользу плѣнныхъ.

Чистый доходъ отъ настоящаго изданія будетъ переданъ въ „Московскій Городской Комитетъ помощи русскимъ военноплѣннымъ", взявшій на себя заботы объ улучшеніи участи нашихъ плѣнныхъ за границей, а денежный отчетъ будетъ своевременно опубликованъ.



В. И. Суриковъ. ВЪ ПОЛЬЗУ РУССКИХЪ ПЛѢННЫХЪ.

Заботы о военно-плѣнныхъ и международное право.

Заботы о нашихъ плѣнныхъ, которые томятся въ лагеряхъ Германіи и Австро-Венгріи, есть дѣло непосредственнаго чувства, настолько очевидное и простое, что нѣтъ надобности доказывать его нравственную обязательность. Столь же безспорно значеніе того, въ какомъ состояніи вернутся наши плѣнные по окончаніи войны на родину: вынесутъ ли они воспоминанія о нашемъ къ нимъ вниманіи и участіи или будутъ лишь помнить, какъ они мѣсяцы и годы оставались заброшенными, не получающими никакой матеріальной или моральной поддержки съ родины. Простой утилитарный расчетъ остающихся идетъ здѣсь навстрѣчу непосредственному голосу сердца. Но забота о военноплѣнныхъ имѣетъ и другое, если угодно, болѣе отвлеченное значеніе, которое не должно быть забываемо.

Мы часто говоримъ, что современная война показала крайнюю слабость международнаго права. Тамъ, гдѣ все рѣшается соображеніями государственной необходимости, гдѣ во имя этой необходимости не только нарушаются договоры, но забываются законы божескіе и человѣческіе, тамъ трудно сохранить вѣру въ это право, о которомъ и среди юристовъ не конченъ споръ: представляетъ ли оно собой настоящее право? Думается, однако, что не слѣдуетъ здѣсь слишкомъ поддаваться впечатлѣніямъ переживаемой минуты. Если опустошена Бельгія и потоплена „Лузитанія“, то не надо забывать, какую реакцію не только нравственнаго, но и правового чувства вызвали эти дѣйствія Германіи въ нейтральныхъ странахъ. Обнаруживалось безсиліе международныхъ правовыхъ обязательствъ, но обнаружились всѣ гибельныя послѣдствія подоб-

наго безсилія. Тотъ, кто вѣритъ въ правовой культурный процессъ человѣчества, не можетъ сомнѣваться, что рано или поздно переживаемыя великія потрясенія правовой культуры приведутъ къ ихъ новому созиданію. Но во всякомъ случаѣ европейскіе народы должны будутъ обосновать свое общеніе на новыхъ болѣе прочныхъ началахъ. Рано или поздно найдены будутъ средства ограничить растущія вооруженія, способы мирнымъ путемъ разрѣшать самые опасные конфликты, осуществится то, чего не могли выполнить первая и вторая гаагская конференція. Рядомъ съ этими основами будущаго международнаго правового общенія явятся и другія, касающіяся менѣе сложныхъ проблемъ, но столь же необходимыя. Можно быть увѣреннымъ, что опыты нынѣшней войны не останутся безъ вліянія и на право военноплѣнныхъ.

Собственно говоря, теоретически это право и теперь принадлежитъ къ болѣе передовымъ областямъ международнаго права. Широкія и гуманныя начала были здѣсь провозглашены французской революціей, которая вообще внесла первоначально въ международный оборотъ извѣстный идеализмъ (все ея отношеніе къ иностранцамъ, уничтоженіе droit d'aubin и т. п.). Декреты 1792 г. о положеніи и обмѣнѣ военноплѣнныхъ предвосхищаютъ многія статьи брюссельской и гаагской деклараціи. Эти начала повторялись на международныхъ конференціяхъ и получили законченное выраженіе въ томъ кодексѣ правилъ, который приняла вторая гаагская конференція. Наконецъ, они отразились и во внутреннемъ законодательствѣ отдѣльныхъ государствъ, среди коихъ,—мы можемъ это утверждать со справедливой гордостью,—русское законодательство о военноплѣнныхъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Достаточно съ этой стороны указать на нынѣ дѣйствующее Положеніе о военноплѣнныхъ 7 октября 1914 г., которое отступаетъ отъ гаагскихъ постановленій лишь въ вопросѣ объ оплатѣ труда военноплѣнныхъ.

Практика, къ сожалѣнію, здѣсь часто совершенно не похожа на теорію. Данныя о судьбѣ нашихъ военноплѣнныхъ въ Германіи и Австро-Венгріи показываютъ прежде всего, что она весьма разнообразна. Уровень матеріальныхъ и моральныхъ лишеній въ различныхъ лагеряхъ очень различенъ, и можно думать, что то поистинѣ возмутительное обращеніе, которому подвергаются наши плѣнные въ нѣкоторыхъ изъ

этихъ лагерей, зависитъ не столько отъ общихъ предуказаній свыше, сколько отъ мѣстныхъ властей. Вѣдь даже извѣстныя правила германскаго генеральнаго штаба, вообще столь мало соотвѣтствующія современнымъ международно-правовымъ воззрѣніямъ и началамъ, здѣсь значительно менѣе съ ними расходятся, чѣмъ въ другихъ отдѣлахъ. Въ этомъ смыслѣ режимъ русскихъ плѣнныхъ въ Японіи былъ гораздо болѣе однообразнымъ. Современная война показала, что нужно не столько измѣненіе нормъ, уже признанныхъ въ международномъ оборотѣ, сколько ихъ лойяльное соблюденіе.

Главное условіе подобнаго соблюденія, а также и общаго развитія относящихся сюда международныхъ правовыхъ нормъ заключается въ живомъ сознаніи ихъ необходимости. Вѣдь всякое право дѣйственно, по скольку оно идетъ навстрѣчу личной или коллективной потребности,—и международное право не составляетъ здѣсь исключенія. Тамъ, гдѣ бремя милитаризма еще не ощущается, какъ невыносимая тягость, тамъ проекты ограниченія вооруженій и обязательнаго арбитража имѣютъ мало шансовъ на успѣхъ. Тамъ, гдѣ къ участи своихъ военноплѣнныхъ, томящихся на чужбинѣ, граждане государства, ведущаго войну, относятся равнодушно, тамъ и лучшія правовыя предписанія, подобныя постановленіямъ второй гаагской конференціи, проходятъ, такъ сказать, мимо жизни. Здѣсь еще можетъ не быть подлинной борьбы за право, творческое значеніе которой изображалъ Іерингъ. Каждый отдѣльный членъ государственнаго союза слишкомъ отрѣзанъ отъ международнаго оборота. Но по крайней мѣрѣ и нужно, чтобы мы чувствовали нарушеніе права, какъ нѣчто затрогивающее непосредственный міръ нашихъ отношеній и общеній съ людьми.

Необходимо сокрушеніе насильническаго милитаризма, такъ ярко представленнаго въ настоящее время въ Германіи. Это, конечно, главная цѣль, но даже ея достиженіе еще не рѣшаетъ вопроса о томъ, какъ организуется общеніе народовъ послѣ войны. Можно быть лишь увѣреннымъ, что творчество мысли и дѣла прежде всего направятся въ тѣ области, гдѣ особенно болѣзненно за послѣднее время люди чувствовали свою слабость передъ фактомъ грубой силы. Но чувствовали не только платонически, а старались восполнить эту слабость собственными усиліями. Если положеніе русскихъ военноплѣнныхъ въ

Германіи тяжело, а иногда бываетъ ужасно, и если оно насъ дѣйствительно затрогиваетъ, психологически необходимы какія-то дѣйствія—хотя бы единственно намъ доступныя мѣры противъ того, чтобы русскіе солдаты менѣе голодали и менѣе мерзли. Если въ отвѣтъ на разоблаченія нѣтъ даже такихъ простыхъ выраженій нашего интереса къ судьбѣ плѣнныхъ, значитъ, дѣйствительно высокіе принципы международнаго права въ этой области суть чисто отвлеченныя построенія, не коренящіяся въ жизненныхъ потребностяхъ.

Мы знаемъ, насколько болѣе благопріятно положеніе плѣнныхъ французовъ или англичанъ, чѣмъ русскихъ, и ясно представляемъ себѣ, какія тяжелыя переживанія выпадаютъ на долю нашихъ плѣнныхъ, передъ глазами которыхъ проходитъ это различіе. Надъ послѣднимъ нужно задуматься. Оно недопустимо съ точки зрѣнія достоинства Россіи. Но, кромѣ того, съ нашими союзниками мы связаны не только политическими интересами данной минуты. Насъ объединяетъ общая миссія, во имя которой вообще въ современную войну подали другъ другу руки люди столь различныхъ политическихъ убѣжденій, соціальныхъ положеній, столь различные по своему прошлому и по своимъ взглядамъ и упованіямъ на будущее. Одушевляющій источникъ этого единенія—вѣра въ право, какъ между отдѣльными людьми, такъ и между народами. Право не есть только отвлеченная система или доктрина, не есть только благое пожеланіе: оно станетъ могущественной реальностью. Насилію не предуготовано конечнаго торжества. Наличность или отсутствіе этой вѣры—вотъ чѣмъ раздѣляются въ идеальномъ смыслѣ народы, участники современной войны и ихъ противники. Россія въ своемъ прошломъ не разъ выказывала глубокое и искреннее признаніе передовыхъ началъ международнаго права. Это признаніе иногда какъ-то странно не согласовалось съ слабымъ проникновеніемъ правовыхъ началъ въ нашу внутреннюю жизнь. Теперь въ общеніи съ своими союзниками она подготовляетъ среди кажущагося уничиженія международнаго права грядущій его расцвѣтъ. Всякое проявленіе нашего интереса къ военноплѣннымъ, всякое выраженіе симпатіи и солидарности, всякое затраченное здѣсь усиліе приближаетъ насъ къ этому грядущему порядку.

Кажется чѣмъ-то искусственнымъ говорить о принципіальномъ правовомъ значеніи дѣйствій, подобныхъ посылкѣ суха-

рей или теплой одежды. Но принципіальное въ исторіи такъ часто скрывается въ матеріалѣ обыденной жизни съ ея радостями и печалями, съ ея маленькими проявленіями добра и зла. Мы видимъ, какъ переплелись сейчасъ это обыденное и трагическое. Среди стихійной борьбы мы особенно явственно чувствуемъ смыслъ личнаго добраго порыва, личнаго усилія. Сумѣемъ съ полностью оцѣнить его и въ этой области заботъ о „жертвахъ войны“.

С. Котляревскій.

Помощь плѣннымъ.

Вопросъ о положенiи нашихъ военноплѣнныхъ въ Германiи неоднократно обсуждался въ нашей печати. И все-таки его важность далеко не въ достаточной мѣрѣ осознана нашимъ обществомъ: его помощь ничтожна въ сравненiи съ размѣромъ бѣдствiя.

А между тѣмъ забвенiе о тѣхъ, которые понесли за насъ величайшiя жертвы и въ тяжкомъ плѣну не перестаютъ страдать за родину, есть признакъ упадка духа и омертвѣнiе нацiональнаго чувства. Это—забвенiе о томъ самомъ, о чемъ мы должны всего больше помнить, — о самой Россiи. Именно такъ толкуется во вражескомъ станѣ наше небреженiе и наше равнодушiе къ судьбѣ нашихъ плѣнниковъ.

Тамъ на этомъ признакѣ нашей нацiональной анемiи и апатiи строятся расчеты на нѣмецкую побѣду, на грядущее расчлененiе Россiи и на ту тяжкую контрибуцiю, которая пресѣчетъ самую возможность нашего экономическаго возрожденiя въ будущемъ, сдѣлаетъ насъ навѣки рабами и данниками Германiи.

Наше пассивное отношенiе къ ужасамъ германскаго плѣна учитывается въ Германiи, какъ предвѣстникъ той малодушной покорности, съ какою мы по окончанiи кампанiи примемъ нашъ собственный плѣнъ.

Пусть будетъ нашъ откликъ на нужды военноплѣнныхъ напоминанiемъ объ этой великой опасности и о великой нашей нацiональной обязанности. Да послужитъ онъ выраженiемъ горячаго протеста русскаго общественнаго мнѣнiя противъ всякаго нѣмецкаго плѣна,—и противъ того, который уже есть, и противъ того, который готовится намъ нашими врагами.

Россія должна дѣломъ показать, что съ этимъ плѣномъ она не примирится никогда, что она скорѣе истечетъ кровью, чѣмъ допуститъ его хотя бы для части своихъ гражданъ и русской территоріи.

Наши военноплѣнные должны почувствовать, наконецъ, что дома ихъ не забыли, что не оскудѣлъ тылъ нашей доблестной арміи, что онъ попрежнему готовъ нести всѣ жертвы, которыя могутъ оказаться полезными для дальнѣйшаго веденія войны и для пострадавшихъ защитниковъ родины.

Помимо той матеріальной пользы, которую можетъ принести такая помощь, она необходима какъ свидѣтельство неизсякаемой бодрости духа и силъ нашего національнаго самосознанія.

Кн. Евгеній Трубецкой.

„Крестныя матери“.

Въ грозные дни войны замѣчательное по своей простотѣ и сердечности общеніе фронта съ тыломъ и родины съ плѣнниками, возникшее у французовъ подъ наименованіемъ „Marraines“, процвѣтаетъ и пользуется не только во Франціи, но и въ Швейцаріи грандіознымъ успѣхомъ. Сотни тысячъ людей, неизвѣстныхъ другъ другу, далекихъ и чужихъ, дѣлаются близкими и своими. Между „Крестной матерью“ и избраннымъ ею невѣдомымъ „крестникомъ“ устанавливается вскорѣ общеніе, духовная связь, нерѣдко заочная дружба.

Первый, кто подалъ мысль о созданіи „Marraines“ во Франціи, это—Густавъ Тэри (Thery), основатель журнала „Oeuvre“. Онъ первый напечаталъ статью въ своемъ журналѣ и основалъ бюро для записи именъ крестныхъ и крестниковъ. Всѣ главныя газеты Парижа послѣдовали за нимъ и, благодаря пропагандѣ, въ данное время имѣется во Франціи болѣе шести-сотъ тысячъ „Крестныхъ“.

Первоначально „Крестная“ предназначалась только для солдатъ, принадлежащихъ по происхожденію къ провинціямъ, *занятымъ врагомъ*, и вслѣдствіе этого неимѣющихъ возможности сноситься съ своими близкими и друзьями, которые превратились въ бѣженцевъ, остались безъ всякихъ средствъ, или еще хуже—во власти врага. На „Крестной“ лежитъ обязанность поддерживать своего крестника-солдата нравственно и матеріально; она должна стараться его успокоить, ободрить и не допустить унынія, отчаянія,—наоборотъ: поддерживать въ немъ бодрость духа, мужество, вѣру,—слѣдовательно, *онъ* долженъ знать и чувствовать, что есть существо на свѣтѣ, которое заботится о немъ, принимаетъ живое участіе въ его судьбѣ и, по мѣрѣ возможности, утѣшаетъ и ограждаетъ его отъ одиночества и духовнаго сиротства.

Такова основная мысль.

Эта мысль подала надежду подыскать для каждаго обездоленнаго солдата „Крестную", которая стала бы о немъ заботиться и, по корреспонденціи, слѣдить за нимъ на полѣ брани, въ окопахъ, крѣпостяхъ и лагеряхъ, во время его перекочевокъ и въ отпуску. Если онъ раненъ, „Крестная" справляется, въ какомъ онъ госпиталѣ, чѣмъ страдаетъ, въ чемъ нуждается,—вообше стремится помочь и, если можно, навѣщаетъ его.

Распространять эту мысль дружно взялись газеты; помимо статей и разъясненій роли „Крестной", онѣ разсылали циркуляры отдѣльнымъ лицамъ и печатали объявленія, предлагая записаться у нихъ всѣмъ желающимъ; одновременно онѣ обратились въ разные полки за справками, прося начальниковъ сообщить имена солдатъ, нуждающихся въ „крестныхъ", и по ихъ указаніямъ распредѣляли крестниковъ, которые начинали тотчасъ же получать письма и, по мѣрѣ необходимости, хлѣбъ, консервы, шоколадъ, табакъ, одежду и. т. д. Каждый солдатъ—французкій и бельгійскій—имѣетъ каждые 4—6 мѣсяцевъ шестидневный отпускъ для отдыха и свиданія съ своею семьей. Если крестникъ сирота, или семья его въ „бѣженцахъ", или въ провинціяхъ занятыхъ врагомъ, и выѣхать въ отпускъ ему не къ кому или некуда, то „Крестная" оказываетъ ему полное гостепріимство, либо пріютивъ у себя на эти дни, либо пріискавъ ему комнату на время отпуска; она заботится объ его пищѣ, угощаетъ его развлеченіями въ театрѣ, циркѣ, кинематографѣ, согласно его вкусамъ и общественому положенію; она даетъ ему возможность вынести самое благопріятное впечатлѣніе и воспоминаніе о краткомъ шести дневномъ отдыхѣ.

Существуютъ также „Крестныя" и для офицеровъ, ибо совершенно ложно думать, что всѣ они обезпечены и, главное, не нуждаются въ духовной поддержкѣ и общеніи. Въ настоящее время во Франціи нѣтъ семьи, которая не имѣла бы своего крестника (filleul). Не только люди со средствами, дамы общества, барышни, но всѣ—служащія, дѣти, щкольники, гимназистки, горничныя, кухарки—всѣ имѣютъ своего „крестника" на фронтѣ и нянчатся съ нимъ отъ всего сердца. Даже старые холостяки и тѣ стали записываться въ „крестные". Всѣ гордятся своими крестниками, приносятъ, ради нихъ, даже жертвы, отказывая иногда себѣ въ необходимомъ, лишь бы помочь и скрасить жизнь „своему" солдату, „своему" герою, не забывая, что благодаря воинамъ, они могутъ жить

спокойно у себя дома и пользоваться возможными благами жизни...

Счастливая мысль, такъ просто и такъ успѣшно сблизившая людей фронта и тыла въ одну семью, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи получила новое направленіе. Успѣхъ — обязываетъ. Естественно, что заботы „Крестныхъ" должны были мало-помалу распространиться на всѣхъ вообще членовъ арміи, въ томъ числѣ, конечно, и—плѣнныхъ.

Много говорилось въ печати объ ужасахъ германскаго плѣна, при чемъ всегда и вездѣ отмѣчалось особо тяжкое положенніе *русскихъ* военноплѣнныхъ, которымъ долгое время не было помощи изъ Россіи, да и теперь эта помощь весьма незначительна, тогда какъ бельгійскіе, французскіе, англійскіе воины имѣютъ отъ своихъ существенную поддержку.

Врядъ ли можно сомнѣваться въ томъ, что положеніе нашихъ плѣнниковъ дѣйствительно чрезвычайно тяжелое. Иначе чѣмъ объяснить возникновеніе въ нейтральномъ государствѣ, въ Швейцаріи, благотворительнаго общества „Charitas-Humanitas", милосердіе котораго направлено спеціально на плѣнныхъ русскихъ солдатъ въ Германіи?

Это швейцарское Общество добилось того, что германское правительство черезъ коммендатуру доставляетъ теперь „Красному Кресту" въ Бернѣ *официіальные списки* именъ нуждающихся русскихъ военноплѣнныхъ солдатъ и офицеровъ. „Красный Крестъ" въ Бернѣ въ свою очередь передаетъ эти листы О-ву „Charitas-Humanitas", которое уже и пріискиваетъ для этихъ плѣнныхъ „Крестныхъ матерей".

Нѣкоторые члены активнаго комитета О-ва берутъ на себя заботу пріискивать „крестныхъ" и *внѣ* Швейцаріи. Такъ, напримѣръ, русская колонія въ Парижѣ привлечена въ это Общество и имѣетъ уже много „крестниковъ".

Общество „Charitas-Humanitas", основанное въ Женевѣ, реорганизованное въ союзъ съ Швейцарскимъ лицеемъ и составляющее теперь филіальное отдѣленіе „Краснаго Креста въ Бернѣ", справедливо само называетъ себя „*семьею нуждающагося военноплѣннаго*" и между прочимъ говоритъ о себѣ слѣдующее:

Хотя мы всегда интересуемся заботами о солдатахъ на фронтѣ и о французскихъ военноплѣнныхъ, для которыхъ всегда съ радостью будемъ пріискивать „крестныхъ", но глав-

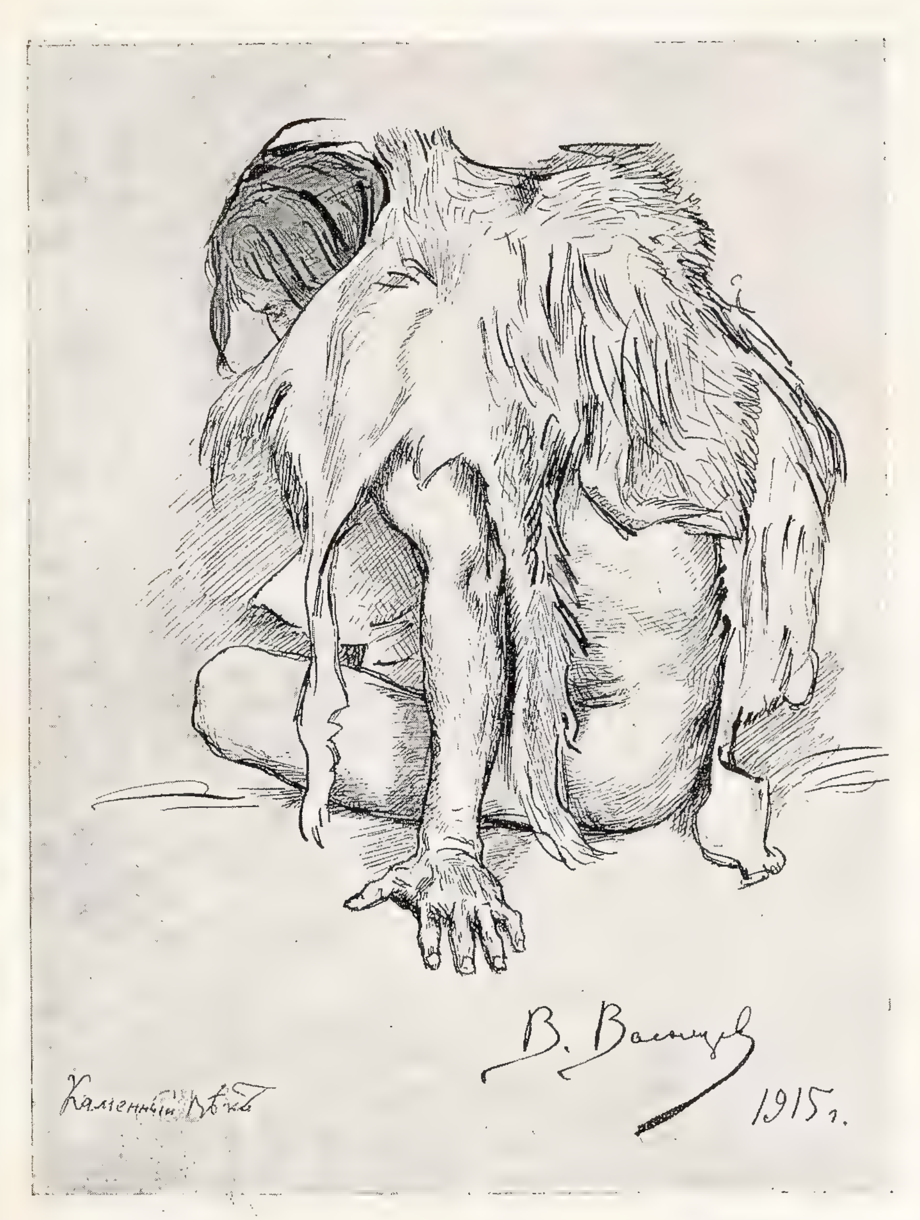
ная наша задача состоитъ въ томъ, чтобы прійти на помощь спеціально русскимъ, полякамъ и русскимъ евреямъ, военноплѣннымъ въ Германіи. Отдаленность ихъ отечества, затрудненіе въ сообщеніяхъ, почти что полная невозможность войти въ сношеніе съ своими близкими и друзьями, недостатокъ пищи, отсутствіе духовной и религіозной помощи, все содѣйствуетъ тому, чтобы сдѣлать положеніе русскихъ военноплѣнныхъ особенно мучительнымъ, достойнымъ глубокаго сострaданія. Слѣдовательно, необходимо пріискать имъ „Крестныхъ матерей“ въ безграничномъ количествѣ, т.-е. импровизованныхъ сестеръ и матерей, которыя лично вступили бы съ ними въ сношенія посредствомъ дружественныхъ писемъ—для подъема упадшаго духа—и присылки предметовъ первой необходимости. Вотъ мы и обращаемся съ настоятельной просьбой ко всѣмъ щедрымъ, ко всѣмъ отзывчивымъ людямъ, ко всѣмъ сострадательнымъ сердцемъ, чтобы они присоединились къ нашему Обществу и дали бы возможность ему развиться. Чтобы вступить въ наше Общество, достаточно запросить у насъ имя военноплѣннаго, приложивъ для отвѣта конвертъ большого формата, съ маркой или безъ марки, написавъ на немъ четкимъ почеркомъ свой адресъ. Наученные практическимъ опытомъ и пережитымъ испытаніемъ, мы надѣемся придать нашему дѣлу большее развитіе, принявъ на себя отвѣтственность составленія и отправки пакета (регулярнаго или случайнаго) въ 5,—10—и 12 франковъ — русскимъ военноплѣннымъ. Мы надѣемся такимъ образомъ облегчить этотъ трудъ лицамъ, которыя не могутъ слѣдить за колеблющимися предписаніями швейцарской таможни касательно вывоза съѣстныхъ припасовъ и одежды. Кромѣ того, благодаря поддержкѣ федеральныхъ властей, пріобрѣтенной Комитетомъ Помощи военноплѣннымъ, Лицея, и связи Комитета съ „Краснымъ Крестомъ“, всѣ посылаемые нами пакеты приходятъ въ кратчайшій срокъ и распредѣляются съ полнымъ безпристрастіемъ между дѣйствительно нуждающимися. Мы также беремъ на себя заказы правильныхъ отправокъ хлѣба по абонементу (2 кило еженедѣльно, около 5 фунтовъ рус.) за ежемѣсячную плату 6 франковъ. За всѣми справками и запросами именъ плѣнныхъ, съ указаніемъ національности, просятъ обращаться къ сестрѣ милосердія А. Полозовой (4. Avenue Croisette, Génève.) Заказы пакетовъ, съ указаніемъ ихъ стоимости и сопровождаемые

переводомъ, адресуются: Géneve, Lyceum de Suisse, 2 rue de la Croix Rouge, m-me Wagniere-Hendrikoff.

Вотъ какія свѣдѣнія сообщены мнѣ изъ-за границы, и я въ свою очередь дѣлюсь ими съ читателями. Я разсказалъ здѣсь вкратцѣ, какъ дѣлается на западѣ нужное и доброе дѣло, какимъ интересомъ и какимъ успѣхомъ пользуется званіе „Крестныхъ матерей“ воиновъ на фронтѣ и воиновъ въ плѣну. А теперь—дѣло русской печати сдѣлать эти свѣдѣнія общеизвѣстными и болѣе полными. Можно примкнуть къ существующимъ организаціямъ, можно, пользуясь готовымъ примѣромъ, основать свое русское общество „Крестныхъ“; только надо все это дѣлать какъ можно скорѣе. Полагаю, что въ силахъ печати—призвать нашихъ женщинъ на этотъ трудъ,—женщинъ, всегда отзывчивыхъ и готовыхъ на помощь и добро; а что онѣ откликнутся и придутъ, въ этомъ не можетъ быть ни на секунду сомнѣнія.

Только начало положить надо очень спѣшно. Плѣнники изнываютъ въ горѣ, голодѣ, оскорбленіяхъ и ужасѣ одиночества.

Н. Телешовъ.



В. М. Васнецовъ. КАМЕННЫЙ ВѢКЪ.

КАДИЛЬНИЦА.

Въ горахъ Сициліи, въ монастырѣ забытомъ,
По храму темному, по выщербленнымъ плитамъ
Въ разрушенный алтарь пастухъ меня привелъ,
И увидалъ я тамъ: стоитъ нагой престолъ,
А передъ нимъ, въ пыли, могильно-золотая,
Давно потухшая, давнымъ-давно пустая,
Лежитъ кадильница—вся черная внутри
Отъ угля и смолы, пылавшихъ въ ней когда-то...
Ты, сердце, полное огня и аромата,
Не забывай о ней! До черноты сгори.

Ив. Бунинъ.

КЪ АРМЯНАМЪ.

Да! Вы поставлены на грани
Двухъ разныхъ, спорящихъ міровъ,
И въ глубинѣ родныхъ преданій
Вамъ слышны отзвуки вѣковъ.

Всѣ бури, всѣ волненья міра,
Летя, касались васъ крыломъ,—
И громъ глухой походовъ Кира
И Александра бранный громъ.

Вы низили, въ смятеньи стана,
При Каррахъ, римскіе значки;
Вы за мечомъ Юстиніана
Вели на бой свои полки;

Нерѣдко васъ клонили бури,
Какъ вихри — нѣжный цвѣтъ весны,—
При Чингизъ-Ханѣ, Ленгтимурѣ,
При мрачномъ торжествѣ Луны.

Но, — воинъ стойкій, — подъ ударомъ
Вашъ духъ не уступалъ Судьбѣ,—
Два міра вкругъ него не даромъ
Кипѣли, смѣшаны въ борьбѣ.

Гранился онъ, какъ твердь алмаза,
Въ себѣ всѣ отсвѣты храня:
И краски нѣжныхъ розъ Шираза,
И блескъ Гомерова огня.

И уцѣлѣлъ вашъ край Наирскій
Въ крушеньяхъ царствъ, межъ мукъ земли:
Вы за оградой монастырской
Свои святыни сберегли.

Тамъ, откровенья скрывъ глубоко,
Таила скорбная мечта
Мысль Запада и мысль Востока,
Агурамазды и Христа.

И, — ключъ божественный услады,
Нетлѣнный въ перемѣнахъ лѣтъ, —
На свѣтломъ пламени Эллады
Зажженный — вашихъ пѣсенъ свѣтъ!

И нынѣ, въ этомъ мірѣ новомъ,
Въ толпѣ мятущихся племенъ,
Вы встали обликомъ суровымъ
Для насъ таинственныхъ временъ.

Но то, что было, вѣчно живо,
Въ быломъ — награда и урокъ,
Носить вы въ правѣ горделиво
Свой многовѣковый вѣнокъ.

А мы, великому наслѣдью
Дивясь, обѣты слышимъ въ немъ...
Такъ! Прошлое тяжелой мѣдью
Гудитъ надъ каждымъ новымъ днемъ.

И вѣрится, народъ Тиграна!
Что, бурю вновь преодолѣвъ,
Звѣздой ты выйдешь изъ тумана,
Для новыхъ подвиговъ созрѣвъ.

Что вновь твоя живая лира,
Надъ камнями истлѣвшихъ плитъ,
Два чуждыхъ, два враждебныхъ міра
Въ напѣвѣ высшемъ съединитъ!

Валерій Брюсовъ.

23 янв. 1916. Тифлисъ.

МОЛЕЯ.

Платъ мой—бѣлый, роспускомъ повязанный,
Черный и посконный—сарафанъ.
Господу обѣщана, обязана,
Я молюсь за міръ, что кровью пьянъ.

Твердо я творю началъ положенный,
Истово метаніе творю,—
Съ лестовкой узорчатою кожаной
Предстою Небесному Царю:

«Спасе! Много плѣнено и ранено...
Защити насъ, правыхъ христіанъ!—
Отъ царя земного—басурманина
Поукрой въ метели да въ буранъ»...

Полыхаютъ небеса багровыя
За окномъ въ пушистомъ волокнѣ,
И гудятъ, гудятъ лѣса кедровые,
Зиму лютую суля странѣ.

Снѣгъ падетъ серебряной коростою —
Гдѣ-то будетъ ворогу пройти?
Пробѣжитъ лисица златохвостая—
Замететъ послѣдніе пути...

Думаю я думы тѣ суровыя,
На молитвѣ цѣлый день стоя,
А за мной стоятъ лѣса кондовые—
Вся старосвятая Русь моя!

Въ образницѣ—Спасъ, лазоремъ писанный,
На мѣди чеканный Деисусъ.
Слёзами убѣлена, унизана,
Я за міръ и миръ его молюсь.

Любовь Столица.

Въ грозныхъ поляхъ.

Былъ четвертый часъ утра 7 февраля.

День пробуждался медлительный, мглистый и лѣнивый, вяло сбрасывая съ плечъ ночныя свои одежды.

Перестрѣлка затихла и лишь отдѣльные ружейные выстрѣлы слабо постукивали вдали, въ синей дымкѣ лѣсовъ, со всѣхъ сторонъ облегавшихъ огромное поле, гдѣ стояли Липины, фольваркъ русскаго помѣщика генерала Свѣчина.

Въ помѣстительномъ старомъ домѣ, гдѣ скопились штабы 20 корпуса и трехъ дивизій, въ томъ числѣ и нашей, все было въ утреннемъ движеніи.

Хмурыя лица офицеровъ, усталыя и блѣдныя послѣ тяжелой дремоты вповалку, на полу и на стульяхъ... Растерянно мечущіеся вѣстовые съ чайниками кипятку и какими-то узелками... Затворенныя двери комнаты, гдѣ въ послѣдній разъ совѣщаются генералы и начальники штабовъ... Торопливо выбѣгающіе ординарцы съ сѣрыми маленькими конвертами приказовъ...

Мутный сумеречный разсвѣтъ угрюмо входитъ въ широкія окна, бросая на людей и предметы зеленовато-мертвенныя тѣни.

Что-то будетъ?

Прямой путь отступленія къ крѣпости Гродно, на юго-востокъ, отрѣзанъ. Село Богатыри, лежащее на этой дорогѣ, занято крупными частями нѣмцевъ и сильно укрѣплено. Наши отчаянныя непрерывныя атаки въ теченіе всего шестого числа до сихъ поръ безуспѣшны. Сегодня будемъ пробиваться въ новомъ направленіи, прямо на югъ, чтобы послѣ пытаться достигнуть кружнымъ путемъ того самаго Гродна, чьи форты въ послѣднія ночи тщетно простираютъ намъ черезъ лѣса ослѣпительныя руки своихъ прожекторовъ, словно безпомощный зритель утопающему.

Обстановка, въ которой мы уже много дней, самая трудная, какую только можно представить.

Во всѣ стороны, на сотни верстъ, безконечные лѣса и болота съ разбросанными по нимъ полянами. Въ этомъ глухомъ краю, почти лишенномъ путей и населенныхъ пунктовъ, гдѣ на самыхъ подробныхъ картахъ только слабо намѣченныя линіи тропъ и маленькихъ лѣсныхъ дорогъ пересѣкаютъ пустыя бѣлыя пространства, негдѣ развернуться правильному бою. Особенно плохо дѣйствовать артиллеріи,—ей приходится стрѣлять или наугадъ, черезъ лѣсъ, или, напротивъ, чуть не въ упоръ, на той опасной грани, когда артиллерійской работѣ, собственно, не должно быть мѣста. Въ этомъ положеніи всегда лучше тому, кто многолюднѣе, а нѣмцевъ вчетверо больше, чѣмъ насъ.

Но выбирать не изъ чего, и приходится примѣняться.

Авангардъ бьется на югѣ. Къ ночи за нимъ отойдутъ и главныя силы,—онѣ уже оттягиваются на южную сторону Липинъ.

Возлѣ Липинъ останется только крупный арьергардъ. Его задача — принять на себя весь розмахъ нѣмецкаго удара и, если нужно, пожертвовать собой, чтобы прикрыть главныя силы и дать имъ возможность выиграть время для ухода.

Полковникъ Кисляковъ тоже остается въ Липинахъ, онъ назначенъ начальникомъ артиллеріи арьергарда. Съ нимъ, конечно, буду и я, какъ его ординарецъ и притомъ временный бригадный адъютантъ за отсутствіемъ князя К., уѣхавшаго въ служебную командировку въ Москву за недѣлю до нашего отступленія изъ Восточной Пруссіи.

Иные говорятъ, князю повезло. Такъ ли это?

Побывать дома, увидѣть дорогія лица, конечно, большое счастье. Сердце замираетъ при одной мысли объ этомъ.

И все-таки я не завидую отсутствующимъ.

Въ эти дни, самые страшные для нашего отряда за все время войны, я не хотѣлъ бы оказаться въ Москвѣ, въ миломъ домашнемъ уютѣ.

Быть-можетъ, одинъ разъ въ жизни звучитъ въ душѣ человѣка повелительный колоколъ, по чьему зову идешь на смерть, какъ на праздникъ. Но когда онъ ударитъ, смолкаютъ всѣ голоса, отступаютъ всѣ радости, и сладостная земная жизнь со всѣмъ, что безцѣнно и любимо, свивается и уходитъ, какъ легкій воздушный свитокъ.

Этотъ часъ пробилъ для меня.

Хорошо, что я здѣсь, съ боевыми товарищами, съ командиромъ, которому я далъ слово въ опасности быть при немъ до конца. Съ нимъ рядомъ пойду я навстрѣчу неизвѣстности. Прочее пусть рѣшаетъ судьба.

Теперь же, на разсвѣтѣ, уѣзжаютъ всѣ штабы и между ними нашей дивизіи.

Уклончивые взгляды, поспѣшныя рукопожатья... На насъ смотрятъ, какъ на жертву.

Вотъ выходитъ генералъ X.

— Добраго пути, ваше превосходительство!

— До свиданія! Надѣюсь, мы скоро увидимся въ Гродно. Я увѣренъ въ этомъ. Всего вамъ хорошаго.

Въ его голосѣ какой-то особенный, неуловимый оттѣнокъ.

Онъ останавливается, словно хочетъ сказать что-то еще, потомъ крѣпко жметъ руку и выходитъ.

И онъ не вѣритъ въ то, что мы увидимся.

Стою на крыльцѣ и смотрю, какъ торопливый нестройный конскій потокъ течетъ изъ широкаго двора въ пролетъ между каменными сараями. Проструился зыбкій тростникъ казачьихъ пикъ. Вотъ потянулись отдѣльные отставшіе всадники. Огромный дворъ опустѣлъ.

Вхожу обратно. Комнаты сразу стали просторными и свѣтлыми.

Сладкій и жуткій холодъ обреченности охватываетъ душу.

Все просто, ясно и строго.

Между нами и судьбой уже не стоитъ ничего.

— Теперь позаботимся о томъ, чтобы встрѣтить бой въ приличномъ видѣ,—говоритъ мнѣ полковникъ Кисляковъ.

Мы хорошо понимаемъ другъ друга. У насъ съ нимъ есть общая слабость: бритье и духи. Что до меня, то отъ начала войны и до послѣдняго времени я ухитрялся при самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ бриться, если не каждый, то почти каждый день.

Бригадный обозъ, при которомъ и наши денщики съ багажомъ, стоитъ еще неподалеку, въ лѣсу. Отправляемъ туда ординарца за всѣми необходимыми предметами. Шлю съ нимъ поклонъ моему вѣрному вѣстовому Костину. Онъ все еще ухитряется вывозить мои вещи въ полной сохранности черезъ всѣ трясины и топи. Кромѣ поклона, еще разъ подтверждаю

приказъ, который далъ ему раньше: ѣсть мои консервы, курить мои папиросы и вообще заботиться о вещахъ меньше, чѣмъ о себѣ,—деньги дѣло наживное.

Ординарецъ привозитъ все нужное,—бритвенный приборъ, чистое бѣлье, папиросы. Сверхъ того, для полковника особо, новый китель и всѣ ордена: въ бою онъ хочетъ быть въ полномъ парадѣ.

Черезъ полчаса мы оба переодѣты въ чистое, выбриты и надушены.

— Ну вотъ и туалетъ нашъ законченъ, быть-можетъ, послѣдній,—говоритъ полковникъ.—Не правда ли, если придется умирать, пріятнѣй умереть какъ на балу? Вы поэтъ, и это должно быть въ вашемъ вкусѣ.

Я молча наклоняю голову и, куря папиросу, гляжу, какъ онъ съ грустной улыбкой осматриваетъ себя въ зеркало.

Именно такъ! думаю я. Умереть, какъ на балу, погибнуть надушеннымъ и безвѣстнымъ въ этихъ глухихъ лѣсахъ, вотъ достойный конецъ моей странной, разнообразной и шумной жизни. Въ смерти, какъ и во всемъ, каждый долженъ найти свой стиль.

Распоряженія отданы.

Цѣль, поставленная арьергарду на сегодня: являясь твердымъ заслономъ, не дать противнику продвинуться дальше Липинъ. Если это удастся, завтра начнемъ отступать съ боемъ вослѣдъ уже отошедшимъ главнымъ силамъ.

Начальникъ арьергарда, полковникъ Дрейеръ, совѣщается въ своей комнатѣ съ нашимъ полковникомъ и нѣсколькими командирами пѣхотныхъ частей. Полковникъ Дрейеръ—высокій, молодой, порывистый, грубоватый, съ лицомъ подвижнымъ, рѣшительнымъ и веселымъ.

Выхожу на крыльцо; на всемъ правомъ краю обширной поляны, гдѣ расположены Липины, уже трещитъ ружейная перестрѣлка. Наша пѣхота залегла на невысокихъ буграхъ и упорно отбиваетъ нѣмцевъ, насѣдающихъ изъ лѣса. Слѣва, въ ближайшемъ перелѣскѣ, тоже сыплется неумолкаемая ружейная дробь. Это другая часть арьергарда сдерживаетъ попытки врага сбить насъ напоромъ съ запада. На югѣ еще тихо,—тамъ стоятъ 1, 2 и 3 батареи нашей бригады.

Звонкіе отчетливые удары грянули на западѣ. Такой же грохотъ отвѣтилъ на сѣверѣ и востокѣ. Это открылъ огонь

рядъ батарей, приданныхъ нашему арьергарду отъ разныхъ бригадъ.

Громовой гулъ, разрастаясь, восходитъ къ небу.

Протяжно и напѣвно ахаютъ легкія пушки — тенора. Имъ вторятъ бархатно и густо гаубицы — баритоны и, покрывая все своимъ свирѣпымъ рыкомъ, рвутъ землю низкія, басовыя октавы двухъ огромныхъ крѣпостныхъ орудій, съ трудомъ влекомыхъ каждое двѣнадцатью лошадьми,—тяжкихъ металлическихъ чудовищъ, какимъ-то чудомъ доѣхавшихъ съ нами изъ Пруссіи по непролазнымъ дорогамъ Августовскихъ дубравъ.

Грозная и величавая музыка боя катитъ черезъ лѣса свои торжественныя волны, ихъ безъ конца умножаетъ эхо, земля и воздухъ какъ-будто дрожатъ мелкимъ непрерывнымъ трепетомъ, и жалобно звенятъ въ рамахъ окна стараго помѣщичьяго дома.

Нашей артиллеріи отвѣчаетъ нѣмецкая. Огни и бѣлые дымы разрывовъ то и дѣло возникаютъ надъ лѣсомъ и надъ недальними холмами.

Въ фольваркъ, опираясь на винтовки, одинъ за другимъ ковыляютъ раненые. Это все легкіе,—тяжелые лежатъ на позиціяхъ, тамъ, гдѣ ихъ настигла пуля. Большіе каменные сараи переполнены ранеными. Теперь ихъ кладутъ въ домѣ, скоро и тамъ не будетъ мѣста. Перевязывать некому, врачи уѣхали со штабами и обозами. Остался только одинъ. Онъ безъ-устали мечется по комнатамъ, стараясь поспѣть всюду, но одного не хватаетъ. Перевязочныхъ средствъ нѣтъ, приходится накладывать, что попало.

Легко раненый солдатъ, взятый утромъ въ плѣнъ нѣмцами и нарочно ими отпущенный, приноситъ начальнику отряда письмо отъ нѣмецкаго командующаго. Оно уже третье, два получилъ наканунѣ командиръ корпуса.

„Вы окружены вчетверо большими силами. Мы признаемъ ваше исключительное мужество, но всякое сопротивленіе безполезно. Ваша обязанность передъ родиной не допустить напраснаго кровопролитія. Мы предлагаемъ вамъ сдаться“.

На письмо не будетъ отвѣта. Мы исполнимъ свой долгъ до конца, хотя надежда таетъ съ каждымъ часомъ. Отъ главныхъ силъ приходятъ невеселыя вѣсти, и я вижу, какъ судорожно подергивается лицо начальника отряда, когда онъ вскрываетъ привозимые ординарцами пакеты.

На югѣ возникли какія-то препятствія, и главныя силы остановлены въ своемъ движеніи. Штабы задержались по дорогѣ въ лѣсу. Генералы, какъ простые солдаты, живутъ въ землянкахъ.

Въ воздухѣ повѣяло безысходностью.

Правое крыло держится на старыхъ позиціяхъ.

Четыре часа дня... Сѣдые туманы ползутъ изъ лѣсовъ, заволакивая дали мутной своею завѣсой. Наши пулеметы уже стрекочутъ съ ближайшихъ бугровъ, сѣя безостановочно свой мелкій свинцовый дождь. На тѣхъ же буграхъ и между ними, совсѣмъ близко, густо лежатъ наши пѣхотныя цѣпи. Часть батарей отошла и, непрерывно стрѣляя, стоитъ въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ, тутъ же, за сараями. Съ другой стороны каменнаго четырехугольника сараевъ сбились въ кучу повозки и зарядные ящики.

Теперь мнѣ уже не приходится ѣздить на батареи верхомъ передавать приказанія. Я попросту отправляюсь туда безъ шинели и съ непокрытой головой.

Пули звонко щелкаютъ о кирпичныя стѣны и черепицы кровель или пролетаютъ съ нѣжнымъ заунывнымъ свистомъ, подобнымъ слабому звуку свирѣли.

Какъ легкія хлопушки, рвутся, ударяясь о землю или въ камень, нѣмецкія разрывныя и малыми струйками взвиваются ихъ синеватые дымки.

Вотъ подхожу къ мортирному взводу, слегка укрытому маленькимъ холмикомъ. Рѣзкій пронзительный вѣтеръ заставляетъ прятать руки въ рукава. Передаю издрогшему прапорщику приказаніе обстрѣлять невидимый ему за лѣсомъ участокъ отъ дороги до рѣки. Вмѣстѣ наводимъ бусоль и оріентируемся по картѣ. Попутно угощаю его папиросами, у него уже нѣтъ четвертый день.

Идя назадъ, принуждаю себя сдерживать шагъ. Пули посвистываютъ по сторонамъ. Торопиться нѣтъ смысла. Та, что свищетъ, миновала, — та, что убьетъ, приходитъ въ молчаніи.

Не одинъ разъ за день я дѣлалъ такія прогулки, но среди пролетавшихъ пуль не было предназначенной мнѣ.

Близились сумерки.

Кольцо нѣмецкаго охвата стягивалось медленно, но вѣрно. Тѣмъ, кто шелъ изъ главнаго дома въ сараи или къ колодцу за водой, приходилось пересѣкать дворъ бѣгомъ.

На дворѣ уже нѣсколькихъ ранило. Очередные ординарцы не рѣшались привязывать у крыльца лошадей, — оставить на минуту, и конь погибъ. Стали изъ осторожности заводить ихъ за домъ.

Темнѣло.

Внутри дома, по угламъ, густѣли и колебались сумеречныя тѣни. Въ одной изъ комнатъ офицеры нашей парковой бригады по общему рѣшенію сжигаютъ въ печи казенныя деньги. Новенькія шелестящія бумажки быстро коробятся на огнѣ, по нимъ бѣгутъ, искрясь, красныя змѣйки, и все превращается въ сѣрый пепелъ. Возлѣ молчаливый кругъ офицеровъ. Въ отсвѣтахъ рдѣющихъ углей ихъ лица блѣдны и зловѣщи.

Въ комнатахъ тамъ и сямъ зажглись одинокія свѣчи.

Цзинь! Со звономъ посыпались стекла. Нѣсколько пуль влетѣло и застряло въ стѣнахъ.

Потушили огни, наглухо занавѣсили, чѣмъ придется, окна.

Маленькіе огоньки загорѣлись снова и закачались на обояхъ ихъ шаткіе отблески.

Тысячеглазая тьма легла на поля.

Канонада гудитъ и перекатывается, не умолкая. Орудія, ружья и пулеметы слили свои голоса въ одинъ густой, гремящій вопль. Кажется, древній богъ войны, вырвавшись на волю изъ горныхъ, заколдованныхъ нѣдръ, съ безумною свитой своихъ крылатыхъ всадниковъ носится надъ лѣсами, потрясая вершины своимъ браннымъ кличемъ.

Ночь наступила и тихо вращаетъ свои черныя колеса. Ушедшій день кажется безконечно длиннымъ.

Послѣ консервовъ безъ хлѣба томитъ жажда. Колодецъ на фольваркѣ вычерпанъ до дна. Пьемъ чай на скверной водѣ съ ржавымъ илистымъ отстоемъ,—нашъ ординарецъ Грачевъ принесъ ее подъ пулями изъ какого-то прудка.

Напившись, мы прилегли съ полковникомъ на полу, подъ своими полушубками, въ маленькой холодной комнатѣ рядомъ съ передней.

Лежа на спинѣ, я смотрѣлъ въ темноту и въ послѣдній разъ всѣмъ напряженіемъ воли видѣлъ другой міръ, который мнѣ дорогъ и отъ котораго я оторванъ.

Передо мной любимые глаза. Они полны слезъ.

Видишь ли ты? Знаешь ли ты?

Не докричаться, не дозваться черезъ темныя пустыя пространства.

Близокъ конецъ... Вѣтеръ завываетъ, ударяясь о крышу, вѣчная пѣсня судьбы. Жизнь оборвется недопѣтой... Благословляю ее за все, что она мнѣ дала.

Я жилъ, какъ поэтъ.

Завтра я умру, какъ подобаетъ воину.

Къ разсвѣту перестрѣлка совсѣмъ замолкла. Усталость сковала бойцовъ и послала имъ недолгій отдыхъ.

Въ седьмомъ часу утра мы покинули Липины.

Правая часть арьергарда, уже съ ночи прижатая къ фольварку, должна отойти къ югу, соединиться тѣснѣе съ лѣвой и, прикрывая отступленіе, принять рѣшительный бой.

Я ѣхалъ съ полковникомъ Кисляковымъ и начальникомъ отряда. Тутъ же личный конвой полковника Дрейера, полусотня казаковъ съ бравымъ хорунжимъ во главѣ. У него кривая кавказская шашка въ серебрѣ, перетянутая талія и лихо закрученные усы. Сзади тянутся, погромыхивая, батареи, и тускло поблескиваетъ стальная щетина штыковъ.

Вступаемъ въ лѣсъ. Влѣво и вправо отъ дороги валяется въ безпорядкѣ множество разныхъ вещей,—печальные слѣды разбитыхъ обозовъ. Трупы лошадей, опрокинутыя повозки, раскрытые и выпотрошенные чемоданы, чье-то бѣлье, затоптанное въ грязь, какія-то наскоро изорванныя казенныя бумаги, бѣлымъ дождемъ усѣявшія дорогу.

Двое раненыхъ тащатся изъ лѣсу, умоляя захватить ихъ. У одного пулей выбиты оба глаза, его ведетъ другой, съ прострѣленнымъ ртомъ. Одинъ слѣпой, другой сталъ нѣмымъ. Устраиваю ихъ кое-какъ на зарядныхъ ящикахъ.

День облачный, но свѣтлый, безвѣтренный и тихій. Таетъ... Съ деревьевъ мѣрно падаютъ прозрачныя медленныя капли.

Минуемъ второй перекрестокъ и сворачиваемъ по дорогѣ вправо на огромную лѣсную поляну.

Влѣво отъ дороги, вдоль опушки, еще съ вечера стоятъ три батареи нашей бригады. Около нихъ сталъ мортирный взводъ. Вправо отъ дороги, нѣсколько отступя отъ опушки, у невысокихъ бугровъ, полковникъ Кисляковъ лично размѣстилъ нѣсколько прибывшихъ съ нами батарей.

Противоположная опушка занята непріятелемъ. Она еще голубѣетъ, затянутая утренними туманами, но ихъ млечно-

перламутровыя волны мало-по-малу расходятся, и черезъ поляну уже начинается, постепенно разгораясь, вначалѣ легкая ружейная перестрѣлка.

Звонко рявкнуло орудіе, и рѣзкій звукъ его, подхваченный эхомъ, пронесся по лѣсамъ.

И разомъ грянулъ съ обѣихъ сторонъ, вскипая и ширясь, стремя подъ самое небо свои громовыя волны, грозный артиллерійскій хоръ.

Бѣлые дымы нашихъ шрапнелей плыли надъ занятой нѣмцами дальней опушкой. Такія же бѣлыя облачки возникали и расплывались надъ нашей. На полянѣ по всѣмъ направленіямъ, какъ нѣжныя флейты, посвистывали пули.

Бой пламенѣлъ...

Вонъ вдали замелькали сѣро-синіе мундиры, и какъ-то сразу выдвинулись на невысокихъ холмахъ быстро бѣгущія густыя колонны. Нѣмецкая пѣхота шла въ атаку.

Дрогнула земля. Лютымъ, непрерывнымъ рыкомъ взвыли наши батареи. Пулеметы щелкали зубами, какъ бѣшеные волки. Огнистая лента разрывовъ четко повисла надъ синеватыми колоннами. Вотъ онѣ таютъ, уменьшаются, вотъ ихъ и нѣтъ совсѣмъ.

И снова трещитъ и кипитъ ружейная дробь и мѣрно грохочутъ ритмическіе раскаты артиллерійскихъ очередей.

Опять возникаютъ съ холмовъ стремительно текущія колонны, и снова мететъ ихъ огненная метла шрапнельнаго урагана.

Вотъ уже четыре атаки отбиты. Поле впереди батарей все устлано трупами. Нѣмецкая пѣхота полегла въ томъ правильномъ строю, въ которомъ бѣжала. Можно подумать, чья-то неутомимая рука накопала и засадила въ полѣ длинныя синеватыя гряды, и жутко темнѣетъ ихъ страшный посѣвъ.

Нашъ небольшой конный отрядъ, окружавшій полковника Дрейера, слѣдуя за нимъ, неторопливо ѣхалъ вдоль опушки по открытой полянѣ. Человѣкъ исключительной, почти безразсудной храбрости, начальникъ арьергарда, останавливаясь то тамъ, то тутъ, подолгу наблюдалъ подъ огнемъ работу батарей, мало задумываясь о томъ, что его группа всадниковъ— отличная цѣль для непріятеля.

Впрочемъ, ряды его окружавшихъ рѣдѣли съ каждымъ получасомъ.

Уѣхалъ съ порученіемъ и не вернулся офицеръ одной изъ батарей, взятый на сегодня командиромъ въ качествѣ добавочнаго ординарца. Вотъ уже нѣтъ казачьяго конвоя и браваго хорунжаго съ серебряной шашкой и лихими усами.

При начальникѣ отряда, кромѣ бывшаго при немъ офицера, остались только полковникъ и я, да четверо нашихъ конныхъ ординарцевъ.

Приходилось работать безъ-устали. То скачешь на батарею и, нагнувшись съ сѣдла, громко выкрикиваешь почти въ ухо офицеру посланное ему приказаніе. То мчишься карьеромъ разыскивать какую-то пѣхоту, чтобы вывести ее въ поле и разсыпать въ цѣпи у кустовъ. То забираешь какіе-то отдѣльные артиллерійскіе взводы и переводишь ихъ на другое мѣсто, чтобы обстрѣлять новый участокъ. И вновь возвращаешься къ начальнику отряда и командиру бригады, ожидая новыхъ приказаній.

Пули роились, какъ пчелы, но среди нихъ не было моей.

Во время одной изъ поѣздокъ, уже на обратномъ пути, подо мною убило моего вороного „Чорта".

Рослый конь, стремительный и могучій, такой горячій и порывистый всегда, нынче былъ кроткимъ, какъ ягненокъ. Среди грохота разрывовъ, стоя у самыхъ орудій, онъ только поводилъ ушами, послушный малѣйшему движенію поводьевъ, словно понимая, что теперь не мѣсто капризамъ.

Пуля попала ему въ пахъ. Онъ тихо осѣлъ на заднія ноги. Я соскочилъ съ него на землю.

Бѣдный конь! Съ минуту я глядѣлъ на него, не въ силахъ отойти.

Пристрѣлить?.. Я, было, взялся за браунингъ. Нѣтъ, не могу...

— Грачевъ! Сними сѣдло!

Мы съ ординарцемъ отошли.

Я оглянулся назадъ. „Чортъ" тащился за нами на переднихъ ногахъ, волоча заднія по землѣ. Изъ его широко раскрытыхъ глазъ катились слезы. Конь плакалъ.

Я отвернулся. Больше я его не видалъ.

Черезъ нѣсколько минутъ я сидѣлъ уже на новой лошади: командиръ отдалъ мнѣ свою, запасную, которая всегда слѣдовала за нимъ.

Съ начала боя прошло уже часа два.



М. В. Нестеровъ. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГІЙ и В. К. ДИМИТРІЙ ДОНСКОЙ.

Наша конная группа еще уменьшилась. Уѣхали и не вернулись двое изъ нашихъ ординарцевъ. Теперь ихъ осталось только двое и въ томъ числѣ самый испытанный, храбрый и вѣрный, Грачевъ, бывшій всегда при мнѣ съ самаго начала войны, мой преданный и безотлучный спутникъ во всѣхъ моихъ военныхъ странствіяхъ.

Огонь нашихъ батарей и пѣхоты замѣтно слабѣлъ, но все сильнѣе и гуще полыхали надъ нашей стороной огни нѣмецкихъ разрывовъ. Съ того конца поляны грохотъ удвоился,— нѣмцы явно вводили въ дѣло новыя нетронутыя части. Усиленный артиллерійскій обстрѣлъ подготовлялъ рѣшительную атаку.

— Плохо дѣло! Скоро они опять пойдутъ на батареи въ лобъ,—сказалъ полковникъ Дрейеръ послѣ долгаго раздумья,— надо сдѣлать послѣднюю попытку. Перейдемъ въ наступленіе и ударимъ имъ во флангъ. Прапорщикъ! Поѣзжайте и достаньте мнѣ пѣхоты,—сколько найдется, хотя бы роту.

— Слушаю, господинъ полковникъ!

Скачу къ лѣсу и нахожу тамъ роту одного изъ нашихъ пѣхотныхъ полковъ. Передаю бывшему при ней капитану Н. приказаніе и вмѣстѣ съ ротой возвращаюсь къ начальнику отряда.

— Теперь въ наступленіе!

Мы всѣ сходимъ съ коней. Наискось, черезъ поляну, вдоль правой опушки быстрымъ шагомъ идетъ рота. Впереди бравый капитанъ Н. съ бывшимъ при немъ прапорщикомъ Смирновымъ, начальникъ отряда и мы съ полковникомъ Кисляковымъ. Позади ординарцы ведутъ лошадей.

Пройдя съ полверсты, круто заворачиваемъ влѣво. Передъ нами маленькій, но крутой холмъ, поросшій кустарникомъ. Вмѣстѣ съ неровными сѣрыми рядами взбѣгаемъ на холмъ. Вижу, какъ справа передъ цѣпью бѣжитъ безусый, похожій на мальчика, прапорщикъ Г.

Я не успѣлъ окинуть взглядомъ того, что открывалось за холмомъ.

Одинъ мигъ, и совсѣмъ близко передъ нами, нестройно и торопливо, задыхаясь и хрипя, какъ цѣпныя собаки, залязгали нѣмецкіе пулеметы. Направо и налѣво люди валились, какъ подкошенные. Порѣдѣвшая рота отхлынула назадъ. Остатки потянулись черезъ поляну опять къ опушкѣ.

За нами, оставляя широкій красный слѣдъ по бѣлому снѣгу, ползъ на рукахъ одинъ раненый солдатъ. Я не могу забыть его лица. Безбородое, закрытое текучей кровавой сѣткой, оно все было смертельное томленіе и тоска.

— Братцы! Голубчики! Помогите! Братцы, Христа ради, не оставьте!

Его кое-какъ подхватили и потащили дальше.

Впереди въ двухстахъ шагахъ отстрѣливается отдѣльный взводъ нашей четвертой батареи подъ командой молодого прапорщика Гравеса. Вижу, какъ сверху густымъ роемъ, словно огненные шмели, посыпались туда нѣмецкія шрапнели. Вотъ граната ударила въ зарядный ящикъ. Взбѣсившіяся лошади понесли, и долго мчался черезъ поле этотъ пылающій фонтанъ, кидая въ воздухъ дымно-красные бушующіе снопы своихъ взрывовъ.

Вотъ и остатки роты растаяли... Съ нами одинъ капитанъ Н. и мы стоимъ впятеромъ на опушкѣ. Въ сторонѣ ординарцы держатъ лошадей. Подъѣзжаютъ изъ лѣсу офицеры нашей первой и второй батарей. Ихъ стрѣльбы ужъ минутъ десять, какъ совсѣмъ не слышно.

— Пока нѣмцы наступали съ фронта, мы держались, били въ упоръ. Потомъ разстрѣляли патроны, пѣхоты не осталось. Нѣмцы обошли съ фланга. Пришлось оставить орудія. Орудія испорчены, замки вынуты и зарыты въ лѣсу.

По лицу командира бѣгутъ горькія тѣни.

— Что дѣлать, господа! Ничего другого не оставалось.

Офицеры отъѣзжаютъ,—скоро вереница ихъ коней скрывается за стволами.

Мы опять одни. Долгія минуты молчанія.

Первый нарушилъ его полковникъ Дрейеръ.

— Господа! Намъ остается сдѣлать одно. Въ сѣдельной сумѣ у меня есть завѣтная бутылка шампанскаго. Я хранилъ ее на крайній случай. Теперь самое время. Мы были вмѣстѣ до конца. Разопьемъ ее вмѣстѣ.

Блеснула золотая головка. Пьемъ изъ горлышка поочередно. Съ наслажденіемъ втягиваю въ себя благородную влагу, легкая и острая теплота разливается по жиламъ.

Со звономъ разлетѣлась бутылка, брошенная о дерево.

„Отпито, прожито, вылито, выпито“, всплыла въ памяти строчка какого-то поэта.

Скоро, скоро конецъ! Если обманула побѣда, насъ не обманетъ смерть.

Надъ опушкой сердито забуркали разрывы. Ураганы шрапнелей крыли лѣсъ правильными ступенями, подвигаясь къ намъ вдоль опушки. Казалось, какой-то разгнѣванный демонъ дуетъ на лѣсъ струей огненнаго вихря, медленно поворачивая злобно разинутую свою пасть.

— На коней, господа!

Голосъ начальника отряда прозвучалъ отрывисто и хрипло.

Мы бросились къ конямъ. Уже сидя въ сѣдлѣ, я взялъ въ поводья двухъ ординарческихъ лошадей, пока ординарцы помогали полковнику взобраться на его слишкомъ высокаго гунтера.

Вихрь все ближе и ближе.

Трещатъ и ломаются деревья. Мелкимъ дождемъ сыплются на землю хвойныя иглы и отстрѣленныя вѣтви.

Мы съ полковникомъ на коняхъ стоимъ лицомъ другъ къ другу.

— Что же, Андрей Владимировичъ, поѣдемъ и мы!

— Стоитъ ли, милый! Куда тутъ поѣдешь! Не все ли равно! Скоро, скоро...

Въ душѣ ясный и свѣтлый холодъ. Закрываю глаза. Древнее, изсѣченное изъ камня лицо рока проплываетъ изъ мглы.

Грохотъ вверху... Оглушительный ударъ въ голову, какъ молнія, сбиваетъ меня на землю.

Камнемъ падаю съ сѣдла.

„Кончено... любимая! Моя послѣдняя мысль о тебѣ", проносится въ мозгу.

Міръ закачался, заклубился и исчезъ.

Это смерть.

И снова бѣлый дневной свѣтъ. Черезъ сколько мгновеній, не знаю, но мнѣ кажется, это были мгновенья.

Первая мысль: гдѣ командиръ?

Приподымаюсь на рукахъ и гляжу впередъ. Полковникъ лежитъ ничкомъ въ нѣсколькихъ шагахъ. Рядомъ стоитъ его лошадь.

Подползаю къ нему, зову, трясу, тормошу, съ трудомъ приподнимаю за плечо. Голова мотается безпомощно. Глаза закрыты. На лицѣ синеватыя тѣни.

Полковникъ мертвъ.

Кое-какъ встаю на ноги. Голова кружится. Кровь заливаетъ лицо и течетъ на грудь. Дотрогиваюсь до раны рукой. Вся правая щека разворочена, мои пальцы касаются обнаженной кости,—противное и странное ощущеніе.

— Гдѣ полковникъ Кисляковъ?—долетаетъ издали. Это голосъ начальника отряда.

— Полковникъ убитъ!—отвѣчаю я громко. Между деревьями мелькаетъ фигура всадника, отъѣзжающаго вглубь лѣса.

Прислонившись къ дереву, безъ думъ, безъ чувствъ, безъ тревоги, гляжу равнодушно на золотистые стволы.

Бѣлые громы сыплются на опушку. Не все ли равно.

Вдругъ вспоминаю... Грачевъ! Гдѣ же Грачевъ?

— Грачевъ!—кричу я, собравъ всѣ силы.

— Здѣсь!—слышится невдалекѣ.

Ординарецъ бѣжитъ ко мнѣ, грузно топая тяжелыми сапогами. Его лицо тоже въ крови.

— Вы живы, ваше благородіе?—кричитъ онъ на бѣгу.

— Я живъ, командиръ убитъ,—показываю я рукою.

— Царство ему небесное! Батюшки, да вы ранены! Давайте, я отведу васъ въ лѣсъ. Здѣсь быть никакъ невозможно.

Грачевъ обхватываетъ меня обѣими руками и ведетъ прочь отъ поляны. Бреду, покачиваясь, невѣрными шагами, съ трудомъ волоча ноги.

— Слава Богу! Тутъ окопы!—обрадовался Грачевъ.

Шагахъ въ ста отъ опушки идетъ, слабо понижаясь, скатъ невысокаго лѣсного холма. На немъ желтѣютъ свѣжія насыпи окоповъ.

— Вонъ тамъ доктора въ землянкѣ. Туда веди!—доносится откуда-то сбоку.

Ординарецъ почти подтаскиваетъ меня къ землянкѣ. Оттуда выглянула голова слегка знакомаго мнѣ доктора.

— Господи! Какъ васъ угораздило!

Посадивъ меня на вырытыя въ землѣ ступеньки у входа, онъ наскоро обматываетъ мнѣ голову бинтомъ.

— Здѣсь у насъ тѣсно. Вы ужъ помѣститесь гдѣ-нибудь поблизости.

Мнѣ все равно. Я равнодушно киваю головой, и Грачевъ вновь ведетъ меня куда-то.

Мы лежимъ рядомъ въ неглубокомъ, не больше аршина окопѣ, едва прикрытомъ сверху вѣтвями ельника. Кромѣ насъ,

тамъ еще пятеро солдатъ. На какихъ-то щепочкахъ они ухитрились нагрѣть чайники снѣговой воды и даютъ мнѣ кружку. Пересохшими губами съ трудомъ выпиваю нѣсколько глотковъ.

Лежу лицомъ на пескѣ. Кровь обильно течетъ изъ-подъ слабо затянутой перевязки. Сознанiе то яснѣетъ, то окутывается туманомъ. Мнѣ чудится,—знакомое милое лицо склоняется надо мною и тонкiе пальцы ласково проводятъ по глазамъ.

— Любимая! Ты не думай... я сражался честно...—шепчу я тихонько.

— Ваше благородiе! Выпейте еще. Вамъ лучше будетъ,— смутно, какъ во снѣ, доходитъ до меня голосъ Грачева, и металлическiе края кружки приникаютъ ко рту.

Я прихожу въ себя.

Начинаю думать о командирѣ.

Бѣдный полковникъ! Какiя чудесныя сокровища доброты, чуткости и нѣжности крылись подъ его оболочкой свѣтскаго, слегка холоднаго человѣка! Въ эти послѣднiе страшные дни его душа раскрылась мнѣ до конца,—какъ другу, и сколько я прочелъ въ ней того, чего не знали и не узнаютъ его товарищи.

Пальба все усиливается. Бѣшеный перекрестный огонь кроетъ лѣсъ. Свирѣпо хрипя, лопаются снаряды, и, откликаясь имъ, тяжелой дрожью содрогается земля. Песокъ сыплется со стѣнокъ окопа. Обстрѣлъ идетъ уже съ двухъ сторонъ.

Двое солдатъ, не говоря ни слова, выползаютъ изъ окопа.

— Ваше благородiе! Поищемъ окопъ поглубже. Здѣсь пропадешь!

— Ладно, Грачевъ, поищемъ.

Вылѣзли и, пригнувшись, перебѣгаемъ въ другой. Этотъ еще мельче,—въ немъ нѣтъ и аршина. Снова выходимъ и натыкаемся на докторскую землянку. Прошу принять насъ туда.

Потѣснившись, пускаютъ. Эта землянка глубокая. Лежу въ полутемномъ углу. Съ докторами священникъ. Онъ подкладываетъ мнѣ подъ голову свою подушку. Напряженiе утомило меня. Я то и дѣло лишаюсь чувствъ и мнѣ даютъ нюхать нашатырный спиртъ.

Совсѣмъ близко тяжелый ударъ и взрывъ. Иглы посыпались на голову съ еловыхъ вѣтвей настила.

Мой ординарецъ, сидѣвшій у входа, выставляетъ наружу голову.

— Ваше благородіе! Въ нашъ первый окопъ ударило. Гляди, въ тѣхъ троихъ угодило.

Онъ выползаетъ съ санитаромъ и тотчасъ возвращается,— убиты всѣ трое.

— Докторъ! Ради Бога!—повторяю я въ минуты сознанія. Пошлите санитаровъ осмотрѣть полковника Кислякова. Онъ тутъ недалеко, на самой опушкѣ. Можетъ-быть, онъ только въ обморокѣ. Можетъ-быть, я ошибся.

Когда огонь немного слабѣетъ, докторъ, наконецъ, посылаетъ санитаровъ. Черезъ нѣсколько минутъ они приходятъ назадъ. Полковникъ мертвъ безусловно, онъ уже совсѣмъ холодный.

Стрѣльба затихаетъ и уходитъ вдаль. Вблизи только отдѣльные ружейные выстрѣлы. Вотъ и ихъ нѣтъ.

Снаружи зазвучали рѣзкіе нѣмецкіе окрики.

— Halt! Halt!

Чей-то голосъ произноситъ по-русски, съ сильнымъ нѣмецкимъ акцентомъ:

— Здѣсь доктора? Доктора, выходите!

Всѣ одинъ за другимъ вылѣзаютъ изъ землянки.

— За вами мы сейчасъ же вернемся.

Мы съ ординарцемъ остаемся вдвоемъ. Отстегиваю шашку и револьверъ.

— Грачевъ! Закопай!

Ординарецъ торопливо засовываетъ наши шашки въ мягкій песокъ въ углу и тщательно загребаетъ ихъ землею. Вотъ ихъ не видно совсѣмъ, вражья рука не коснется моего оружія.

Проходитъ минутъ пять,—никого.

Грачевъ выходитъ изъ землянки. Опять нѣмецкій окрикъ.

— Офицеръ, офицеръ раненый,—слышу внушаетъ ему по-россійски Грачевъ.

— O ja! Ein offizier!

— Вылѣзайте, ваше благородіе!

Ординарецъ помогаетъ мнѣ выйти и ведетъ къ опушкѣ, поддерживая подъ руки. Сбоку на рыжей лошади нѣмецкій кавалеристъ. Мнѣ трудно итти. Грачевъ нагружаетъ меня на чью-то полусломанную брошенную пролетку и кое-какъ впрягаетъ туда покинутую артиллерійскую лошадь. Забираемъ въ

пролетку двухъ нашихъ раненыхъ солдатъ. Медленно тащимся черезъ поляну, ординарецъ ведетъ лошадь подъ уздцы. Его голова тоже обмотана бинтомъ,—пуля пронизала ему мякоть щеки.

Кавалеристъ молча ѣдетъ сбоку, рукой указывая дорогу.

Поднимается вѣтеръ. Мнѣ стало холодно. Снимаю папаху, чтобъ отстегнуть отворотъ. Верхъ пробитъ двумя пулями, и полоска на мѣху содрана пролетѣвшимъ осколкомъ шрапнели.

Разглядываю папаху съ холоднымъ любопытствомъ.

Сѣрыя тучи нависли низко, какъ мокрый тяжелый парусъ. Накрапываетъ дождь...

Прощай, золотая свобода!

Сергѣй Кречетовъ.

Островъ Dänholm.

ПЛѢННЫЙ РЫЦАРЬ.

Свѣтлый день, томительный и нѣжный,
Громоздятся облачныя горы.
Впереди зеленый валъ прибрежный,
А за валомъ—водные просторы.

Рѣжетъ парусъ синія кочевья.
Вѣтви кленовъ шепчутъ надо мною.
Все равно вамъ, гдѣ шумѣть, деревья.
Все равно вамъ, гдѣ цвѣсти весною.

Часовой шагами площадь мѣритъ.
Я не помню, здѣсь живу давно ли.
Только сердце, сердце все не вѣритъ,
Все тоскуетъ объ ушедшей волѣ.

Гдѣ-то тамъ пылаетъ жизнь огнями,
Алый вихрь надежды и проклятій...
Мнѣ осталось только грезить днями
Да смотрѣть на море на закатѣ.

Тамъ, на морѣ, шхунъ недвижныхъ снасти.
Тамъ, на морѣ, Штральзундскія башни.
А о насъ давно забыло счастье.
Каждый день опять, какъ день вчерашній.

Блещутъ въ волнахъ солнечныя нити.
Тянутъ журавли двумя цѣпями,
На востокъ вы, птицы, отнесите
Мой привѣтъ моей прекрасной Дамѣ.

Опишите островъ тотъ безвѣстный,
Гдѣ живетъ ея плѣненный рыцарь,
Разскажите, что я бился честно,
Попросите вѣрить и молиться.

Таетъ день, томительный и нѣжный,
Таютъ въ небѣ облачныя горы.
Впереди высокій валъ прибрежный,
А за валомъ—синіе просторы.

Сергѣй Кречетовъ.

БЕЗЪ КРОВА.

Теменъ и горекъ жребій ущелья...
Утро, и полдень, и вечеръ—какъ келья...
    Замкнуты думы и сны...
Медленно, въ граняхъ тѣни и тѣни,
Мѣритъ безъ срока все тѣ же ступени
    Часъ тишины...
Въ кругѣ желѣзномъ дрожи повторной
Трудно безъ дали влачиться упорно
Съ сердцемъ, объятымъ пыланьемъ глухимъ,
Съ ищущимъ бури сердцемъ моимъ!
Мечутся волны въ ярости спора...
Вотъ онъ, пылающій жребій простора—
    Свистъ, клокотанье и вой!
Солнце и звѣзды бездна колышетъ,
Взроется, падаетъ, пѣнится, дышитъ
    Мощью живой...
Льются безъ граней сумракъ и зори—
Боже! Мнѣ трудно въ раскрывшемся морѣ,
Въ бѣгѣ по безднамъ, довѣриться имъ
Алчущимъ мира сердцемъ моимъ!

Ю. Балтрушайтисъ.

Въ германскомъ плѣну.

(Записано со словъ В. М. Глѣбова).

Мы наступали въ Восточной Пруссіи. Бои развивались для насъ вполнѣ благополучно, и мы уже до нѣкоторой степени привыкли къ боевой обстановкѣ и смѣло шли впередъ... Вблизи уже былъ Лансдененъ; мы брали германскіе окопы и шли дальше...

Нашъ полкъ въ количествѣ нѣсколькихъ эскадроновъ получилъ приказаніе двинуться впередъ и занять укрѣпленныя позиціи нѣмцевъ; мѣстность была намъ знакома, такъ какъ наканунѣ бои шли какъ разъ въ этихъ же мѣстахъ и мы, смѣло двинувшись впередъ, заняли безъ боя нѣсколько крестьянскихъ домовъ, но убѣдились въ томъ, что передъ нами нѣмцы, укрѣпившіеся въ цѣломъ рядѣ другихъ такихъ же избъ.

Выставивъ впередъ пулеметную команду, мы принялись усиленно обстрѣливать нѣмецкія позиціи; дѣйствіе нашего огня, и въ особенности пулеметовъ, было таково, что нѣмцы не выдержали и понемногу начали выскакивать изъ домовъ и перебѣгать дальше.

Казалось, что задача нами исполнена, что позиціи нѣмцевъ будутъ взяты, и мы уже готовы были торжествовать побѣду.

Но, на помощь отступавшимъ нѣмцамъ подоспѣла ихъ артиллерія, и мы сразу почувствовали, что картина боя мѣняется не въ нашу пользу.

Если вначалѣ занятыя нами избы служили надежнымъ прикрытіемъ отъ ружейнаго и пулеметнаго огня, то теперь, когда на поле битвы была выдвинута артиллерія, избы стали для нея прекрасной цѣлью и черезъ нѣсколько минутъ уже наша часть несла громадныя потери ранеными и убитами.

Держаться дольше было почти немыслимо и мнѣ пришлось такъ или иначе выводить людей изъ боя, тѣмъ болѣе, что по доне-

сеніямъ сосѣднихъ частей, во флангъ намъ выходила нѣмецкая пѣхота, и мы легко могли быть окружены.

Дѣлаю перебѣжки и нахожу въ одной изъ оставшихся сзади избъ командира полка съ нѣсколькими офицерами.

Послѣ краткаго совѣта принимается рѣшеніе: начать отступленіе.

Эскадронъ за эскадрономъ выносятся изъ боя, а вслѣдъ имъ несется цѣлый дождь снарядовъ.

Отступать при томъ условіи, что отступленіе никѣмъ не задерживается, совершенно немыслимо, и я на свой рискъ и страхъ рѣшаюсь опять разыскивать командира, чтобы заявить ему, что надо выдѣлить ту или иную часть для прикрытія отступленія.

Командиръ полка поручаетъ мнѣ эту операцію съ моимъ взводомъ; мы останавливаемся, спѣшиваемся и начинаемъ перестрѣлку съ насѣдающими нѣмцами.

Но задача задержать наступленіе нѣмцевъ намъ не подъ силу...

Рядомъ со мной лежатъ и усердно стрѣляютъ всего лишь три или четыре солдата...

Понемногу начинаемъ перебѣгать вслѣдъ за отступающими нашими частями.

Дѣлаю нѣсколько шаговъ и чувствую, что ногу рѣзко хлестнуло чѣмъ-то горячимъ... Падаю.

Силюсь приподняться и бѣжать дальше, но не могу.

Нога раздроблена и каждое малѣйшее движеніе вызываетъ такую невѣроятную боль, что все тѣло покрывается испариной и трудно заглушить невольный крикъ.

Моя битва закончена!..

Артиллерійскій обстрѣлъ приближается. Внезапно близъ меня разрывается снарядъ и я чувствую сильный ударъ въ голову.

Меня контузило.

Становится яснымъ, что слѣдующей „очередью" попадетъ прямо въ меня и я понимаю, что жизнь кончена...

Молюсь, быть-можетъ, въ послѣдній разъ,— крещу себя и жду смерти.

Мнѣ не страшно. Дрался, какъ могъ, большаго никто не въ правѣ отъ меня требовать...

Еще одна „очередь" рвется мимо...

Обстрѣлъ переносится дальше.

Все тихо... Бой уносится далеко въ сторону; я лежу одинъ съ искалѣченной ногой, не имѣя возможности проползти даже нѣсколько шаговъ.

— Ваше благородіе!.. Ваше благородіе!..

Слышу родную рѣчь и передо мной появляется одинъ изъ моихъ солдатъ.

Откуда онъ взялся, гдѣ онъ былъ, не знаю, только чувствую, что сейчасъ, быть-можетъ, порвется послѣдняя связь съ родиной и въ лицѣ этого солдата родина шлетъ мнѣ свой прощальный привѣтъ.

Съ трудомъ приподнимаюсь.

— Что тебѣ?

— Такъ что, ваше благородіе, дозвольте я васъ отнесу отсюда.

— Куда жъ ты меня понесешь, милый... ты видишь, во мнѣ безъ малаго шесть пудовъ, а ты вонъ какой маленькій...

— Да нѣтъ ужъ, дозвольте... Я какъ-нибудь...

Вынести онъ меня, конечно, не сможетъ, и я приказываю ему спасаться одному. А если до вечера нѣмцы не займутъ этого мѣста, то пусть наши вернутся и вынесутъ меня.

Солдатъ смахнулъ съ глазъ слезу, перекрестилъ меня, поцѣловалъ въ лобъ и тихонько удалился...

Понемногу темнѣетъ...

Я спокоенъ. Вынимаю портсигаръ, закуриваю, смотрю на часы и жду...

Плѣнъ!.. Скоро я буду въ плѣну...

Что дастъ онъ мнѣ?!

Вдругъ, откуда-то сбоку, появляется нѣмецкій солдатъ.

Въ его движеніяхъ чувствуется какая-то звѣриная порывистость и въ то же время осторожность и осмотрительность.

Такъ лисица, выйдя на охоту, внимательно поводитъ своей заостренной мордочкой.

Солдатъ медленно обходитъ поле, возится съ убитыми нашими солдатиками, обшаривая ихъ, забирая у нихъ что ему нужно.

Начинаю соображать, что онъ можетъ просто прикончить меня, чтобы удобнѣе отнять у меня мои вещи, и рѣшаюсь окликнуть его.

— Подойдите ко мнѣ,—кричу по-нѣмецки.

— О... Русскій офицеръ...

Нѣмецъ набрасывается на меня со штыкомъ, но я всѣмъ своимъ существомъ сознаю, что ударить меня онъ не можетъ, и спокойно улыбаюсь.

Дѣйствительно, нѣмецъ невольно опускаетъ винтовку.

— Перевяжите меня, я лежу ужъ нѣсколько часовъ и истекаю кровью.

— Сейчасъ придетъ нашъ докторъ, онъ перевяжетъ васъ.

Солдатъ принимается обшаривать мои карманы. При каждомъ его движенiи въ ногѣ поднимается невѣроятная боль и я прошу его подождать, пока я самъ не достану свой кошелекъ.

Подаю ему.

— Сколько здѣсь? — дѣловито спрашиваетъ нѣмецъ.

— Столько-то...

Сумма его вполнѣ удовлетворяетъ и онъ становится внимательнымъ ко мнѣ.

Подходятъ другiе солдаты.

Тѣ не набрасываются на меня, а утѣшаютъ, какъ могутъ, предлагаютъ коньяку, и кто-то изъ нихъ даже угощаетъ папиросой.

Прошу перевязать меня, но встрѣчаю отказъ.

— Сейчасъ придетъ докторъ, онъ васъ перевяжетъ.

Появляется докторъ съ типичной нѣмецкой физiономiей, на которой написано безграничное самодовольство и отъ которой ждать чего-либо добраго—пустая затѣя.

Тупо посмотрѣлъ на меня.

— А, русская свинья! — и ушелъ.

— Вотъ видите, сказалъ я обезкураженнымъ солдатамъ, вашъ докторъ только обругалъ меня, а не перевязалъ и я могу изойти кровью.

— Погодите, господинъ офицеръ, сейчасъ придетъ другой докторъ, тотъ много лучше этого, онъ вамъ поможетъ.

Дѣйствительно, другой докторъ оказался много сердобольнѣе и, наскоро перевязавъ меня и впрыснувъ морфiя, приказалъ тащить въ лазаретъ.

Взвалили меня на шинель и понесли.

Боль невѣроятная и, чтобы не кричать, я закусилъ уголъ своей шинели и плотно сжимаю ее.

Въ избѣ, гдѣ помѣщался полевой лазаретъ, меня окружили солдаты и одинъ изъ нихъ пристально разсматриваетъ мою браслетку съ часами.

Чувствую, что часы отнимутъ, такъ же, какъ деньги и оружіе, и рѣшаю лучше самому отдать часы.

Спрашиваю:

— Нравятся вамъ эти часы.

— О, да...

— Хотите я вамъ ихъ подарю?!!

— О, да...

— Такъ возьмите...

Часы перешли къ нѣмцу.

Вмѣстѣ съ другими ранеными русскими солдатами повезли насъ въ какой-то городъ, гдѣ помѣстили уже въ настоящій лазаретъ и гдѣ было обѣщано, что къ моей исковерканной ногѣ отнесутся со всѣмъ вниманіемъ.

Нога вся затекла, загноилась, опухла.

Надо такъ или иначе освободить ее отъ сапога, промыть, вынуть раздробленныя кости, наложить гипсовую повязку.

Присылаютъ сестру милосердія.

Не дай Богъ встрѣтить еще разъ образчикъ такого „милосердія!“

— Сестра, говорю ей, надо снять сапогъ, но снять его немыслимо — до того болитъ нога, придется разрѣзать сапогъ, иначе я не перенесу...

— О, нѣтъ, улыбнулась сестра, зачѣмъ мы будемъ портить сапогъ, мы его и такъ стянемъ съ васъ,—и ухватилась за сапогъ...

Но тутъ даже нѣмецкіе санитары пришли въ ужасъ отъ такой совершенно ненужной пытки и рѣшительно заявили своей „милосердной сестрицѣ“, что они этого не допустятъ, и что сапогъ необходимо разрѣзать.

Сапогъ разрѣзали и ногу промыли.

Послѣ этого я былъ оставленъ на произволъ судьбы.

Нога болѣла невѣроятно, я кричалъ, стоналъ, звалъ, чтобы мнѣ перевязали ногу, но никто не шелъ...

Со мной рядомъ лежалъ солдатъ съ раздробленной ногой и такъ же, какъ и я, страдалъ невѣроятно. Не переставая ни на одну минуту, онъ кричалъ и взывалъ о помощи.

Никто не шелъ.

Въ жару мой бѣдный сосѣдъ — прими его душу, Господи, съ миромъ!—сорвалъ съ ноги всѣ повязки и къ утру истекъ кровью и умеръ...

Унесли его, но никто не устыдился передъ тѣмъ, что умеръ онъ только потому, что ему не помогли, не подали во-время хотя бы простого питья и не перевязали вновь разбинтовавшуюся ногу.

Вскорѣ меня перевезли въ госпиталь въ Кенигсбергъ и поручили доктору Пику, извѣстному врачу спеціалисту по женскимъ болѣзнямъ, ничего не понимавшему въ хирургіи.

Докторъ Пикъ перевязалъ меня, успокоилъ, сказавъ, что онъ вылѣчитъ мою ногу и... больше никакой помощи я опять не встрѣтилъ.

Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ температура у меня не спадала ниже 39 градусовъ, нога болѣла невѣроятно, ухода же не было никакого.

Лежалъ я одинъ одинешенекъ въ комнатѣ.

Наконецъ, упросилъ госпитальную администрацію перевести меня въ солдатское отдѣленіе.

Перевели.

И сразу на душѣ стало легче.

Здѣсь неоцѣнимая красота души простого русскаго человѣка особенно сильно повліяла на меня.

Израненные, обезсиленные потерей крови, лишенные, какъ и я, всякаго ухода, почти не получая пищи, солдаты ухаживали за мной, какъ няньки.

Они соболѣзновали мнѣ, потому что я де „воспитанія нѣжнаго-барскаго“ и потому долженъ особенно страдать. А они „ко всему привычны“...

Хотя привыкнуть было врядъ ли возможно и имъ!..

Кормили насъ такъ: мнѣ, какъ офицеру, полагалось утромъ порція цикорія безъ сахара, затѣмъ кружка молока (только офицерамъ) и на обѣдъ картофельный супъ въ продолженіе всего моего пребыванія въ плѣну, при чемъ мнѣ еще, какъ офицеру, маленькій кусочекъ свиного сала, солдатамъ же не полагалось въ супѣ ничего.

Обслуживали нашъ лазаретъ два фельдшера, и ими исчерпывался весь медицинскій персоналъ лазарета для русскихъ военноплѣнныхъ.

Надо замѣтить, что фельдшерами они лишь назывались, такъ какъ профессія одного изъ нихъ была, если не ошибаюсь, производство кирпичей, другой же былъ спеціалистомъ по слесарному дѣлу.



В. Д. Полѣновъ. Рис. къ картинѣ МАРІЯ МАГДАЛИНА.

Впрочемъ, какъ люди они были много выше доктора Пика и дѣлали для насъ все, что могли. И среди безконечныхъ страданій, мучительства и издѣвательства, перенесенныхъ тогда мною, они вспоминаются мнѣ безъ всякой злобы, скорѣе даже съ симпатіей къ ихъ не совсѣмъ озвѣрѣлому сердцу.

Лѣчили насъ эти фельдшера какъ умѣли и усердно пользовали тѣми несложными медикаментами, какіе были предоставлены въ ихъ распоряженіе.

Русскимъ военноплѣннымъ полагалось два лѣкарства, имѣвшія исцѣлять ихъ отъ всѣхъ возможныхъ болѣзней и способствовать быстрому заживленію ранъ: аспиринъ и касторка.

Разумѣется примѣненіе такихъ средствъ не содѣйствовало нашему исцѣленію; мы оставались рѣшительно безъ надлежащаго врачебнаго ухода.

Нами не интересовались, а человѣколюбіе не входило въ число нѣмецкихъ добродѣтелей за войну 1914 г.

Съ самаго начала нашего появленія въ лазаретѣ мы лежали немытые, покрытые сплошными тучами насѣкомыхъ, съ наросшей на тѣлѣ грязью, въ почти истлѣвшемъ бѣльѣ.

Моя нога до такой степени разболѣлась, что администрація лазарета для русскихъ плѣнныхъ рѣшила перевести меня въ нѣмецкій лазаретъ, гдѣ мою ногу должны были осмотрѣть и принять тѣ или иныя мѣры.

Меня перевезли.

Нѣмецкій лазаретъ являлъ изъ себя совсѣмъ другую картину; здѣсь все было устроено съ тѣмъ, чтобы оказать раненому нѣмецкому воину всяческую помощь; лазаретъ былъ оборудованъ всѣми новѣйшими усовершенствованіями, былъ расположенъ въ великолѣпномъ саду, съ разбитымъ роскошнымъ цвѣтникомъ и т. п.

Здѣсь мнѣ сказали, что докторъ Пикъ ногу „запустилъ", но что кое-какъ надежда вылѣчить ее все еще есть. Пріѣхавшая знаменитость долго осматривала ногу и, въ концѣ-концевъ, забинтовала такъ, что раздробленныя кости торчали перепендикулярно другъ другу и, разумѣется, сростись не могли. Послѣ осмотра и перевязки меня вернули въ русскій госпиталь.

Температура не спадала.

Боли сдѣлались совершенно непереносимыми, и начались мои скитанія изъ русскаго лазарета въ нѣмецкій.

Сдѣланы были мнѣ приблизительно пять операцій, которыя никакой пользы мнѣ не принесли.

Послѣ девятимѣсячнаго лежанія на спинѣ по всему тѣлу образовались пролежни и лежать стало физически невозможно.

Приходилось, чтобы утишить боль отъ пролежней, подкладывать подъ себя обѣ руки и лежать на нихъ.

Только когда приносили мнѣ ѣсть, я съ трудомъ вынималъ изъ-подъ себя одну руку, наскоро глоталъ пищу и опять подкладывалъ ее себѣ подъ спину.

Въ нижнемъ этажѣ дома, въ которомъ помѣщался нашъ русскій лазаретъ, имѣлся буфетъ, гдѣ постоянно устраивались попойки, и пьяные нѣмецкіе офицеры вваливались къ намъ въ госпиталь, чтобы получить своеобразное удовольствіе—полюбоваться видомъ израненнаго врага и посмотрѣть на плѣннаго русскаго офицера.

Дикими голосами распѣвались тамъ пѣсни, и этимъ шумомъ и крикомъ они мѣшали намъ по ночамъ уснуть и успокоиться.

И только, когда какіе-то генералы навѣдывались къ намъ въ качествѣ ревизоровъ, госпиталь подтягивался, принималъ необычный видъ нѣкоторой чистоты, что съ отъѣздомъ ревизоровъ быстро сходило, однако, на нѣтъ.

Полгода лежалъ я, подсунувъ подъ себя обѣ руки, нога гноилась и распухала, температура не спадала и мученія не прекращались ни на минуту.

Я убѣдился, что ногу мнѣ сохранить не удастся, и самъ сталъ просить о томъ, чтобы ее мнѣ отрѣзали.

И вотъ здѣсь, среди всего описаннаго мной ужаса, мелькнуло что-то свѣтлое, человѣческое.

Отрѣзать и залѣчить мнѣ ногу поручили извѣстному германскому хирургу Миллеру.

Отнесся ко мнѣ Миллеръ крайне человѣколюбиво и сердечно; онъ согласился со мной, что ногу мнѣ нужно отрѣзать, такъ какъ надежды сохранить ее послѣ лѣченія доктора Пика почти не было и лучше казалось, отнявъ ногу, дать мнѣ возможность хоть немного поправиться и подлѣчиться.

Ампутировалъ онъ меня, впрочемъ, не сразу и всячески оттягивалъ день операціи.

Но затѣмъ, когда, очевидно, нагноеніе зашло ужъ слишкомъ далеко, меня усыпили въ постели и проснулся я уже съ отрѣзанной ногой.

Къ сожалѣнію, желанное успокоеніе не пришло.

Нога была такъ запущена и всѣ жилы были такъ воспалены, что приходилось дѣлать все время перевязки, во время которыхъ я постоянно терялъ от боли сознаніе.

А къ этой боли прибавилось и еще мученіе въ лицѣ одного изъ германскихъ фельдшеровъ.

Онъ своеобразно понималъ свои обязанности и наслаждался нашими мученіями.

Вмѣстѣ со мной лежалъ съ раздробленной костью русскій солдатъ, надъ которымъ онъ издѣвался тѣмъ, что не давалъ ему по двое сутокъ пить.

— Господинъ фельдшеръ, дайте больному пить, вѣдь у него жаръ, онъ изнемогаетъ отъ жажды,—обращался я къ нему съ просьбой.

— О нѣтъ... Я считаю, что, вообще, пить дурная привычка. Я лично не пью воды даже во время сѣнокоса и помоему онъ и пить-то не хочетъ. Онъ хочетъ ѣсть...

И бѣдному солдату насильно засовывалъ въ ротъ картошку, наслаждаясь его мукой.

Не давалъ онъ намъ и спать, и являлся ночью съ газетой, сообщая ужасныя вѣсти о нашей родинѣ и оправдывая свои визиты тѣмъ, что у него въ комнатѣ нѣтъ электрическаго освѣщенія.

Впрочемъ, этотъ фельдшеръ и со своими солдатами обращался не лучше.

Рядомъ въ комнатѣ лежалъ израненный и сошедшій съ ума нѣмецкій солдатъ, который не закрывая рта кричалъ... Такъ его нашъ г. „оберъ“ усмирялъ ударами кнута.

Стараніями Миллера нога моя начала заживать и наступило улучшеніе.

Температура спадала и боли нѣсколько утихли.

Въ мартѣ мѣсяцѣ стала получаться на мое имя корреспонденція и денежные переводы.

Получая деньги, я уже сталъ чувствовать себя много лучше въ смыслѣ питанія.

Правда, втридорога, но нѣмцы позволяли мнѣ покупать мясо, молоко, зелень; мой столъ значительно улучшился.

Стали поговаривать и объ обмѣнѣ инвалидовъ. Разумѣется, меня утѣшали тѣмъ, что въ первыя очереди я ни въ коемъ случаѣ не попаду и что томиться мнѣ придется еще очень долго.

Усиленно хлопоталъ о моемъ возвращеніи на родину дядя мой, посланникъ въ Стокгольмѣ Неклюдовъ, и въ сентябрѣ, нежданно пришла телеграмма изъ военнаго министерства о томъ, чтобы меня немедленно отправили въ обмѣнъ на германскаго инвалида.

Рѣшили меня отправить, но встрѣтилось сильное затрудненіе въ томъ, что на мнѣ, кромѣ дыряваго нижняго бѣлья, ничего не было.

Это нѣсколько смутило нѣмцевъ, но потомъ они заявили, что „штаны мнѣ въ сущности и не нужны, разъ я безъ ноги“, и потому просто положили меня на носилки и покрыли сверху шинелью.

Сначала я ѣхалъ въ санитарномъ поѣздѣ, гдѣ было удобно и покойно, но потомъ меня переложили въ товарный поѣздъ, сунувъ мои дырявыя носилки въ багажный вагонъ.

Было страшно холодно, подъ носилки поддувало, а моя шинель не могла меня, разумѣется, согрѣть.

Въ багажномъ вагонѣ я схватилъ ревматизмъ.

Наконецъ, меня пересадили въ спеціальный поѣздъ для инвалидовъ, заявивъ, что дальше обо мнѣ будетъ заботиться „американецъ“...

Я абсолютно не зналъ, что это за американецъ и откуда онъ взялся, но потомъ при встрѣчѣ съ нимъ выяснилось, что мистеръ Харъ, бывшій миссіонеръ въ Индіи, поставилъ себѣ въ задачу быть полезнымъ раненымъ солдатамъ всѣхъ національностей, и полгода работалъ въ Россіи, а полгода въ Германіи, стараясь и объ улучшеніи положенія военноплѣнныхъ.

Сначала его работа подвигалась туго, такъ какъ средствъ у него почти не было, но затѣмъ его безкорыстная дѣятельность вызвала симпатіи со стороны американскаго общества и въ деньгахъ онъ уже пересталъ нуждаться.

Онъ-то, главнымъ образомъ, и добивался моего освобожденія изъ германскаго плѣна, пользуясь поддержкой моего дяди Неклюдова, который въ свою очередь далъ ему возможность работать въ Россіи.

Мистеръ Харъ вымѣнялъ меня на раненаго германскаго офицера, и я такимъ образомъ былъ, наконецъ, освобожденъ изъ плѣна.

Нечего и говорить о томъ, что ухаживалъ за мной мистеръ Харъ и утѣшалъ меня дорогой, какъ только могъ и благополучно доставилъ меня изъ Стокгольма въ Петроградъ.

28-го сентября 1915 г. прибылъ я въ Петроградъ и 1-го октября пріѣхалъ въ Москву, гдѣ и лѣчусь теперь, съ ужасомъ вспоминая всю неимовѣрную тяготу и мучительности германскаго плѣна и врачебнаго ухода.

Ноябрь 1915 г. Москва.

1. ПОДЪ МОНАСТЫРЕМЪ.

Звонятъ по кельямъ на утесѣ.
Разсвѣтъ. Святой и тихій часъ.
Въ лучахъ зари, надъ соннымъ моремъ,
На маякѣ огонь погасъ.
Подъ кручей, гдѣ стоятъ баркасы,
Семья усталыхъ рыбаковъ,
Вернувшись на берегъ, сбираетъ
У шалашей ночной уловъ.
Песокъ остуженъ влагой моря,
Онъ свѣжъ какъ утро—и на немъ
Трепещетъ рыба въ пляскѣ смерти,
Живымъ играя серебромъ.

2. ВЕРБЛЮДЪ.

Въ звѣринцѣ, въ праздникъ, громъ органа,
И ревъ и гомонъ, какъ въ аду.
Толпа у клѣтки павіана,
И крикъ и хохотъ какаду.
А тамъ, за тѣсной загородкой,—
Горбы верблюда. По верхамъ
Скользитъ онъ взоромъ съ грустью кроткой,
Нѣмой и непонятной намъ.

Ладья пустынь, огнемъ объятыхъ,
Сопутникъ-другъ волхвовъ брадатыхъ,
Я въ снахъ Востока предъ тобой.
Какой встаетъ загадкой странной
Здѣсь, въ обстановкѣ балаганной,
Ветхозавѣтный образъ твой!

Н. Лепетичъ.

Легенды о Тамерланѣ.

I.

Нѣтъ человѣка, который не хотѣлъ бы владѣть Самаркандомъ!

Ширъ-Али, кривой нищій, тоже мечталъ объ этомъ, особенно по ночамъ, когда тихій степной вѣтеръ пахнетъ травами, опьяняя, возбуждая безумныя мечты.

Но и днемъ нищій нерѣдко говорилъ бѣднякамъ, друзьямъ своимъ:

— Ахъ, если бы я былъ владыкой Самарканда!

Весь городъ узналъ мечту Ширъ-Али и люди, смѣясь при встрѣчѣ съ нимъ, говорили другъ другу:

— Вотъ этотъ, одноглазый, тоже хочетъ владѣть Самаркандомъ!

Узналъ о мечтахъ нищаго самъ Великій Хромой, Тимуръ-ханъ, узналъ и удивился жестоко:

— Несправедливо это,—сказалъ онъ,—несправедливо, если мечта героя доступна сердцу ничтожнаго нищаго!

И запомнилъ онъ въ глубокомъ сердцѣ своемъ имя—Ширъ-Али.

А долго спустя, когда стѣны Самарканда пали подъ ударами желѣзной руки Тимура и когда благая рука эта возстановила красоту города во всемъ великолѣпіи его, повелѣлъ Тимуръ-ленгъ:

— Найдите нищаго, по имени Ширъ-Али!

Привели одноглазаго, и сказалъ Тимуръ, глядя на него глазами барса:

— Али! Извѣстно стало мнѣ, что небо и звѣзды любятъ тебя и рѣшилъ я—да будешь ты счастливъ на землѣ, да исполнится мечта твоя!

И приказалъ:

— Омойте нищаго, одѣньте его и поклонитесь ему—отнынѣ онъ владыка Самарканда, какъ того хочетъ мой разумъ, какъ рѣшило сердце мое!

Вотъ сидитъ Ширъ-Али на коврахъ, выше всѣхъ, весь въ шелкѣ и золотѣ, сидитъ, открывъ ротъ, и одинокій глазъ его не виденъ въ радужномъ блескѣ драгоцѣнныхъ камней.

А предъ нимъ стоятъ, преклонивъ головы, великіе мурзы, воины, мудрецы и девяносто девять тысячъ удивленнаго народа.

И самъ Непобѣдимый стоитъ предъ нимъ, прислушиваясь молча, какъ рыгаетъ чисто вымытый, по горло сытый нищій.

И сказалъ ему Тимуръ-ханъ:

— Скажи намъ что-нибудь, Ширъ-Али, счастливый человѣкъ, скажи намъ лучшее, что ты носишь въ душѣ твоей, знакомой со всякимъ горемъ, въ доброй душѣ твоей...

Подумалъ одноглазый и сказалъ:

— Добрые люди, подайте милостыню одноглазому нищему, подайте...

Долго молчали князья, воины, мудрецы, девяносто девять тысячъ народа, и самъ Тимуръ долго молчалъ.

А потомъ, вздохнувъ, повелѣлъ:

— Повѣсьте эту кривую собаку на воротахъ города!

. . . .

Есть люди, которые думаютъ, что одноглазый нищій въ послѣдній часъ жизни своей—только въ этотъ часъ!—былъ болѣе мудръ, чѣмъ побѣдитель міра.

II.

И вотъ что еще разсказываютъ о Тимурѣ.

Когда онъ насытился славой, какъ Хороссанъ зноемъ солнца, онъ сталъ задумчивъ и немногословенъ, подобно мудрецу съ береговъ Ганга.

И, созвавъ однажды въ шатеръ свой величайшихъ мудрецовъ земли, кратко спросилъ ихъ:

— Мнѣ нужно видѣть Бога—какъ я могу достичь Его?

Разные пути указывали мудрецы Тимуру, но онъ жестоко молчалъ, отталкивая мудрыхъ взглядомъ презрѣнія.

Молодой мудрецъ далекой страны Средиземнаго моря указалъ Тамерлану:

— Только разумный трудъ приводитъ къ познанію мудрости Божіей!

— Это путь рабовъ,—крикнулъ Хромой,—укажи мнѣ путь Владыки!

— Богъ познается созерцаніемъ,—сказалъ сѣдой старикъ изъ Пешавера.

Усмѣхнулся Тимуръ.

— Созерцаніе—сонъ души и бредъ ея, ступай прочь, старикъ!

Византіецъ сказалъ, что путь къ Богу лежитъ сквозь любовь и тернія любви къ людямъ, но Тимуръ не понялъ византійца, насмѣшливо возразивъ ему:

— Тѣхъ, которые много любятъ, мы называемъ распутными и они заслуживаютъ только презрѣніе.

Такъ онъ отвергъ всѣ совѣты мудрецовъ и много дней былъ мраченъ, точно воронъ.

Но однажды, запоздавъ на охотѣ, онъ остался ночевать въ горномъ ущельѣ и вотъ, на разсвѣтѣ, ворвалась въ ущелье буря, осыпая его каменные бока огненными стрѣлами, наполнивъ горную щель степной пылью и тьмой.

И въ громѣ, во тьмѣ, Тимуръ-ленгъ услыхалъ спокойный Голосъ:

— Зачѣмъ Я тебѣ, человѣкъ?

Понялъ Хромой, кто говоритъ съ нимъ, но не устрашился и спросилъ:

— Это Ты создалъ міръ, который я разрушаю?

— Зачѣмъ Я тебѣ, человѣкъ?—повторилъ Голосъ бури.

Подумалъ Тимуръ, глядя во тьму, и сказалъ:

— Родились въ душѣ моей мысли, не нужныя мнѣ, и требуютъ отвѣтовъ—это Ты внушаешь ненужныя мысли?

Не отвѣтилъ Голосъ или не слышенъ былъ Тимуру отвѣтъ Его въ зломъ хохотѣ грома среди камней.

Тогда выпрямился человѣкъ и заговорилъ:

— Вотъ, я разрушаю міръ—весь онъ въ ужасѣ предъ мечомъ моимъ, а я не знаю страха даже предъ Тобою. Тысячи тысячъ людей видѣли меня, а я даже въ сновидѣніяхъ не встрѣчался съ Тобою. Ты создалъ землю, посѣялъ на землѣ неисчислимыя племена—я поливаю землю Твою кровями всѣхъ племенъ, я истребляю лучшее Твое, вся земля побѣлѣла, покрыта костями людей, уничтоженныхъ мною. Я дѣлаю все, что могу, Ты можешь только убить меня, ничего больше Ты не сдѣлаешь мнѣ, ничего! И вотъ—я спрашиваю: зачѣмъ все это—я, Ты и всѣ дѣла наши?

Голосъ спокойно сказалъ:

— Придетъ часъ и Я накажу тебя...

Усмѣхнулся великій убійца.

— Смертью?

И голосъ отвѣтилъ:

— Страшнѣе смерти—пресыщеніемъ накажу Я тебя!

— Что такое пресыщеніе?—спросилъ Тимуръ.

Но буря взлетѣла къ вершинамъ горъ и никто не отвѣтилъ Тамерлану.

Послѣ этого Тимуръ-ленгъ жилъ еще семьдесятъ семь лѣтъ, избивая тьмы людей, разрушая города, какъ слонъ муравейники.

Иногда, на пирахъ, когда пѣли о подвигахъ его, онъ вспоминалъ ночлегъ въ горахъ и голосъ бури и, вспоминая, спрашивалъ лучшихъ мудрецовъ своихъ:

— Что такое пресыщеніе?

Они говорили ему много, но вѣдь нельзя объяснить человѣку то, чего нѣтъ въ сердцѣ его, какъ нельзя заставить лягушку болота понять красоту небесъ.

Умеръ Великій Тимуръ-ленгъ, разрушитель міра, послѣ великой битвы и, умирая, онъ смотрѣлъ съ жалостью въ очахъ только на любимый мечъ свой.

М. Горькій.

ДІОНИСЪ И РАЗБОЙНИКИ.

(Изъ гомеровыхъ гимновъ).

Переводъ съ древне-греческаго.

О Діонисѣ я вспомню, рожденномъ Семелою славной,—
Какъ появился вблизи береговъ онъ пустыннаго моря
На выступающемъ мысѣ, подобный весьма молодому
Юношѣ. Вкругъ головы волновались прекрасные кудри
Изъ-синя черныя. Плащъ облекалъ многомощныя плечи
Пурпурный. Быстро разбойники вдругъ появились морскіе
На крѣпкопалубномъ суднѣ въ дали винночернаго моря,
Мужи Тирренскіе. Злая вела ихъ судьба. Увидали,
Перемигнулись и, на берегъ выскочивъ, быстро схватили
И посадили его на корабль, веселяся душою.
Вѣрно, то сынъ,—говорили,—царей, питомцевъ Кронида.
Тяжкія узы они на него наложить собралися.
Но не смогли его узы сдержать, далеко отлетѣли
Вязи изъ прутьевъ отъ рукъ и отъ ногъ. Сидѣлъ и спокойно
Черными онъ улыбался глазами. Все это замѣтилъ
Кормчій и тотчасъ, окликнувъ товарищей, слово промолвилъ:
«Что за могучаго бога, несчастные, вы захватили
«И собралися вязать? Не держитъ корабль его прочный.
«Это—иль Зевсъ-громовержецъ, иль Фебъ-Аполлонъ сребролукій,
«Иль Поссидонъ. Не на смертно-рожденныхъ людей онъ походитъ,
«Но на безсмертныхъ боговъ, въ олимпійскихъ чертогахъ живущихъ.
«Ну же, давайте, отчалимъ отъ черной земли поскорѣе,
«Тотчасъ! И рукъ на него возлагать не дерзайте, чтобъ въ гнѣвѣ
«Онъ не воздвигнулъ свирѣпыхъ вѣтровъ и великаго вихря!»
Такъ онъ сказалъ. Но сурово его оборвалъ предводитель:
«Видишь,—вѣтеръ попутный! Натянемъ же парусъ, несчастный!
«Живо за снасти берись! А объ немъ позаботятся наши.
«Твердо надѣюсь: въ Египетъ ли съ нами прибудетъ онъ, въ Кипръ ли,

«Къ гиперборейцамъ, еще ли куда,—назоветъ, наконецъ, онъ
«Намъ и друзей, и родныхъ, и богатства свои перечислитъ.
«Ибо само божество намъ въ руки его посылаетъ».
Такъ онъ сказалъ и поднялъ корабельную мачту и парусъ.
Вѣтеръ парусъ срединный надулъ, натянулись канаты.
И совершаться предъ ними чудесныя начали вещи.
Сладкое прежде всего по судну быстроходному всюду
Вдругъ зажурчало вино благовонное, и амвросiйный
Запахъ вокругъ поднялся. Моряки въ изумленьи глядѣли.
Вмигъ протянулись, за самый высокiй цѣпляяся парусъ,
Лозы туда и сюда, и въ обилiи гроздья повисли;
Черный вкругъ мачты карабкался плющъ, покрытый цвѣтами,
Вкусные всюду виднѣлись плоды, прiятные глазу,
А на уключинахъ всѣхъ появились вѣнки. Увидавши,
Кормчему тотчасъ они приказали корабль поскорѣе
Къ сушѣ направить. Внезапно во льва превратился ихъ плѣнникъ;
Страшный безмѣрно, онъ громко рычалъ; средь судна же, являя
Знаменья, создалъ медвѣдицу онъ съ волосатымъ затылкомъ.
Яростно встала она на дыбы. И стоялъ на высокой
Палубѣ левъ дикоглазый. Къ кормѣ моряки побѣжали;
Мудраго кормчаго всѣ они въ ужасѣ тамъ обступили.
Левъ, къ предводителю прыгнувъ, его растерзалъ. Остальные,
Какъ увидали,—жестокой судьбы избѣгая, поспѣшно
Всею гурьбой съ корабля поскакали въ священное море
И превратились въ дельфиновъ. А къ кормчему жалость явилъ онъ,
И удержалъ, и счастливѣйшимъ сдѣлалъ его, и промолвилъ:
«Сердцу ты милъ моему, божественный кормчiй! Не бойся!
«Я—Дiонисъ многошумный. На свѣтъ родила меня матерь,
«Кадмова дочерь Семела, въ любви сочетавшись съ Кронидомъ».
Славься, дитя свѣтлоокой Семелы! Тому, кто захочетъ
Сладкую пѣсню украсить, забыть о тебѣ невозможно.

В. Вересаевъ.

Ударъ.

Чтобы сократить путь, мужики проходили въ поле прямо мимо усадьбы, черезъ садъ, и для этого они каждый годъ обваливали часть каменной ограды и заравнивали канаву настолько, что получался удобный лазъ.

Въ это раннее утро Николай, съ косой на плечѣ, остановился у цвѣтника передъ домомъ, медленно и лѣниво поднялъ руку и стащилъ съ головы теплую шапку. Другіе мужики, тоже всѣ съ косами на плечахъ, смѣясь, окружили его, точно ожидая интереснаго представленія.

Домъ еще спалъ. Всѣ ставни были закрыты; балконъ, съ круглымъ выступомъ, убраннымъ цвѣтущими растеніями, былъ пустъ, и только на верхней ступени сидѣла дворовая собака и, пораженная дерзкимъ появленіемъ мужиковъ, точно не вѣрила своимъ глазамъ: вытянула шею, навострила уши и замерла.

— Кланяйся ниже!—учили мужики Николая.

— Сама барыня на балконѣ сидитъ.

— А вотъ то-то и оно-то! — радостно сказалъ Николай.— Ужъ барыня наша... дай ей Богъ здоровья! Она знаетъ, что у меня глаза болятъ и ноги ноютъ. Она мнѣ на чарочку пожалуетъ.

И онъ кланялся, а кругомъ хохотали. Собака почему-то рѣшила, что не стоитъ сердиться. Она подняла заднюю ногу къ самому уху, укоротивъ и утолщивъ шею, еще разъ внимательно и осторожно покосилась на мужиковъ и, уже не обращая на нихъ никакого вниманія, зажмурилась и стала чесаться.

— Видишь барыню-то?—хохоча, спрашивали мужики.

Николай вытеръ рукой свои красные слезящіеся глаза и слегка пошатнулся.

— Аль нѣтъ ея?—добродушно спросилъ онъ.—Почиваетъ еще, значитъ? Ну, я постою, подожду.

— Это какъ вчера, значитъ? весь день? А хлѣбъ-то убирать за тебя кто будетъ?

— Зачѣмъ весь день?—разсудительно сказалъ Николай.— Я пока онѣ встанутъ. Вчера-то мнѣ ихъ встрѣтить не довелось. А дворня-то здѣсь какая? Вотъ вѣдь въ чемъ причина! Не докладываютъ! Я къ одному, я къ другому... Ходилъ, ходилъ... А они: ты пьянъ. Вотъ тебѣ и разъ! А сами всѣ до одного пьяницы. Кухарочка молодая и та... А развѣ мнѣ не обидно? Мнѣ обидно.

— Сегодня-то ужъ не докладывайся, — сказалъ ему одинъ мужикъ, толкая его въ плечо. — Баба-то твоя сегодня здѣсь стираетъ. Она тебѣ доложитъ!

— Наталья? — спросилъ Николай и, не дожидаясь отвѣта, нетвердыми ногами зашагалъ по песку дорожки.

— Испугался? Шапку-то надѣнь!

Онъ остановился и низко нагнулся, чтобы надѣть шапку; а когда благополучно надѣлъ, замѣтилъ, что мужики уже далеко и пошелъ догонять ихъ.

— Вѣдь она кто? Она—пила,—бормоталъ онъ, разсуждая о своей женѣ, Натальѣ. — Запилитъ человѣка, дохнуть не дастъ, со свѣта сживетъ. Вотъ то-то и оно-то! Самоваръ я ихъ заложилъ и пропилъ... А что ихъ самоваръ? Тфу! Вотъ что ихъ самоваръ. Бѣдность, говоритъ... Разуты, раздѣты. А ты добудь, и мужу дай, потому онъ работникъ. Вотъ правильно будетъ! А я—работникъ. Я...

Онъ остановился передъ вторымъ лазомъ, изъ сада въ поле, помялся, потоптался на одномъ мѣстѣ, и, съ трудомъ перешагнувъ черезъ разваленный камень, вышелъ на полевую дорогу, залитую утреннимъ солнцемъ.

Въ седьмомъ часу утра тѣнь отъ дома падала на западъ, покрывая большой балконъ съ круглымъ выступомъ и почти всю площадку съ бѣлымъ бассейномъ и разбросанными кругомъ клумбами розъ, забрызганными росой. Эта площадка отдѣлялась отъ въѣздной дороги живой изгородью изъ цвѣтущаго шиповника, бѣлаго и краснаго, но теперь цвѣлъ только красный, да и то только кое-гдѣ, крупными, яркими цвѣтами.

Наталья и Анисья, двѣ поденныя прачки, обѣ пожилыя, остановились посмотрѣть на розы.

— Хороши!—сказала Анисья, ласково улыбаясь.

— Изъ ихъ, сказывали, примочку дѣлаютъ, глаза протирать, — уныло замѣтила Наталья и нечаянно задѣла рукавомъ за кустъ, съ котораго дождемъ посыпалась роса.

— Вотъ росы какія Богъ посылаетъ, — сказала Анисья и посмотрѣла на свои блестящія, точно налакированныя толстыя башмаки.

— А дождя, Батюшка, не даетъ. Ржи не убрали, а овесъ-то ужъ сыплется.

— Сыплется,—уныло подтвердила Наталья.

Во дворѣ все было залито солнцемъ. Съ запертаго чернаго крыльца дома бросились было собаки, но узнали знакомыхъ и виновато завиляли хвостами.

На пустомъ столѣ подъ елками кипѣлъ самоваръ, а по всему двору бродили куры, цыплята, индѣйки и утки и, радуясь утру, солнцу, теплу, свободѣ и простору, расправляли крылья, пили росу и, ожидая корма, вытягивали шеи, точно прислушиваясь къ чьимъ-то шагамъ. Гдѣ-то, невидимые, оглушительно чирикали воробьи. Анисья и Наталья, оглядываясь, прошли къ кухнѣ и убѣдились, что она еще заперта.

— Плиту бы намъ развести да воду поставить, — соображала Анисья,—а ключа нѣтъ. И дровишекъ намъ, никакъ, не заготовили?

— Въ конюшню сходить, — точно подавленная неудачей предложила Наталья.

Издали, со стороны конюшни, слышались голоса и топотъ копытъ по деревянному настилу.

— Солнце-то вонъ оно гдѣ, а они только глаза разуваютъ. Не рано вѣдь и пришли-то.

У стола съ самоваромъ появилась маленькая, тоненькая фигурка Петьки въ короткихъ штанишкахъ, босикомъ и въ распоясанной рубашенкѣ, съ только что умытымъ лицомъ и еще заспанными глазамн.

— Петя! гдѣ мать-то?—крикнула ему съ галерейки кухни Анисья. — Кликни ее, милый. Скажи: прачки пришли, такъ чтобы...

— А коровъ доитъ,—отвѣтилъ Петя.

— Ну, къ отцу сбѣгай. Намъ бы ключъ-то... Сбѣгай, умникъ.

Петя опустилъ голову и, не двигаясь съ мѣста, дергалъ свою рубашку.

— Отчего не хочешь-то? Аль боишься? Ты только скажи: прачки, молъ...

Петя молча и упрямо покачалъ головой.

— Должно Ѳедоръ-то вчера выпимши былъ, — сказала Анисья Натальѣ. — Не идетъ къ нему Петя-то, боится. Ужъ это не иначе, какъ выпимши былъ.

Петя вдругъ сорвался съ мѣста и убѣжалъ.

— Ну, скажетъ, — успокоилась Анисья и, присѣвъ на перила, стала перевязывать на головѣ платокъ.

Наталья, свѣсивъ руки, глядѣла на небо и на ея усталое, преждевременно старое, унылое лицо, ярко свѣтило солнце.

Пока растопилась плита и закипѣлъ котелъ, на дворѣ подъ елками пили чай. Кучеръ Матвѣй, старикъ съ окладистой бородой, съ проницательными и насмѣшливыми глазами, былъ въ это утро веселъ и добродушенъ. Онъ держалъ на рукахъ Таньку, Петину сестренку, поилъ ее чаемъ съ своего блюдечка, а когда та, расшалившись, начала возиться, класть ноги на столъ и, вмѣсто того, чтобы пить, стала пускать пузыри, онъ, дѣлая видъ, что сердится, щекоталъ ея шейку своей бородой и, забравъ маленькую розовую ножку въ свою громадную ладонь, грозилъ, что сейчасъ оторветъ ее и броситъ.

Наталья попрекала его сѣномъ, которое онъ дешево скупилъ у мужиковъ и, между прочимъ, у ея Николая.

— А съ господъ сколько за него взялъ? — спрашивала она.—Кровь нашу пьешь, соки тянешь...

Но никто ея не слушалъ. Къ ея голосу привыкли, какъ къ скрипу двери, и перестали ее замѣчать.

Смѣялись надъ садовникомъ Ѳедоромъ, который наканунѣ напился, запѣлъ ночью подъ окномъ гувернантки и такъ испугалъ ее, что она послала горничную будить Матвѣя. Ночь была лунная, очень свѣтлая. Ѳедоръ, желая показать свое усердіе, подвязывалъ около дома распавшіеся кусты георгинъ и громко пѣлъ, когда Матвѣй подкрался къ нему, захватилъ его въ охапку и, почти безчувственнаго отъ испуга, доставилъ во флигель женѣ. Теперь онъ сидѣлъ у стола сконфуженный и пристыженный, досадливо крякалъ и покачивалъ головой.

— Вѣдь хотѣлъ, какъ лучше,—оправдывался онъ,—хотѣлъ заслужить.

— То-то у тебя хмель больно угодливый,—насмѣшливо говорилъ ему Матвѣй. — Ты, какъ пьянъ, сейчасъ норовишь



А. С. Степановъ. ЗИМОЙ.

господамъ на глаза сунуться: вотъ, молъ, я! Тебя бы хоть Настя твоя прятала.

— Упрячешь его, Дмитричъ!—оправдывалась молодая, красивая Настя, гремя у самовара чашками.

— Вѣдь онъ какой, когда выпьетъ? Развѣ онъ такой, какъ трезвый? Сейчасъ шумъ подниметъ, крикъ, чуть ты ему слово... А мнѣ всю ночь его сидѣть караулить? Днемъ-то намаешься за работой да ребята... Только и жду, что опять намъ безъ мѣста быть зимой. Вотъ онъ что сдѣлаетъ!

Глаза ея покраснѣли, налились слезами, и она вытерла ихъ фартукомъ.

— Губернанткѣ-то пѣсня Ѳедорова не понравилась,—язвилъ Матвѣй.—Онъ-то думалъ, что онъ замѣсто соловья, а совсѣмъ по-другому дѣло вышло. А какъ я его охватилъ сзади, онъ только пискнулъ. Такъ съ колышками и мочалочками я его по адресу и доставилъ.

— А гдѣ у васъ малый-то? Андрей-то? — спохватилась Анисья.—Дровишекъ бы намъ еще...

Матвѣй засмѣялся и подмигнулъ Ѳедору.

— Вотъ у кого спросить надо, гдѣ потерялъ. Вмѣстѣ вчера были.

Онъ высоко поднялъ Таньку и посадилъ ее къ себѣ на голову.

— Чего одинъ вернулся?—приставалъ онъ къ угнетенному Ѳедору. — Вмѣстѣ вы бы еще лучше спѣли. Гувернанткѣ, гляди, и понравилось бы.

— И зуда ты, Дмитричъ!—весело сказала Анисья, завязывая оставшійся огрызокъ сахара въ кончикъ платка.—Право, зуда!

А Петька оглядывался то на мать, то на отца большими пугливыми глазами и по его лицу видно было, что онъ едва удерживается отъ слезъ и что ему и обидно, что смѣются надъ Ѳедоромъ, и страшно, что ихъ погонятъ съ мѣста и они опять будутъ жить въ тѣсной избѣ, съ сердитой бабкой, которая даетъ ѣсть одинъ сухой хлѣбъ. И онъ тяжело вздыхалъ и теръ подъ столомъ одну озябшую отъ росы босую ногу о другую.

Теперь на дворѣ уже ложились тѣни и отъ кухни и отъ черемухи у крыльца. Трава просыхала, и воздухъ становился прогрѣтымъ и менѣе легкимъ и пріятнымъ. Гдѣ-то за флиге-

лемъ отчаянно кудахтала курица; изъ прачечной, сзади кухни, слышались всплески воды и унылый скрипъ голоса Натальи, а на крышѣ дома топали и ворковали голуби и съ свистящимъ шелестомъ крыльевъ перелетали съ одного мѣста на другое.

На черномъ крыльцѣ горничныя чистили башмаки и юбки, а кухарка Татьяна кричала изъ окна флигеля, что она совсѣмъ не намѣрена печь сегодня къ утреннему кофе свѣжія булочки, потому что у порядочныхъ господъ прачечная съ кухней рядомъ не находится. Въ это время пропадавшій всю ночь Андрей—дворникъ, вернулся съ ошеломляющей новостью: всю водку и спиртъ ночью на возахъ вывезли изъ казенки, казенку закрыли и теперь хоть ты что хочешь, а вина больше купить нельзя.

Онъ разсказывалъ громкимъ, взволнованнымъ голосомъ, съ испуганнымъ лицомъ и всѣ собрались его слушать: и Ѳедоръ съ Настасьей, и Наталья съ Анисьей, и горничныя, и кухарка. Не было только одного Матвѣя.

— Это, должно, сидѣлица наша свихнулась,—догадывалась Анисья, вытирая мокрыя по локоть руки мокрымъ передомъ юбки.—Она у насъ давно какъ не въ своемъ умѣ была. Даже заговариваться стала. Сколько не пить! Это не иначе, какъ ее увезли, а казенку пока прикрыли.

— Вывезли все вино! Все, до капли!—настаивалъ Андрей.—Вѣрно говорю.

— Да какъ же они это могутъ?—возмущенно протестовала кухарка Таня.—Кто же имъ позволитъ цѣлое село безъ вина оставить? Это жаловаться надо. Если одна сидѣлица съ ума сошла, пришли другую, а лавку закрывать они не имѣютъ никакихъ правъ.

— Ахъ, дай Богъ! Вотъ ужъ дай Богъ! — отъ всей души говорила Анисья. — Закрыли бы и хорошо. Намъ, бабамъ-то, какъ легче бы стало.

— Не имѣютъ права!—сердито спорила Таня.—Я работаю, я и пью. У меня, можетъ, дѣло такое, что безъ этого нельзя.

— Раньше бы знать, запаслись бы,—говорилъ Андрей.

Подошелъ къ группѣ Дмитричъ и, узнавъ въ чемъ дѣло, сейчасъ же успокоилъ всю компанію.

— Вотъ нашли заботу!—насмѣшливо сказалъ онъ.—Водки не будетъ! А шинки на что? У насъ на селѣ, что ни баба, то

шинкарка, что ни изба, то шинокъ. А дѣвки-то... Иную еще отъ земли не видать, а она ужъ шинкуетъ.

— А это вѣрно, вѣрно! — весело заговорила Анисья и закивала головой.

— На своихъ мужей жалуются, а чужихъ спаиваютъ, лишь бы себѣ барышъ натянуть,—продолжалъ Матвѣй.—Недогадливый да незапасливый иной разъ поневолѣ бы отрезвѣлъ, да бабы-то больно догадливы да запасливы. Своему не дастъ, а чужому за деньги еще сама навяжетъ. И дуры! Сами себѣ яму роютъ.

— Пьяница вездѣ достанетъ. Пьяница вездѣ найдетъ,— точно оправдываясь, заговорила Наталья. — Чѣмъ бабы виноваты? Баба хоть круглыя сутки работай, а денегъ ей взять неоткуда. Все своя работа: въ домѣ да въ полѣ...

— Знаемъ!—сказалъ Матвѣй и махнулъ рукой.—Вѣркѣ-то твоей сколько годовъ? 12-то будетъ?

— А что—Вѣрка? — закричала Наталья. — Другія дѣвки у матерей таскаютъ да продаютъ. Другія-то...

Ее опять не стали слушать, а горничныя стали торопить Андрея, чтобы онъ ѣхалъ съ бочкой за водой.

— Да не засни, да не свались съ бочки,—насмѣшливо совѣтовали онѣ.

Анисья и Наталья опять ушли въ прачечную, гдѣ стоялъ густой туманъ отъ пара, пропитаннаго мыльнымъ запахомъ, и тамъ, снявъ съ головы платки, накинутыя для приличія, опять принялись за работу.

— Васька-то твой здоровъ теперь?—кричала Анисья подъ сочное хлюпанье намыленнаго бѣлья подъ ея сильными руками.

— Не хвораетъ сейчасъ, а и здоровья настоящаго нѣтъ,— тоже кричала Наталья.

— Не растетъ онъ у тебя вовсе. Годочкомъ старше Пети, а глядитъ, куда меньше. И какъ только такой маленькій, а стаканами водку хлещетъ?

— Мужики балуются — подносятъ, — равнодушно кричала Наталья.—Онъ, извѣстно, ребенокъ, самъ не добудетъ.

Но думала она не о Васькѣ, которому, по ея мнѣнію, водка была даже полезна. Она думала о Вѣркѣ. Дѣвочка такая шустрая, что сладу съ ней никакого нѣтъ. Не утащила бы она у нея бутылку другую, узнавъ, что казенка закрыта и

сообразивъ, что это прекрасный случай взять хорошій барышъ?

Отъ этой мысли лицо у нея стало испуганное и жалкое, а глаза быстро и слезливо заморгали.

Андрея послали на крышу дома спилить вѣтви тополя, отъ которыхъ, по мнѣнію барыни, заводилась сырость. Подставили высокую лѣстницу около чернаго крыльца, и когда Андрей влѣзъ наверхъ, спугнутые голуби съ шумомъ разлетѣлись.

— Въ цвѣтникъ сучьевъ не бросай съ большаго ума!— крикнулъ Матвѣй снизу и, задравъ голову, увидалъ, какъ исчезли за карнизомъ голыя ноги Андрея.

— Ладно! — крикнулъ Андрей сверху и сейчасъ же его шаги загремѣли по желѣзу.

День былъ очень жаркій, душный, желѣзо было раскаленное, а надъ головой небо было чистое, но все подернутое какой-то мутной пленкой, тоже душное и скучное.

Андрей оглянулся и увидѣлъ вдали, по горизонту, ту же муть и туманъ; увидѣлъ безпокойно мечущіяся во всѣ стороны верхушки деревьевъ сада, и темно, и свѣтло-зеленыя, до того слившіяся въ одно цѣлое, что уже нельзя было представить себѣ, что это верхушки отдѣльныхъ деревьевъ, разсаженныхъ въ аллеи, а казалось, что это море зелени, съ катящимися и вздымающимися волнами. Еще ниже и ближе къ дому пестрѣли клумбы цвѣтовъ среди извивающихся дорожекъ, усыпанныхъ бѣлымъ пескомъ, и смотрѣть на нихъ было больно глазамъ. Вѣроятно, на балконѣ, или гдѣ-нибудь у открытаго окна, гувернантка учила дѣтей и ея голосъ съ раскатами на букву „р“, то и дѣло пронизывалъ тишину.

„Ишь ты! Что твоя ворона“, подумалъ Андрей и передъ тѣмъ, какъ работать, присѣлъ отдохнуть и покурить.

Ему вдругъ показалось, что изъ печной бѣлой трубы взвился легкій черный дымокъ, но онъ сейчасъ же понялъ свою ошибку. Это вылетѣло нѣсколько пчелъ и, значитъ, въ трубѣ опять завелся рой и къ осени можно будетъ наломать меду. Соты будутъ черные, но все же сладкіе. Откуда бы каждый годъ сюда прилетать рою?

— Андрей!—кликнули его снизу.

Онъ подумалъ, что это Матвѣй сердится, что онъ сидитъ и ничего не дѣлаетъ и въ отвѣтъ провелъ нѣсколько разъ пилой по стелившемуся по крышѣ суку. Но его опять позвали.

— Слѣзай скорѣй! Ждутъ тебя!

— О-о!—крикнулъ онъ,—и желѣзо опять загремѣло подъ его ногами.

— Чего?—спросилъ онъ, стоя у самаго края крыши.

— Здѣсь узнаешь. Слѣзай!

Онъ полѣзъ, пятясь и нащупывая ногой верхнюю перекладину лѣстницы.

— Опять въ трубѣ рой!—кричалъ онъ.—Въ той же, что и въ прошломъ году...

На серединѣ лѣстницы онъ остановился, поправляя за спиной пилу, увидалъ на землѣ у крыльца озабоченно роющихся куръ и, смѣясь, бросилъ въ нихъ картузомъ.

А черезъ нѣсколько минутъ, онъ уже бѣжалъ на село, въ волость, и испуганно оглядывался кругомъ, точно не узналъ ни мѣстности, ни людей, и не могъ понять того, что дѣлалось и о чемъ ему говорили.

— Съ кѣмъ война-то? — спрашивали вездѣ и мужики и бабы.

— Слушай, милый: съ кѣмъ война-то? — кричали ему по пути и знакомые и незнакомые голоса.

Онъ самъ не зналъ и этотъ вопросъ почему-то даже не занималъ его. Все равно — война, все равно — его возьмутъ, завтра же увезутъ въ городъ, а изъ города неизвѣстно куда. Мимо него вскачь, какъ на пожаръ, проѣхали телѣги, а на одной изъ нихъ билась и кричала баба. Вѣрка въ одной рубашкѣ, съ распущенными волосами, очевидно, послѣ купанья, выскочила на дорогу изъ-за угла и, увидавъ Андрея, крикнула ему:

— Двухъ твоихъ братьевъ взяли! У васъ шу-умъ! ревъ!

Около волости къ Андрею подошелъ Николай. Онъ былъ трезвъ, но ноги его дрожали и лицо болѣзненно поддергивалось. Обѣими руками онъ приподнялъ шапку и робко улыбнулся.

— На войну провожать, а... пить не разрѣшено, — съ недоумѣніемъ тихо сказалъ онъ. — Нѣтъ водки-то и достать... нельзя.

Андрей даже не оглянулся на него.

Изъ волости онъ побѣжалъ прямо домой, хотѣлъ войти въ избу, но услыхавъ чей-то дикій крикъ и увидавъ маленькую дочку брата, которая въ засученной рубашенкѣ, едва удерживаясь на пухленькихъ ногахъ, радостно потянулась къ нему, вдругъ раздумалъ и, обѣжавъ на огородъ, остановился среди грядъ капусты, не зная, куда бѣжать дальше. Не хотѣлось видѣть трогательныхъ сценъ, слезъ, быть свидѣтелемъ материнскаго горя, а такъ какъ онъ чувствовалъ, что это неизбѣжно, то сразу возмутился, и его растерянность и испугъ перешли въ раздраженіе и враждебность ко всѣмъ, кто страдалъ и плакалъ. Онъ все-таки вошелъ въ избу и, точно не замѣчая царившаго въ ней отчаянія, истерическихъ выкриковъ невѣстокъ и помертвѣвшаго отъ горя лица старухи—матери, досталъ изъ-подъ лавки свою гармонію и собрался уходить.

— Андрюша!—простонала мать.

Онъ оглянулся злымъ, холоднымъ взглядомъ.

— Еще приду!—грубо сказалъ онъ.—Чѣмъ болото-то тутъ разводить, позаботились бы о дѣлахъ.

И, сдвинувъ картузъ на затылокъ, онъ пошелъ вдоль улицы.

На углу собралась кучка народа и тамъ чему-то смѣялись. Андрей, играя на гармоніи, подошелъ къ ней.

— Тоже выдумщикъ!—въ серединѣ толпы кричала Наталья, размахивая руками. — Одурѣлъ совсѣмъ, да съ дури-то и ломится. Прямо одурѣлъ! На зло это онъ, что ли, мнѣ? али курамъ на смѣхъ? Какой солдатъ, скажите, нашелся! Не силой, такъ волей, а о женѣ и дѣтяхъ и въ мысляхъ нѣтъ...

— Да не возьмутъ его,—успокаивала ее Анисья съ порога своей избы.—Кому онъ нуженъ? И годы у него вышли и ногами онъ слабъ.

— А не куражься! — кричала Наталья. — Форцъ тоже на себя напустилъ. Нѣтъ, я ему этого не спущу! Я ему покажу, какой онъ солдатъ! Дай онъ вернется изъ волостного, я его научу, какъ просьбы подавать, до начальства доходить...

— Можетъ, и зря на него набрехали,—говорила Анисья.— Мудренаго бы не было, если бы онъ съ пьяныхъ глазъ, а вѣдь онъ трезвый. Мой Абрамъ тоже къ волостному пошелъ, все село теперь тамъ. Вотъ и Николай...

— А Абрама твоего не забрали, тетка?—спросилъ Андрей и захохоталъ.—Подъ пару бы Николаю.

Анисья повернула къ нему глаза, полные такой глубокой сострадательности, что у него вдругъ на мигъ перехватило въ горлѣ.

— Болѣзный! — жалостливо сказала она. — И погулять-то тебѣ, милый, нельзя; залить сердце нечѣмъ. Взялъ гармонію, да и прикидываешься пьянымъ.

— А мнѣ что?—заламливая картузъ и рисуясь, храбрился Андрей.—Мнѣ что здѣсь, что на войнѣ. Еще веселѣе! Съ женой не разставаться, дѣтей не покидать. Прощай, тетка Наталья! — вдругъ крикнулъ онъ.—Вернусь, за Вѣрку свататься буду.

— Нужёнъ ты мнѣ! — развязно отозвалась Вѣрка и, подпрыгивая, побѣжала въ избу.

Всю ночь на селѣ никто не спалъ. Почти во всѣхъ избахъ горѣли огни, слышались голоса, плачъ, хлопанье дверей. Шли сборы. Тѣ дворы, изъ которыхъ никто не уходилъ, не оставались безучастными, такъ какъ уходили ихъ родственники, сосѣди, или друзья. Всю ночь по улицамъ ходили люди, собираясь въ кучки, перебѣгая отъ одной избы къ другой, заглядывали въ окна и передавали другъ другу, что тамъ дѣлается. Ходили съ фонаремъ читать наклеенное на заборѣ объявленіе со спискомъ стоимости солдатскихъ вещей. Читали и объясняли другъ другу.

Приходили съ усадьбы и Өедоръ и Матвѣй. Өедоръ все еще сильно безпокоился, что и его возьмутъ, хотя ему сказали въ правленіи, что онъ не подлежитъ призыву. Онъ это и самъ зналъ, но ему все хотѣлось „узнать повѣрнѣй“, и онъ совѣтовался со всѣми, какъ бы ему это сдѣлать.

— Развѣ въ городъ съѣздить?—спрашивалъ онъ.

— Будешь соваться на глаза, тебя и сцапаютъ, — грозилъ ему Матвѣй. — Не трогаютъ тебя, такъ ты и не суйся. Вѣдь не пьяный.

— Я, Матвѣй Дмитріевичъ, не суюсь, а хочу какъ лучше сдѣлать. Какъ бы начальство не обидѣлось.

— Надоѣшь ты начальству, оно и скажетъ: „а чего онъ все мотается? забрать его не въ счетъ“.

Өедоръ пугался и рѣшалъ, что лучше не ѣхать въ городъ. Но потомъ пугался чего-то другого и опять начиналъ придумывать, какъ „узнать повѣрнѣй“. Настя весь день ходила съ красными глазами, а Петя пугливо вглядывался то въ лицо

матери, то въ лицо отца и старался понять, какая имъ еще грозитъ бѣда?

Матвѣй только на минутку заглянулъ на слободу. Онъ занесъ Андрею забытыя имъ вещи. На возвратномъ пути онъ чуть не наткнулся на Николая въ темнотѣ.

— А! солдатъ! — весело сказалъ онъ, вспомнивъ, что Андрей разсказывалъ о немъ въ людской.

— Дмитричъ! — тихо позвалъ Николай. — Что я тебѣ сказать-то хочу?

Матвѣй остановился.

— Дмитричъ! нельзя ли?.. У меня вотъ ужъ давно сапогъ нѣтъ, а какъ я сапоги, значитъ, обую, такъ, значитъ, у меня въ ногахъ держава будетъ. Что же я? Чѣмъ я не слуга Царю и Отечеству? Ты грамотный... Будь отцомъ роднымъ! Только на тебя...

Матвѣй расхохотался.

— Старый хмель въ тебѣ бродитъ, что ли?

— Хмель!—обидѣлся Николай.—Хмель-то... такъ еще жить бы можно. А ты говоришь?.. Я къ тебѣ, какъ?.. во какъ! А ты... что же мнѣ здѣсь: пропадать, что ли? Вотъ то-то и оно-то.

Матвѣй, смѣясь, ушелъ, а Николай остался одинъ на темной дорогѣ и слышно было, какъ онъ, тяжело вздыхая, поплелся куда-то въ сторону.

Едва свѣтало и даже на востокѣ всѣ краски были еще тусклы и сѣры, когда вся дворня усадьбы, кухарка и горничныя, высыпала за ворота и стала прислушиваться. На селѣ со всѣхъ сторонъ и на всѣ голоса кричали пѣтухи, но съ этимъ крикомъ сливался еще другой, странный и жуткій, крикъ человѣческаго неудержимаго отчаянія и безпросвѣтнаго горя. Казалось, все село безпомощно металось, ища помощи и спасенія отъ неминуемой гибели, и, взывая въ безучастному утреннему небу, знало, что помощи и спасенія нѣтъ.

— Это все бабы, — неодобрительно качая головой, сказалъ Матвѣй.—Вотъ вѣдь бабье племя!

— Господи, какъ плачутъ-то!—замѣтила одна изъ горничныхъ.— Скоро, значитъ, провезутъ. Прощаются.

— Прежде-то, все бы пьяныхъ везли,—сказала Настасья,— какъ стадо безчувственное. А теперь все не то: куражатся мужики, а сердце-то щемитъ.

— А что отъ такой жизни уѣзжать? развѣ трудно?—пренебрежительно сказала кухарка.—Сѣрость, нищета, грязь...

— Ишь, барышня! — съ насмѣшливымъ взглядомъ кинулъ ей Матвѣй.

— Не барышня, а жизнь могу понимать. Ежели человѣкъ дѣло хорошо знаетъ, ему нечего кланяться изъ-за куска хлѣба. Еще другіе ему покланяются.

— Много тебѣ кланялись?

— Никакъ ѣдутъ?—сказалъ Ѳедоръ.—Слышно, телѣги загремѣли... А мнѣ вчера такъ совѣтовали: чтобы, говоритъ, тебѣ впросакъ не попасть, съѣзди ты...

— И то ѣдутъ,—сказалъ Матвѣй.—Больно шибко что-то гонятъ. Небось еще провожать до поворота понасажались. Не накричались, такъ еще покричатъ.

Замолчали и стали прислушиваться къ быстро приближающемуся шуму колесъ. Наконецъ изъ-за угла сада показалась первая телѣга, за ней другая, третья. Лошадей разогнали и онѣ бѣжали изо всѣхъ силъ. Въ каждой телѣгѣ сидѣло по нѣсколько человѣкъ.

— Такъ и есть! съ провожающими,—сказалъ Матвѣй.—А это нашъ Андрей катитъ.

Одна телѣга свернула съ дороги на выгонъ и круто остановилась. Съ нея соскочилъ Андрей и быстро побѣжалъ къ воротамъ.

— Господи! это Андрей бѣжитъ, — жалобно сказала горничная.—И на себя-то онъ не похожъ.

Андрей на бѣгу снялъ картузъ и уже безъ всякой молодцеватости, а просто, ласково и робко оглянулъ знакомыя лица.

— Ну, прощайте! — поспѣшно сказалъ онъ и по очереди подалъ всѣмъ руку и поцѣловалъ.

— Здоровъ будь!—сказалъ Матвѣй и хлопнулъ его по плечу.

Онъ слабо улыбнулся и сейчасъ же побѣжалъ назадъ. Лошадь тронулась, и на телѣгу онъ прыгнулъ уже на ходу.

— Жалко-то какъ!—сказала горничная и вытерла лицо кончикомъ фартука.

Матвѣй проводилъ взглядомъ послѣднюю телѣгу и молча повернулся и ушелъ.

— Развѣ намъ сбѣгать до поворота?—предложила горничная.—Тамъ опять прощаться будутъ. Бабы о земь ударяются, головой бьются. Ихъ возьмутъ подъ руки и такъ домой ведутъ. Я разъ видѣла.

— А побѣжимъ,—согласилась Настасья.

Шурша юбками, онѣ бросились бѣжать, а за ними, послѣ короткаго колебанія, побѣжала и Татьяна.

А на востокѣ ярко вспыхнули багровыя полосы, и сѣрое, скучное небо стало зеленѣть.

Короткій осенній вечеръ конца сентября уже переходилъ въ густыя сумерки, когда Татьяна съ Настасьей быстро шли по селу, возвращаясь изъ лавки съ краснымъ товаромъ въ усадьбу. Настя несла покупки, завернутыя въ толстую сѣрую бумагу.

Въ избахъ уже зажигались огни и на улицѣ было мало народу. Только кое-гдѣ сидѣли люди на лавочкѣ на крыльцѣ или брела по дорогѣ одинокая закутанная фигура. Различить лица было уже трудно, но избы и деревья еще четко выступали по сторонамъ, и все село въ сумеркахъ казалось чище, наряднѣе, красивѣе. Въ дневной угасающій свѣтъ начиналъ вливаться усиливающійся лунный и еще не погасшее, а только поблѣднѣвшее зарево заката бросало красноватый оттѣнокъ на серебристую отъ луны извилистую ленту накатанной дороги.

— Вѣрка! ты?—крикнула Настя бѣжавшей наискосокъ дѣвчонкѣ, накрытой съ головой большой шалью.

Вѣрка остановилась и засмѣялась.

— Что это ты такъ накрылась? Тебя и не узнать.

— Холодно!—крикнула Вѣрка.

— Аль въ гости собралась?

— За баранками мать послала. Чай пить хотимъ.

— Ишь ты! самоваръ-то, значитъ, выкупили?

— Заходите, напоимъ!—весело крикнула Вѣрка, и махнувъ концами шали, побѣжала дальше.

— Водки-то нѣтъ, такъ и у Натальи деньги завелись,— смѣясь сказала Настя. — Чудно! Шаль-то тоже, небось, выкупили.

— Ядовитая баба!— замѣтила Татьяна.—Ни одного человѣка не пропуститъ, чтобы о немъ дурно не сказать. И все шипитъ, все шипитъ.

Онѣ повернули на тропинку, черезъ мужицкій огородъ, и когда опять вышли на дорогу, передъ ними зияснѣла гладкая поверхность пруда, окаймленнаго ветлами и камышами. Дорога

полого побѣжала внизъ. На противоположномъ высокомъ берегу ярко свѣтился огонекъ и отражался въ пруду на большой глубинѣ. Уже слышно было, какъ на плотинѣ, тоже обросшей ветлами, непрерывно шумѣла вода и отъ близости этой воды пахнуло сыростью и холодомъ.

— Не люблю я здѣсь ходить,—сказала Настя.—Еще прошлой весной здѣсь баба утопилась. Хоть ее и нашли, да ужъ мертвую. Значитъ, духъ-то ея въ водѣ остался. Коли нарочно утопиться, душа подняться не можетъ, а такъ въ водѣ и живетъ. И тяжело ей! Все она просится вонъ и тоскуетъ.

— Глупости!—презрительно сказала Таня.

— Вотъ тебѣ и глупости! Теперь не знаю, слыхать ли, а раньше слышали: похоже на птицу кричитъ. И ужъ жалобно же кричитъ! А только сейчасъ поймешь, что не птица.

— Это чья же баба?—спросила Татьяна.

— Да вы не знаете. Парѳеновыхъ. Вотъ огонекъ-то у нихъ горитъ и въ водѣ свѣтится. Выдали ее замужъ силкомъ. Дѣвка была молодая, красивая, а мужъ, хоть и тоже не старъ, а прямо сказать... поганый. Болѣзнь у него была...

— Зачѣмъ же она шла за него?

— Старики приневолили. Прямо, можно сказать, пропили да продали дочь. Ужъ такіе скверные старики! вся семья—пьяницы горькіе. Ну, выдали ее осенью, зиму она промаялась, а весной утопилась. И какъ ни заря—кричитъ, кричитъ...

Настя сама вдругъ вскрикнула и отшатнулась.

— Господи, Іисусе!

Испугалась и Татьяна и тоже бросилась въ сторону. Но обѣ сейчасъ же успокоились и засмѣялись.

— Николай! какъ напугалъ-то! Нашелъ тоже мѣсто гдѣ стоять!

У самой воды подъ ветлой, Николай, повидимому, тоже испуганный крикомъ Насти, виновато засмѣялся и медленно поднялъ обѣ руки къ шапкѣ.

— Напугалъ? — спросилъ онъ тихимъ срывающимся голосомъ.—А я тутъ... ничего...

— Да какъ же такъ—ничего? Мѣста тебѣ другого нѣтъ?

Онъ вытеръ рукавомъ слезящіеся глаза и опустилъ руки.

— А куда жъ пойдешь?—глухо спросилъ онъ.

И какъ бы увѣрившись, что вполнѣ убѣдилъ своихъ собесѣдницъ, прибавилъ съ горькой и печальной усмѣшкой:

— Вотъ то-то и оно-то!

— Да ты по вину, что ли, тоскуешь? — живо спросила Таня. — И-и, батюшка! а я не пила? Бросила же. И теперь ничего. Откуда взять, если нѣтъ?

— Нѣтъ!—глухо повторилъ Николай.

— Вотъ то-то и оно-то! — смѣясь, передразнила его Таня.

— Это вѣрно,—равнодушно сказалъ Николай.

— И ты брось думать. Пожалуй, даже лучше такъ-то.

— Оно... на что лучше!—безнадежно согласился Николай.

Настя захохотала.

— А мнѣ недавно говорили: двухъ, говоритъ, пьяныхъ встрѣтили. Вотъ диво-то! И гдѣ это они напиться могли?

— Это гдѣ же?—живо спросилъ Николай.

— Видѣли-то?—переспросила Настя.

— Политуру, говорятъ, пьютъ, — сказала Татьяна, — лакъ, что ли... Да это ужъ самые послѣдніе, которые и умереть рады, лишь бы пьянымъ быть. А подъ поѣздъ-то мужикъ бросился! Это вѣрно. Это господа слышали. Все равно, говоритъ, безъ вина мнѣ жизнь не въ жизнь! и бросился.

— Такъ!—глухо сказалъ Николай и вздохнулъ.

— Ахъ, ужасти все какія! — нервно засмѣялась Настя. — Проводилъ бы насъ, Николай, отъ собакъ. По дорогѣ тебѣ домой.

Николай почему-то встревожился.

— Да какія тутъ собаки? нѣтъ собакъ! Смѣло идите. Смѣло...

— Ай да кавалеръ! — тоже смѣясь сказала Таня. — Ночевать, что ли, здѣсь станешь? А жена пить чай собирается. Вѣрку за баранками послала. Вотъ какъ у васъ теперь.

— А пусть пьютъ! Пусть!—съ непонятнымъ раздраженіемъ, горечью и злобой откликнулся Николай.—На здоровье! пусть!

— Ну, пойдемъ,—сказала Таня Настѣ, и онѣ быстро перешли плотину и стали подниматься по крутой дорогѣ на высокій берегъ.

— Почесть ночь,—сказала Настя.—Ѳедоръ-то мой думаетъ: гдѣ Настя загуляла?

И она ласково и счастливо засмѣялась.

— Небось съ дѣлами давно управился и дома съ ребятами сидитъ. Ужъ и ласковъ онъ до ребятъ! Петька его вовсе бояться пересталъ.

— Ты все про своего Өедора, — насмѣшливо, но дружелюбно замѣтила Татьяна.—Вотъ я замужъ не пошла. Думала: лучше же я сама пить буду, чѣмъ мужъ будетъ пить, да меня бить. Глупости этой, чтобы себя въ кабалу отдать, я не потерпѣла бы. А теперь, какъ водки нѣтъ, стало думаться: аль и мнѣ замужъ пойти? Радости тоже мало одной. Какъ кукушка.

— Это правда: какъ кукушка,—охотно согласилась Настя.— Только, Татьяна Ивановна, какъ война-то кончится, ее, пожалуй, опять продавать будутъ?

Татьяна промолчала.

Онѣ поднялись къ слободѣ, на самый конецъ ея, почти примыкавшій къ господскому саду и только хотѣли повернуть къ лазу въ садъ, черезъ обваленный заборъ и засыпанную канаву, какъ изъ крайней избы вышла на порогъ Анисья.

— А это мы! — крикнула ей Настя. — Что же обѣщалась холсты принести?

— Принесу,—отвѣтила Анисья.—Это вы откуда же?

— Обновки покупали. Ахъ, ситецъ хорошъ! приходи, покажу.

— Его, ситецъ-то, пожевать нужно. Какъ пожуешъ, онъ и окажетъ; линючій онъ, либо нѣтъ.

— Да ты съ кѣмъ? — спросила Татьяна. — Это съ тобой внукъ?

— Внукъ?—удивилась Анисья.—Дочь къ Покрову обѣщалась, а раньше не будетъ. Васька это. Не узнали?

— А! пьяница!—шутя сказала Татьяна.—Что? давно не пилъ?

— И-и! думать забылъ!—сказала Анисья.—Старика-то моего не встрѣчали?

— А онъ гдѣ же?

— Къ Павлу газету пошелъ читать. Слышно, побѣда у насъ.

— А у Павла откуда газета?

— Выписывать стали мужики, — отвѣтила Анисья. — Какъ же? Теперь многіе выписываютъ. А я Ваську проводить вышла. Пугаться онъ что-то сталъ. „Бабка, — говоритъ, — проводи“. Вовсе какой-то ребенокъ чудной. Въ родѣ какъ видѣнія у него бываютъ... На дворѣ день бѣлый, а онъ боится.

— А Николай на плотинѣ стоитъ,—смѣясь сказала Настя.— Напугалъ насъ!

— Ну, идемъ, касатикъ!—сказала Анисья Васькѣ.—А холсты я принесу!—крикнула она Настѣ.

— Садомъ пройдемъ?—спросила Настю Таня.

Онѣ подошли къ лазу и остановились. Сквозь голые сучья деревьевъ уже сверкали звѣзды. Тѣни стволовъ лежали поперекъ аллеи черными полосами и все было неподвижно, безмолвно и торжественно. И только напряженнымъ ухомъ можно было слышать какіе-то тихіе шорохи и робкіе вздохи: это падали послѣдніе зазябшіе листья, тихо звенѣла о мерзлую землю осыпающаяся хвоя лиственницы и сосны.

— Хоть убейте, не пойду здѣсь! — испуганно сказала Настя.—Бѣлый тамъ кто-то стоитъ.

— Это на лужайкѣ трава отъ мороза бѣлая,—сердито сказала Татьяна.—А не то—туманъ. Вотъ глупая-то!

Но и ей стало жутко, и обѣ быстро пошли по дорогѣ въ обходъ.

И вдругъ какой-то странный крикъ или стонъ донесся до ихъ слуха.

Настя всплеснула руками и побѣжала. И только когда вбѣжала въ ворота усадьбы и увидала огонекъ въ окнѣ флигеля, она остановилась, повернулась къ Татьянѣ, которая бѣжала за ней, и, запыхавшись, сказала ей шопотомъ:

— Теперь сами слышали? Это душа тоскуетъ. И жуть же!

На другое утро въ усадьбѣ былъ переполохъ. Всѣ бѣжали на село смотрѣть трупъ Николая, котораго нашли удавившагося на суку ветлы у плотины.

Разсказывали, что его еще вечеромъ видѣла какая-то прохожая баба, испугалась до смерти, но не поняла, что видѣла. Думала, что въ нечистомъ мѣстѣ видѣла нечистаго.

И вынули Николая изъ петли только рано утромъ, когда онъ уже закоченѣлъ.

Л. Авилова.

ЛѢСЪ.

Привѣтъ тебѣ, товарищъ дней минувшихъ,
Весеннихъ сновъ и сказочныхъ чудесъ,
Зеленый храмъ моихъ боговъ уснувшихъ,
Сосновый лѣсъ!

Ты юнъ и свѣжъ, какъ и въ былые годы,
Ты полонъ чаръ и неугасшихъ грезъ...
Что для тебя суровость непогоды,
Мятежность грозъ!

Не видишь ты, какъ время мчится, мчится,
Тебѣ чужды людская ложь и злость...
Не слышишь ты, какъ въ дверь ко мнѣ стучится
Послѣдній гость...

Ты вѣчно юнъ, безстрастный и бездумный...
День, вѣчность, мигъ—равны въ твоемъ счету.
Я шелъ къ тебѣ, соблазновъ жизни шумной
Познавъ тщету.

Я шелъ къ тебѣ, измученный, усталый,—
Въ родной пріютъ—на отдыхъ, на покой.
Я шелъ къ тебѣ съ душою обветшалой,
Съ нѣмой тоской...

Ты мнѣ раскрылъ душистыя объятья,
Старушка-ель шептала мнѣ привѣтъ.
Мой старый лѣсъ, мы встрѣтились, какъ братья
Далекихъ лѣтъ.

Пернатый хоръ. Смолы благоуханье.
Зеленый сводъ и, выше—сводъ небесъ...
Я снова твой! Я пью твое дыханье,
Могучій лѣсъ!

На утрѣ дней меня дразнилъ твой запахъ...
Нагихъ дріадъ я ждалъ въ ночной тиши
И засыпалъ въ твоихъ косматыхъ лапахъ,
Въ лѣсной глуши.

Пусть жизнь прошла тропой скалистой, мглистой,—
Забыта явь! Весенній сонъ воскресъ!
Меня пьянитъ твой нѣжный вздохъ смолистый,
Сосновый лѣсъ!

На мигъ исчезъ души угрюмый холодъ...
Былыхъ огней зажегся яркій кругъ...
На мигъ я сталъ и бодръ, и свѣжъ, и молодъ,
Какъ ты, мой другъ!..

Л. Мунштейнъ.



С. В. Ноаковскій. МОНАСТЫРЬ.

У плакучихъ березъ.

(Памяти павшаго въ бою капитана Е. Е. Піуновскаго).

I.

Мы идемъ въ дальнюю дорогу,—съ котомками, съ палками, въ помятыхъ гимназическихъ фуражкахъ, съ побитыми сапогами.

Пестрыя чуни изъ суконной кромки!..

Слѣпой старичокъ сидитъ въ придорожной канавѣ, въ лопухахъ, съ пестрой вязкой суконныхъ туфель и, надѣвъ ихъ на сморщенныя коричневыя руки, похлопываетъ по тропкѣ.

Эхъ, сами лапотки бѣгутъ,
Къ Угоднику доведутъ.

А намъ надо къ Угоднику. Да и старичокъ такой ласковый. Онъ поетъ что-то про хлѣбушекъ, про лучокъ, который ему нуженъ, про усталыя ноги, которыя будутъ смѣяться въ его лапоткахъ. Все ново для насъ. Наши юныя сердца ласковы, какъ эти мягкія тропки, убѣгающія въ новую даль. Бредутъ одна за другой пестрыя богомолки. И онѣ тоже ласковы. онѣ говорятъ намъ—касатики, подолгу крестятся на каменные столбики съ иконками у деревень и такъ хорошо жуютъ черные сухари гдѣ-нибудь подъ придорожной березой, зачерпнувъ воды изъ лѣсной ямки. И небо ласковое, утреннее, іюньское; и дымки незнакомыхъ избушекъ, и бѣлый платокъ зазывающей отдохнуть молодой бабы, у которой ласковые глаза.

Мы идемъ, идемъ... Впереди—радостная дорога. Впереди тоже, конечно, радостная жизнь наша. И въ самомъ концѣ—святое, Угодникъ.

Гдѣ-нибудь у лѣска, гдѣ земляника сильно цвѣтетъ, откуда потягиваетъ ландышемъ, съ кукушкой въ перелѣскѣ, съ избушкой лѣсного сторожа, которая напоминаетъ намъ хижину милаго

американскаго охотника и которая тоже радостна намъ, мы, ласковые другъ къ другу и ко всему на свѣтѣ, достаемъ черные сухари и закусываемъ у болотца. Тутъ много стрекозъ. Тутъ старенькій старичокъ насыпалъ на тропкѣ ворошокъ изъ мѣшка, лопаточку муравьиной кучи, положилъ рядомъ грудку еловыхъ вѣтокъ и добываетъ муравьиныя яйца. Мы лежимъ на локтяхъ и слѣдимъ. Хорошо работаетъ его фабрика!

— Для соловьевъ, родимые... для соловьевъ, кормильцы!

Хорошо бы все лѣто жить здѣсь, у дороги, сидѣть ночью у костерка, спать въ шалашѣ, а на зиму уходить куда-то, за двадцать верстъ, въ деревню, гдѣ у старичка живутъ старый пѣтухъ и кошка. Мы обѣщаемся зайти какъ-нибудь къ нему, занести старые сапоги и посмотрѣть пѣтуха, который совсѣмъ сѣдой.

Милая сказка!

За старикомъ цѣлая жизнь,—можетъ-быть, страшная,—которая привела его на дорогу за муравьиными яйцами... Но мы такъ юны, такъ радостны въ это утро.

А вотъ и богатое помѣстье чье-то. Смотритъ за прудомъ садъ. Смотритъ за нимъ голубая дача въ парусинѣ, серебряный шаръ въ цвѣтникѣ. Тамъ богачи живутъ. Насъ томитъ жажда, а тамъ пьютъ чай. Но намъ ничего не надо. Столько простора здѣсь! И люди все такіе хорошіе, ласковые.

Мы давно бѣжимъ нога-въ-ногу съ высокимъ бородатымъ мужикомъ въ лаптяхъ, который очень спѣшитъ и который разсказалъ намъ, что у него расшибся на стройкѣ сынъ, и теперь у него такое горе. Идетъ къ Угоднику помолиться, чтобы вышло ему какое способіе. Мы не знаемъ, можетъ ли ему выйти, а мужикъ спрашиваетъ:

— А вѣдь должно выйти?..

— Обязательно!—говоримъ мы и проходимъ версты.

— Вотъ спасибо!

Мы узнаемъ многое за дорогу. Мы уже знаемъ, что у всѣхъ, съ кѣмъ мы ни шли,—только не у насъ,—есть горе. Мы знаемъ, что вонъ у той высокой молодой бабы, въ красивые глаза которой такъ хорошо смотрѣть, и у которой на загорѣлой шеѣ желтое прозрачное ожерелье, словно изъ спѣлыхъ крыжовинъ,—мужъ уже другой годъ пропалъ и пропалъ. Вотъ везутъ въ тележкѣ, на толстыхъ, визгливыхъ колесикахъ, мужика, у котораго руки, какъ у ребенка, а борода

большая. Онъ давно сохнетъ, и его возятъ по всѣмъ дорогамъ жена и сестра-дѣвочка. Идутъ слѣпые, поютъ намъ и всѣмъ. Передъ вечеромъ узнаемъ, что вотъ эта худая, черноглазая, похожая на дѣвочку, баба задавила во снѣ ребенка и плачетъ уже другой мѣсяцъ. Она и теперь плачетъ. У этой не выживаютъ дѣти... У всѣхъ горе, — только у насъ его нѣтъ.

Мы отдали по копейкѣ слѣпцамъ, подали и въ телѣжку,

Возлѣ незнакомой деревушки, среди лѣсовъ, переобувавшійся отставной солдатъ, съ серьгой въ ухѣ, разсказалъ намъ про ротнаго командира, какъ онъ въ опасномъ мѣстѣ, подъ пулями, бросилъ свою фуражку впередъ и крикнулъ: „выручай, братцы!“ И солдаты выручили его фуражку.

— Вотъ ей-Богу!

А впереди — святое. И кругомъ — святое: тихія березовыя рощицы на взгорьяхъ, юныя, свѣтлыя, какъ наши души; и уже позолота на нихъ вечерняя — отъ заката; и святы тоненькія пики лѣсныхъ войскъ — ровнаго молодого ельника; и затихающія тропки, милыя тропки...

Въ оврагѣ, въ тѣняхъ, куда упала дорога съ бѣгущими по сторонамъ тропками, — часовня въ березахъ. Въ горѣ—узкіе, темные проходы.

— Святыя пещерки,—крестясь, говоритъ солдатъ.

Тутъ и колодецъ подъ деревяннымъ шатромъ, съ крестикомъ. Мы пьемъ студеную воду, — вѣдь и она святая. Горбатый рыжій монахъ, въ рыжеватой на горбу ряскѣ, водитъ насъ въ узкихъ и низкихъ ходахъ въ горѣ, во тмѣ и сырости, свѣтя восковой свѣчкой. А хорошо бы пожить такъ: рыть въ горѣ ходы, а ночью молиться!

Скорбно лицо горбатаго монаха. Онъ сидитъ на лавочкѣ подъ березой, у которой длинныя вѣтви не топорщатся въ стороны, а повисли. Онъ говоритъ о смерти: померъ вчера его товарищъ. Вотъ на этой лавочкѣ тихо сидѣлъ онъ вчера вечеромъ и тихо померъ. Тихо взялъ Господь его душу.

— Жалостливый былъ... По нашей дорогѣ народу идетъ много. У каждаго горе, каждый несетъ его къ Угоднику. А братъ Симеонъ каждому слово скажетъ, каждаго утѣшитъ, на свое сердце положитъ... Вотъ и померъ.

Молчатъ всѣ: и солдатъ и старухи, и мы, старательно вырѣзывая на лавочкѣ свои буквы, и розовый огонекъ лампады надъ входомъ въ пещеры. Ночь и грусть коснулись нашей

души. По этой дорогѣ, по свѣтлымъ тропкамъ, подъ свѣтлымъ небомъ, въ тихихъ радостныхъ рощицахъ несутъ люди горе свое...

— Вотъ и береза плакучая,—говоритъ монахъ.—У святого мѣста каждая береза плачетъ.

И правда: обвисли вѣтви, печальны онѣ, словно хотятъ упасть.

— Это вѣрно,—говоритъ солдатъ,—по большакамъ все такія березы... Каждая дорога горе людское примаетъ...

А у насъ нѣтъ никакого горя. И ничего не примутъ отъ насъ ни эта святая дорога, ни эта плачущая береза. Свѣтла передъ нами жизнь, и непонятны намъ впервые слышимыя слова о людскомъ горѣ. А вѣдь оно кругомъ: оно и на горбу этого монаха, и на лицѣ солдата, которое кажется теперь усталымъ и старымъ, и въ скрюченныхъ пальцахъ старушки, которая о чемъ-то плачетъ. Плачетъ гдѣ-то и поздняя, печальная кукушка.

Монахъ ведетъ насъ въ часовню, зажигаетъ свѣчку, беретъ съ окна книгу и спрашиваетъ, не хочетъ ли кто записать на поминовенье. Солдатъ вынимаетъ два пятака, кладетъ на книгу и говоритъ:

— Пиши Петра. Больше и писать не за кого... Одинъ я теперь на свѣтѣ.

Кто этотъ Петръ? и почему писать не за кого, и почему солдатъ теперь одинъ на свѣтѣ?.. Но солдатъ не говоритъ ни слова, только сурово его лицо.

Записываетъ монахъ въ свою книгу,—говоритъ ему плачущая старуха и кладетъ деньги. И еще молодая баба говоритъ радостно:

— А ты младенчика моего запиши во здравіе... Василія моего, младенчика.

И такъ радостно говоритъ, и такъ хорошо смотритъ, что уходитъ печальное, пришедшее съ нами отъ пещеры. И еще молодая баба говоритъ своего младенчика, и еще другая, съ ребенкомъ, который выглядываетъ запеченнымъ личикомъ изъза холстинки, у ея груди.

— Этого вотъ самого, Ванюшечку моего запиши...

И принимается покачивать его и тихо похлопывать.

Смотритъ на нее и на ребенка монахъ, и солдатъ, смотримъ и мы: такая радостная и счастливая баба.

А мы что запишемъ? Но записать надо, какъ-будто безъ этого и весь богомольный путь нашъ—не путь. У насъ гимназическія фуражки, мы третьеклассники, хорошо грамотны. Объ этомъ еще спрашивалъ насъ солдатъ, хорошо ли мы грамотны. Монахъ смотритъ на насъ, пошевеливая перомъ надъ книгой, да и заплатить надо за пещерки.

Товарищъ, подмигивая, глядитъ на меня, и такъ много задорнаго въ его плутоватомъ взглядѣ.

— Мы сами,—говоритъ онъ монаху, и царапаетъ что-то на правой страницѣ—за упокой.—Готово дѣло!

И громко читаетъ: „утопшаго отрока Сидора и утонувшаго Тита“.

Солдатъ говоритъ:

— Вона что-о!

Старушка и бабы жалѣютъ и спрашиваютъ,—чьи такіе, сердешные? Мы говоримъ всякія небылицы и, должно-быть, такое несообразное, что солдатъ недовѣрчиво крякаетъ, а монахъ покачиваетъ головой. Но бабы вѣрятъ, а старушка говоритъ даже:

— Помолюсь и я, грѣшница, за нихъ, касатики... Ишь, горе-то у васъ какое!..

А намъ такъ весело,—вѣдь у насъ нѣтъ никакого горя. Не по насъ плачутъ старыя березы: для насъ молодыя, кудрявыя, радостныя. Съ нами онѣ шептались всю дорогу по вѣтерку.

Только на горѣ, за оврагомъ, въ еще свѣтломъ полѣ, передъ темнѣющей впереди деревней ночлега, мы разсказываемъ солдату, что пошутили, и монахъ теперь каждый день до будущаго года будетъ поминать Сидора и Тита. И теперь всѣ смѣются. А впереди веселый ночлегъ, старенькій добрый Угодникъ, которому мы поклонимся и котораго попросимъ о самомъ хорошемъ и радостномъ; впереди молодость безъ конца, ясность безъ края, свѣтлая неизвѣстность...

А впереди и для насъ, какъ и для всѣхъ, идущихъ дорогами, насадила жизнь плакучія березы. По дорогамъ стоятъ онѣ, по большакамъ, въ низинахъ и на взгорьяхъ, незамѣчаемыя, опустивъ уставшія шумѣть вѣтви. Наши березы... Въ тихую пору онѣ неслышно плачутъ. Въ вѣтрѣ онѣ безсильно волнуются, безсильно хлещутся и уныло звенятъ. По тебѣ онѣ уже отзвонили, товарищъ дѣтства. Березы твои уже усохли.

Уже сыплются въ вѣтрѣ ихъ сухія, какъ проволочки, безлистныя, по-старушечьи шамкающія и шуршащія вѣтки-плети. Мои же еще позваниваютъ...

Откатились года назадъ,—и нѣтъ уже будущаго безъ края и неизвѣстности свѣтлой.

II.

Это лѣто живу я на той самой большой дорогѣ, по которой четверь вѣка назадъ, попрыгивая, бѣжали мы къ радостному—впередъ.

Я узнаю деревни. Онѣ таки-удачно прожили это время: состарились и подновились, и какъ-будто чего-то ждутъ, поглядывая на дорогу. Новые домики ждутъ, а старые немножко попятились—надоѣло смотрѣть, или чуть наклонились впередъ, чтобы лучше видѣть, что творится на бѣломъ свѣтѣ. Узнаю и давнія березовыя рощи. Окраины ихъ стали строже и уже коегдѣ выпустили начинающія уставать вѣтви-плети: тронуло ихъ годами и дорожнымъ ходомъ; наслушались и насмотрѣлись людской жизни. А маленькое лѣсное войско пикъ-елей куда выше подняло свое строевое оружіе и потемнѣло. Но тропки все тѣ же, и люди тѣ же, и такъ же бредутъ къ Угоднику. Теперь хорошо знаю, зачѣмъ бредутъ: и по опущеннымъ головамъ, и по сбивающимся шагамъ, и по согнутымъ спинамъ могу прочесть, чѣмъ и какъ исписала ихъ открывшаяся мнѣ жизнь.

А много ихъ идетъ въ это лѣто... Много ихъ присаживается на излюбленныхъ примятыхъ мѣстечкахъ, въ холодочкѣ. Они все тѣ же, какъ четверть вѣка назадъ: и молодухи съ ребятами, и старушки въ клѣтчатыхъ синихъ паневахъ, въ лапоткахъ, съ дорожными палочками-водилочками, и многознающіе странники. И хочется мнѣ зажмурить глаза и вызвать изъ прошлаго тихій іюньскій вечеръ, тихій, въ желтыхъ крапинкахъ по краямъ, прудъ съ купальней у того берега, въ свѣжую краску пущенный заборчикъ неизвѣстной усадьбы съ березами, съ серебрянымъ шаромъ въ цвѣтникѣ, на горкѣ, съ террасой въ полотнахъ, съ счастливыми обитателями безмятежнаго уголка, на которыхъ, бывало, смотрѣли мы отъ пустой дороги.

Зажмуришься,—и вотъ уже перекинулся далеко назадъ: рядомъ, слышу, похрустываетъ сухаремъ мой товарищъ и устало

зѣваетъ... Вотъ и заплатка на сѣрыхъ штанахъ, и заслуженная фуражка. Онъ здѣсь опять, на большой дорогѣ. А по лѣвую руку солдатъ стягиваетъ сапогъ и кряхтитъ надъ ухомъ. А сейчасъ впереди оврагъ и пещерки, будемъ пить изъ святого колодца, а тамъ, на горкѣ, деревня ночлега, а тамъ Угодникъ, а тамъ... ясность безъ края... И самая та кукушка!..

Открылъ глаза: нѣтъ ничего, только дорога, да кукушка.

Вижу я маленькій крестъ часовни. Березы уже доросли до него. Вижу и самыя тѣ пещерки, и покосившійся шатеръ колодца. Здравствуйте, сумрачные свидѣтели далекаго іюньскаго дня, яснаго дня дѣтства! Вы, конечно, сейчасъ откроете мнѣ чудесную, полузабытую страницу изъ недочитанной еще до конца книги...

Я оглядываю до лоска затертую длинную скамью,—не найду ли царапинъ отъ нашихъ перочинныхъ ножей. Нѣтъ царапинъ; зарѣзано и затерто все, и ничего не поймешь въ пересѣкающихся чертахъ десятилѣтій. Но что же еще тутъ есть оставшагося отъ насъ? Вы ли это, далекія березы?!.

Отъ часовни черезъ дорогу движется на меня уцѣлѣвшее отъ тѣхъ дней живое—горбатый монахъ. Онъ сѣдой, но это, конечно, онъ: еще проглядываетъ кой-гдѣ рыжинка. Четверть вѣка сторожилъ онъ не останавливающійся людской потокъ. Передъ его глазами прошли милліоны ищущихъ утѣшенія. Въ книгахъ его занесены краткіе знаки робкихъ надеждъ и затаеннаго горя. А въ немъ, быть-можетъ, еще таятся смутно наши юныя отраженія.

Мнѣ хочется спросить: помнитъ ли онъ насъ, помнитъ ли тихій вечеръ, радостную бабу съ ребенкомъ, Сидора и Тита,— ясный день нашей жизни? Мнѣ хочется спросить его, почему же онъ такъ мало измѣнился, когда такія обвислыя стоятъ березы, покривился шатеръ надъ колодцемъ, и потускнѣлъ крестъ часовни? Вѣдь, я же такъ хорошо знаю, что погорчѣла даже трава вдоль тропокъ... А все еще ясны глаза монаха, словно не коснулся его длинный-длинный, скорбный людской потокъ. Нѣтъ, это — не братъ Симеонъ, тихо уснувшій отъ людского горя... Но я все же хочу его растрогать, хочу заглянуть глубже и въ свою душу.

— Вы, вѣдь, здѣсь давно... лѣтъ тридцать? Вы еще не забыли брата Симеона?

Да, онъ здѣсь давно, чуть помнитъ Симеона и совсѣмъ не помнитъ, отчего тотъ померъ. Онъ не знаетъ уже, и отчего такими обвислыми стоятъ березы... Онъ все забылъ и настойчиво предлагаетъ мнѣ купить свѣчку и посмотрѣть пещерки. Нѣтъ, я не хочу смотрѣть ихъ. Я спрашиваю себя,—можетъ-быть, это—все сонъ, что было тогда, и это я самъ выдумалъ, что плачутъ березы. Можетъ-быть, все мертво?

А вотъ и часовня.

На этихъ чугунныхъ плитахъ стояли мы въ разбитыхъ дорожныхъ чуняхъ. На этомъ окнѣ лежала раскрытая книга: лежитъ и теперь. И тотъ же надтреснутый бой дешевыхъ часовъ на стѣнкѣ... Я оглядываю стѣны, я силюсь сдѣлаться маленькимъ, вспомнить усталость въ ногахъ и невозвратимую легкость въ сердцѣ, плачущую старушку, бабу съ ребенкомъ, который спитъ за холстинкой, и заросшее сизыми волосками лицо солдата. И вижу... Вижу я, какъ шустро поскрипываетъ перышко въ загорѣлой рукѣ моего товарища и плутовато щурится его глазъ. И тихій вечеръ заглядываетъ въ часовню изъ-подъ березъ.

— Дайте книгу.

Да, самое то — за упокой и о здравіи... Опять „безымянные“ младенцы, „заспящіе“ младенцы, заблудшая дѣвица Анна, утопшіе и погорѣвшіе и—просто рабы Божіи; но все потонуло въ новомъ и страшномъ своею численностью. Я вижу одно и одно — убіенные воины. Ихъ занесло сюда и несетъ каждый день дорожнымъ бабьимъ потокомъ. Они заполоняютъ страницы. Монахъ и его товарищи скачущими и четкими почерками заносятъ ихъ въ эту придорожную книгу.

Да, теперь куда больше идетъ народу, и куда больше даютъ на поминовенье.

И плачутъ?..

— Конешно, плачутъ... только, конешно, имъ теперь все обезпечено въ воздаяніе мукъ отъ Господа... А вы не впишете?

Есть у меня, кого бы я могъ вписать. Когда-то стоялъ онъ здѣсь... Если бы монахъ былъ другой, если бы онъ мягко и любовно смотрѣлъ, если бы не выжидалъ такъ ясно, не дамъ ли я ему на поминовенье! если бы онъ опять по-тогдашнему разсказалъ... Тогда бы я многимъ съ нимъ подѣлился. Но онъ такой черствый, такой чужой.

Я перелистываю страницы придорожной книги.

— А прежнія гдѣ?

— Нарушены,—говоритъ монахъ.

Прежнія книги нарушены, и я уже не увижу знакомаго почерка, милыхъ Тита и Сидора и вереницы младенцевъ, имечки которыхъ съ такой любовью и радостными надеждами по нѣскольку разъ повторялись неумѣющими писать матерями. Теперь и они нарушены. Они рушатся часъ за часомъ, невѣдомыя никому, переходятъ незримо съ лѣвой страницы на правую, и уже сплошь чернѣютъ страницы, принимающія „убіенныхъ“. И рушатся съ ними жизни поколѣній.

Я выхожу изъ часовни, подымаюсь на взгорье. Вонъ мѣстечко, гдѣ мы отдыхали передъ деревней ночлега. Еще тогда сошлись тамъ три-четыре развѣсистыя березы. Стоятъ и теперь. Я долго сижу подъ ними, на примятомъ мѣстечкѣ, спрашиваю, — узнаютъ ли онѣ меня; помнятъ ли плохо одѣтаго мальчугана, который все пытался разложить у ихъ корней огонекъ, и котораго теперь уже нѣтъ на свѣтѣ. Я молчаливо разсказываю о немъ: онъ сталъ большимъ, съ сердцемъ мужественнымъ и честнымъ... Теперь онъ лежитъ въ неизвѣстномъ далекомъ полѣ, куда не найти дорогъ, братски-рядомъ съ тысячами другихъ. Березы ихъ знаютъ: они проходили здѣсь мальчуганами, матери носили ихъ на рукахъ къ Угоднику, чтобы выпросить для нихъ лучшей доли. Березы знаютъ, за что они тамъ легли. Онѣ все знаютъ... Онѣ заглядываютъ и въ мою душу, тянутся къ ней слабѣющими вѣтвями. Шепчутъ онѣ. Не-то молятся, не-то плачутъ... Позваниваетъ въ нихъ вѣтромъ.

Ив. Шмелевъ.

БЛАГОВѢСТІЕ.

I.

МИГЪ БЛАГОВѢСТІЯ.

Я куколка. Я гусеница.
Я бабочка. Не то. Не то.
Одно лицо, и разны лица,
Я три лица, и я никто.

Я точка. Нить. Черта. Яичко.
Я сѣмечко. Я мысль. Зерно.
Въ живой душѣ всегда привычка
Въ вѣкахъ вертѣть веретено.

Я дѣтка малая. Глядите.
Зеленоватый червячокъ.
Мой часъ пришелъ. Скрутитесь, нити.
Дремать я буду должный срокъ.

Меня не трогайте. Мнѣ больно,
Когда до люльки червяка,
При видѣ искуса, невольно,
Коснется чуждая рука.

Какъ малый маятникъ, я вправо
И влѣво выражу, что сплю.
Не троньте. Сонъ мой не забава,
Но я подобенъ кораблю.

Я храмъ. Въ мой самый скрытый ярусъ
Ударилъ вѣрный лучъ тепла.
Корабль, дрожа, раскрылъ свой парусъ.
Весна красна. Весна пришла.

Крыло есть признакъ властелина.
Былъ жизнетворческимъ мой сонъ.
Я око синее павлина.
Я желтокрылый махаонъ.

Будя полетомъ воздухъ чистый,
И поникая надъ цвѣткомъ,
Цѣлую вѣнчикъ золотистый
Я задрожавшимъ хоботкомъ.

Мигъ благовѣстія. Зарница,
Животворящая цвѣтокъ.
Не куколка. Не гусеница.
Я бабочка. Я мотылекъ.

II.

ИНДІЯ.

Съ вершинъ небесъ упалъ на землю Гангъ.
И браманы въ немъ черпаютъ отвагу
Читать міры, смотря умомъ во влагу.
Тамъ, за холмомъ, томится гамелангъ.
Раскрытый лотосъ—достовѣрность дара.
Въ той чашѣ голубое есть вино,
Глядящему упиться имъ дано.
Готовитъ Солнце празднество пожара.
Мечта звенитъ. Священный вьется дымъ.
Какъ хорошо быть въ ладѣ съ Міровымъ.

III.

САРАСВАТИ.

На перьяхъ многокрасочныхъ павлина,
Святого Брамы мудрая жена,
Сидитъ,—въ рукѣ у Сарасвати ви́на,
На ви́нѣ свѣтитъ каждая струна.

Еще стоитъ на лотосѣ она,
Всей Индіи священная картина,
Глаза миндалевидные безъ дна,
Цвѣтокъ мечты, въ немъ пламень сердцевина.

Богиня пляски, музыки и словъ,
Что ткутъ стихи въ словесномъ поцѣлуѣ,
Медвяный гимнъ изъ міровыхъ основъ.

Съ ней, краснопѣвной, міръ нашъ вѣчно новъ.
Звени, струна, шепчитесь вихри, струи,
Въ многосіяньи радужныхъ тоновъ.

IV.

ТАЙНА.

Среди древнѣйшихъ землеописаній
Забытъ одинъ могучій Океанъ,
Межъ тѣмъ, какъ самый яркій въ немъ обманъ,
И самый нѣжный свѣтъ, какъ въ зыбкой ткани.
Безумна водокруть его рыданій,
Звенящей мглы пьянительный кальянъ
Въ вѣкахъ тоски Землѣ отъ Неба данъ,
И звѣздный смыслъ сквозитъ въ священной дани.
Единое изъ всѣхъ земныхъ морей,
Гдѣ можно пить. И пьемъ мы ненасытно.
Вселенная глядитъ въ него. И слитно
Съ бездонностью, нашъ разумъ, какъ ручей,
Ліясь изъ тайнъ, втекаетъ въ Тайну, льется.
Тотъ Океанъ здѣсь Музыкой зовется.

К. Бальмонтъ.



Л. О. Пастернакъ. ДѢВОЧКИ.

Человѣкъ и смѣхъ.

(Разсказъ).

На скамьѣ подсудимыхъ, въ арестантскомъ сѣромъ халатѣ, сидѣлъ сѣрый человѣчекъ—невзрачный образецъ того безликаго, „судебнаго мяса“, которое ежедневно въ огромномъ количествѣ пожираютъ суды. Хотя я видѣлъ его своими глазами и даже помню въ немъ что-то, какія-то вялыя движенія рукъ, какое-то покашливаніе, именно ему принадлежащее, — но я не стану описывать его подробно: я непремѣнно ошибусь и вмѣсто него напишу кого-то другого, очень похожаго, но не его. Онъ не имѣлъ лица, и такимъ онъ остался безликимъ и въ памяти моей; и фамиліи его я не помню. Въ концѣ-концовъ, ни для кого изъ насъ, сидѣвшихъ въ судѣ, онъ не былъ человѣкомъ — просто это была пятая кража, статья Уложенія о наказаніяхъ такая-то.

Было уже часовъ восемь вечера, дѣло шло послѣднимъ, и судъ былъ утомленъ; утомленно позѣвывали на своихъ мѣстахъ и присяжные засѣдатели: за время сессіи они уже пріобрѣли нѣкоторую судейскую опытность, и такія будничныя дѣла вершили почти сразу, не задумываясь. Большею частью оправдывали, такъ какъ составъ былъ хорошій, интеллигентный и гуманный. Судя по статьѣ и по виду обвиняемаго, можно было по часамъ разсчитать, сколько времени возьметъ актъ справедливости—всего минутъ двадцать, не больше, включая рѣчи сторонъ и подписаніе вердикта.

Свидѣтелей не допрашивали: обвиняемый самъ сознался, что годъ тому назадъ онъ стащилъ какую-то женскую кофту, сушившуюся на какой-то веревкѣ, на какомъ-то заднемъ дворѣ; и кофту у него отобрали, возвративъ по принадлежности, а самъ онъ съ тѣхъ поръ сидѣлъ въ тюрьмѣ и ожидалъ суда. Все было ясно и просто, и прокуроръ даже не потрудился полностью открыть ротъ во время своей государственно-обви-

нительной рѣчи: такъ, пробормоталъ что-то сквозь зубы и сѣлъ дорисовывать съ утра начатый рисунокъ. На лицахъ гуманныхъ засѣдателей видѣлось явное благоволеніе въ сочетаніи съ непроходимымъ равнодушіемъ: такихъ мелкихъ, по пятой и по шестой кражѣ, воришекъ они всегда отпускали съ миромъ. Но, къ несчастью для обвиняемаго, у него былъ защитникъ: молодой человѣкъ во фракѣ, пріятный, веселый и старательный. Цѣлый день въ ожиданіи своего дѣла, онъ просидѣлъ въ буфетѣ, забѣгалъ въ Совѣтъ поболтать, накурился до горечи, соскучился, и съ нетерпѣніемъ, какъ и всѣ, ждалъ конца. Это была уже не первая его казенная защита, и о содержаніи своей рѣчи онъ не заботился: скажется то, что скажется, и что вообще въ этихъ случаяхъ говорится. Но равнодушіе прокурора возмутило его; и съ большой строгостью онъ потребовалъ—неизвѣстно для чего—справки о прежней судимости обвиняемаго.

Нѣсколько удивленный судъ необходимую справку далъ, а присяжные засѣдатели, съ опаской опытныхъ людей, взглянули на адвоката: они боялись, что адвокатъ можетъ сказать рѣчь. Уже удовлетворенный своею строгостью, молодой человѣкъ также хотѣлъ пробормотать что-то, что соотвѣтствовало бы краткой рѣчи прокурора, но въ косыхъ взглядахъ судей почувствовалось что-то оскорбительное для достоинства адвокатуры, къ коей онъ имѣлъ честь принадлежать, а находчивый умъ уже подсказывалъ и тему для короткой, но блестящей рѣчи.

— Вамъ угодно?..—съ неудовольствіемъ спросилъ предсѣдатель.

— Да,—сухо отвѣтилъ молодой человѣкъ, неторопясь всталъ и съ нарочитой медленностью поправилъ какія-то бумажки на пюпитрѣ. И, когда вниманіе судей было достаточно подготовлено, сказалъ приблизительно слѣдующее:

— Господа судьи и господа присяжные засѣдатели! Я испытываю нѣкоторую неловкость, привлекая ваше утомленное вниманіе къ дѣлу, которое на первый взглядъ кажется такимъ простымъ и несложнымъ. Но такимъ оно представляется лишь при поверхностномъ разсмотрѣніи, по существу же это одно изъ рѣдчайшихъ дѣлъ, какія вамъ... какія вы, вообще, имѣли передъ собою въ этихъ стѣнахъ, господа судьи совѣсти!

Начало рѣчи было недурно. Предсѣдатель взглянулъ на защитника; прокуроръ опустилъ плечи, которыя приподнялъ было

для выраженія недоумѣнія, что защитникъ хочетъ о чемъ-то говорить, да такъ и оставилъ; и также съ любопытствомъ взглянулъ на адвоката. Заинтересовались и присяжные, и изъ полулежачихъ позъ перешли въ полусидячія. И только обвиняемый былъ равнодушенъ—соображалъ медленно и еще не успѣлъ удивиться.

Выждавъ, сколько надо для опредѣленнаго эффекта, молодой человѣкъ продолжалъ съ быстро возрастающимъ паѳосомъ:

— Да, господа судьи! Когда раскаивается Отелло, удушившій собственными руками невинную Дездемону; когда злодѣй, омывшій руки въ крови несчастныхъ жертвъ, несетъ свое запоздалое признаніе на судъ общества,—я мало... меня мало трогаютъ эти слишкомъ яркія картины, невольно бьющія на эффектъ. Но вотъ здѣсь, въ тишинѣ, подъ этимъ сѣрымъ арестантскимъ халатомъ, печальной одеждою отверженныхъ, разыгрывается болѣе глубокая драма, которую я и осмѣлюсь представить вашему серьезному... вашему вниманію. Взгляните на обвиняемаго...

Всѣ взглянули на обвиняемаго, но ничего собственно не замѣтили; ему же, видимо, стало неловко, что на него всѣ смотрятъ, но пошевельнуться онъ не рѣшился, притворился неслышащимъ и невидящимъ. Но всѣ это поняли, разгадали его смущеніе по тому виду неловкости, съ какимъ сидѣла теперь его голова на его тонкой и сѣрой шеѣ: точно чужая.

Адвокатъ продолжалъ:

— Взгляните на обвиняемаго: что особеннаго можетъ сказать вамъ его обыкновенное, добродушное русское лицо? Ничего! А вмѣстѣ съ тѣмъ передъ вами если не герой... это было бы слишкомъ, но во всякомъ случаѣ человѣкъ необыкновенный, съ необыкновенно развитымъ чувствомъ, вѣрнѣе, сознаніемъ долга и совѣсти. И въ борьбѣ именно съ этой совѣстью и высокимъ чувствомъ долга проходитъ его незамѣтная жизнь—и совѣсть побѣждаетъ, господа судьи! Я не хочу быть голословнымъ, въ моихъ рукахъ слишкомъ важныя данныя для того, чтобы я позволилъ себѣ... вотъ факты, на которые прошу обратить особенное вниманіе. Какъ гласитъ справка о судимости, между первой и второй кражей прошло всего два мѣсяца—запомните, даже запишите это число: два мѣсяца! Но уже послѣ второй кражи—до третьей проходитъ... шесть мѣсяцевъ! Что это значитъ? Это значитъ, что началась борьба съ со-

вѣстью, что дурные инстинкты, заложенные средою, встрѣчаютъ все большее сопротивленіе въ душѣ обвиняемаго. Но, можетъ-быть, я ошибаюсь?—нѣтъ! Между третьей и четвертой кражей проходитъ уже не мѣсяцъ, не три—проходитъ годъ и пять мѣсяцевъ! Вы видите, какъ съ каждымъ разомъ все яростнѣе становится борьба, какъ неумолимая совѣсть все громче подымаетъ свой строгій голосъ: опомнись! что ты дѣлаешь! ты поднимаешь руку на чужую собственность! И она побѣждаетъ, медленно, съ большимъ трудомъ, но неуклонно: между четвертой и пятой кражей, которую вы изволите судить, проходитъ уже... два съ половиной года! Коментаріи излишни. Два съ половиной года, это такой срокъ, предъ которымъ я преклоняюсь, вручая усмотрѣнію вашей совѣсти, вашего высокаго долга, гг. присяжные засѣдатели, судьбу моего несчастнаго кліэнта. Я кончилъ!

Молодой человѣкъ съ покраснѣвшимъ отъ паѳоса лицомъ размашисто сѣлъ и сдѣлалъ видъ, что углубился въ разсмотрѣніе своихъ бумажекъ. И всѣ молчали—не то, чтобы задумались, а было какъ-то странно. И тогда поднялся на своемъ мѣстѣ прокуроръ и уже совсѣмъ медленно—еще медленнѣе, чѣмъ защитникъ,—сказалъ слѣдующее:

— Къ талантливой рѣчи моего противника я хотѣлъ бы внести только одно дополненіе, вытекающее изъ той же справки. Послѣ первой кражи подсудимый сидѣлъ въ тюрьмѣ, дѣйствительно, только два мѣсяца. Между второй и третьей кражей прошло, дѣйствительно, уже шесть мѣсяцевъ, но это не потому, что онъ боролся съ совѣстью, а потому, что сидѣлъ въ тюрьмѣ ровно шесть мѣсяцевъ. Между третьей и четвертой кражей, дѣйствительно, прошло уже годъ и пять мѣсяцевъ, но опять-таки не изъ-за совѣсти, а потому, что сидѣлъ онъ ровно годъ и пять мѣсяцевъ; равнымъ образомъ, какъ послѣ четвертой кражи онъ отсиживалъ два съ половиной года. И если и можно какъ-нибудь назвать обвиняемаго, то только большимъ неудачникомъ: онъ крадетъ въ тотъ же день, какъ его выпускаютъ изъ тюрьмы и немедленно, тутъ же, попадается. Я также кончилъ.

Трудно передать, что было въ залѣ. Хохотали всѣ. Смѣялся судъ въ полномъ своемъ составѣ, неудержимо смѣялись присяжные засѣдатели; и даже судебный приставъ, которому полагается по званію его непоколебимое равнодушіе, пряталъ въ углу свой покраснѣвшій сѣдой затылокъ и прыгающую голову.

Крѣпился нѣкоторое время покраснѣвшій защитникъ, но не выдержалъ: дѣйствительно смѣшно!—и закатился добродушнѣйшимъ смѣхомъ.

Сквозь слезы смѣха я взглянулъ за рѣшетку; смѣялись оба конвойные съ тесаками и самъ обвиняемый смѣялся отъ всей своей души—хихикалъ и кашлялъ и вновь хихикалъ.

Такъ со смѣхомъ закончилось это дѣло. Улыбаясь, предсѣдатель сказалъ какое-то резюме, котораго никто не слышалъ; сдерживая смѣхъ, удалились совѣщаться присяжные и черезъ нѣсколько минутъ вернулись: стараясь быть серьезнымъ и сдерживая смѣхъ, который проступалъ въ глазахъ и каждой морщинкѣ лица, старшина быстро прочелъ вопросы и отвѣтъ, очень короткій:

— Да, виновенъ.

Но, сходя съ возвышенія, уже не могъ выдержать и засмѣялся въ кулакъ, любовно и просто, какъ всѣ смѣющіеся, взглянувъ на улыбающагося обвиненнаго. И я увѣренъ, что въ тотъ вечеръ въ десяткѣ домовъ звучалъ тотъ же искренній и веселый смѣхъ: каждый, вернувшись, разсказалъ про случившійся анекдотъ и всѣ смѣялись.

Уходя изъ суда, въ коридорѣ я встрѣтилъ обвиненнаго: онъ оживленно, полуобернувшись, говорилъ что-то своимъ конвойнымъ и смѣялся; смѣялись и тѣ. На ходу обвиненный поймалъ мой улыбающійся взглядъ, узналъ мое лицо, что я также былъ въ судѣ, и улыбнулся, какъ старому и хорошему знакомому. На поворотѣ коридора онъ обернулся, точно желая еще разъ подѣлиться анекдотомъ, и скрылся; больше я его никогда не видалъ. Но, вѣроятно, въ тотъ вечеръ вся тюрьма хохотала вмѣстѣ съ нимъ; а возможно, что и въ дальнѣйшіе годы онъ не разъ вспоминалъ, какъ и всѣ мы, этотъ потѣшный случай, и снова смѣялся и смѣялись съ нимъ слушатели.

Но догадался ли онъ когда-нибудь, что этотъ веселый и добродушный смѣхъ—стоилъ ему четырехъ лѣтъ арестантскихъ ротъ? Очень возможно, что нѣтъ. Очень возможно, что за маской собственнаго смѣха для него—какъ и для насъ—навсегда сокрылось истинное существо дѣла. И стоитъ ли жаловаться на предательство, когда можно, смѣясь, самому предать себя—и всю жизнь не догадаться объ этомъ!

Леонидъ Андреевъ.

ЖЕНЩИНА ПРОШЛАГО.

Когда я васъ вижу, кумиры мишурные,
Въ мѣхахъ и брильянтахъ, съ довольствомъ въ глазахъ,
Берущіе жадно мгновенія бурныя
У родины, тонущей въ скорбныхъ слезахъ,
Когда я встрѣчаю васъ, женщины сытыя,
За окнами ярко блестящихъ авто,—
Мнѣ чудятся семьи, страданьемъ убитыя,
Которыхъ никто не утѣшитъ, никто...
И сквозь темноту опьянѣнія пошлаго,
Какъ зори минувшихъ, далекихъ временъ,
Я вижу васъ, свѣтлыя женщины прошлаго,—
Васъ, геніевъ чистыхъ святой легіонъ...
Я васъ узнаю у преддверія райскаго,—
Васъ,—жены и матери веснъ былыхъ,
Васъ, нѣжныхъ, какъ вздохъ пробужденія майскаго,
Великихъ подвижницъ, страдалицъ святыхъ...
И хочется вѣрить, что тѣни любимыя
Ушли не навѣкъ, что воскреснутъ имъ вновь,—
Когда возродится Россія родимая
И съ нею свобода, добро и любовь...

Михаилъ Гальперинъ.

Дни за днями.

I.

Өедоръ Лукичъ Самохинъ, мѣщанинъ города Лыхова, человѣкъ лѣтъ за сорокъ, съ узкимъ истомленнымъ лицомъ, лежалъ на спинѣ подъ сѣрымъ байковымъ одѣяломъ и глядѣлъ равнодушно на бревенчатыя стѣны, на дощатый потолокъ комнаты и думалъ о разныхъ пустякахъ, такъ какъ думать о серьезномъ ему запретилъ докторъ, потому что отъ думъ у него разстраивались нервы и начиналась такая боль во всемъ тѣлѣ, что онъ стоналъ отъ боли часами. А это раздражало другихъ пятерыхъ, которые лежали съ нимъ въ этой же комнатѣ: юноша-добровлецъ съ отрѣзанной выше колѣна ногою, бородатый казакъ Уласовъ съ прострѣленной головой и перебитымъ плечомъ, двое легко раненыхъ въ руку и одинъ, всегда молчащій, про котораго говорили другіе, что у него въ окопахъ вымерзли обѣ пятки. Тревожить ихъ своими стонами Самохинъ стѣснялся и вотъ—цѣлыми днями и вечерами онъ думаетъ Богъ-вѣсть о чемъ, но только не о своемъ, не о себѣ, не о своихъ. Это тяжело ему, но онъ принуждаетъ себя. Ему часто, очень часто, вспоминается родная улица въ Астрахани и домикъ, гдѣ осталась жена, но онъ гонитъ прочь эти мысли и взамѣнъ ихъ высчитываетъ, сколько вышло бы пудовъ, если бъ изъ Каспійскаго моря выловить всю рыбу,—всю до единой,—и сколько народа можно бы прокормить этой рыбой за мѣсяцъ и за годъ. И это ему ничуть не смѣшно, потому что это считаетъ не онъ,—а это горе его считаетъ; и онъ знаетъ это, и думаетъ, думаетъ, чтобъ не стонать...

Въ сосѣдней комнатѣ за перегородкой лежатъ тоже раненые—татары; ихъ четверо; нерѣдко они поютъ тихонько хоромъ изъ Корана свои священныя пѣсни, заунывно и долго поютъ, но такъ скромно и тихо, что никому не мѣшаютъ. Самохинъ даже

любилъ ихъ послушать. Ему въ это время легче думалось и было ясно, что у всѣхъ людей—Богъ одинъ, и не изъ-за чего поднимать священное знамя Пророка, о которомъ пишутъ теперь въ газетахъ. Иногда и татары ему говорили то же самое:

— Ваши есть люди, и наши есть люди, а Богъ одинъ. Наши ничего не знаютъ, ваши ничего не знаютъ; одинъ Богъ все знаетъ!

Лазаретъ былъ маленькій, всего на двадцать человѣкъ. Помѣщался въ пустой дачѣ близъ желѣзнодорожной платформы, среди елокъ и сосенъ. Лѣтомъ часто сюда навѣдывались дачники, приносили табаку, сластей, книжекъ, а зимою — нѣтъ никого, кромѣ сестры милосердія да кухарки. А зимній вечеръ дологъ; рано приходятъ сумерки; въ непогоду онѣ еще раньше ложатся на дорогу, на елки, на снѣгъ во дворѣ; да и зима пришла ранняя и строгая: то и дѣло съ полей наметываетъ вьюга мелкій снѣгъ и посвистываетъ подъ окнами, завываетъ въ трубѣ, хлещетъ по стекламъ, заглаживаетъ послѣдніе слѣды человѣческіе—протоптанную къ станціи дорожку...

Бывали, впрочемъ, и здѣсь развлеченія. Каждую субботу приходила мыть полы веселая старуха Филимоновна, щербатая, сутулая, но очень радостная. Работала она совершенно безплатно, и не лѣнилась; несла съ достоинствомъ тяготу военнаго времени и довольствовалась только тѣмъ, что иногда заявляла солдатамъ:

— Я сама доброволецъ! Мнѣ никто пальцемъ въ носъ ткнуть не смѣетъ: даромъ, что баба, а вотъ служу отечеству по силѣ-возможности!

Безъ новостей она никогда не приходила, и новости ея были всегда необычны и неожиданны.

— Ну, слава те, Господи, — говорила она, входя въ лазаретъ. — Сейчасъ кавалеръ пріѣзжій разсказываетъ: слава те, Господи: въ турецкомъ морѣ дно провалилось! Туда ему и дорога!

А иногда сообщала съ тревогой:

— Косоглазый-то чего выдумалъ, китаецъ-то: говоритъ нашимъ: присылай сію минуту ко мнѣ полтора милліона дѣвокъ изъ Росеи, а не то войну объявляю!

Казакъ Уласовъ въ такихъ случаяхъ приподнималъ голову, всю въ бинтахъ, и вступалъ съ Филимоновной въ бесѣду, а то и въ споры.

— Тебѣ бы, бабушка, тоже добровольцемъ туда записаться,—въ полтора милліона-то.

Та чувствовала въ этомъ добродушную шутку и принимала вызовъ съ удовольствіемъ.

— И пошла бъ записалась, да онъ, небось, не бабъ себѣ требуетъ, а дѣвокъ.

— А ты, може, по старости, тоже за дѣвку сойдешь?

Начинались шутки, смѣхъ, и становилось какъ будто весело.

Глядѣлъ на нихъ и Самохинъ, слушалъ шутки и понималъ ихъ, но самъ никогда не смѣялся. Онъ уважалъ Филимоновну за то, что она безкорыстная: цѣны на все растутъ, а она моетъ полы безплатно.

— Ужасно, какъ жизнь вздорожала!—говорилъ онъ ей почтительно, съ намѣреніемъ похвалить.

— Что ты, что ты: жизнь вздорожала! — перебивала старуха.—Все стало дорого, это вѣрно; все дорого, кромѣ только жизни человѣческой!

— Живи—не тужи, а умрешь—не жалѣй!—храбро заявлялъ и казакъ. — Время нынче военное: либо грудь въ крестахъ, либо голова въ кустахъ!

И бесѣда рѣзко измѣнялась; шутокъ больше не было; разговаривали тихо, серьезно. Въ такое время было даже пріятнѣй сидѣть въ сумеркахъ, не зажигая огня. За окнами снѣгъ кажется синимъ, лиловымъ, а въ комнатѣ все сѣро; фигуры видны, а на лицахъ вечернія тѣни; глаза у всѣхъ не закрыты, а что въ глазахъ — не видать; въ сумеркахъ лучше и легче бесѣда: слушаютъ довѣрчивѣй, говорятъ свободнѣй.

Войдетъ навѣстить сестра милосердія, Зоя Петровна, хорошенькая бѣлокурая дѣвушка, въ бѣлоснѣжной одеждѣ (многимъ она кажется ангеломъ), увидитъ своихъ больныхъ, улыбнется имъ и скажетъ:

— Скоро чай пить будемъ. Оставайся и ты, Филимоновна.

Улыбка ея привѣтлива, а глаза печальные. Всѣ здѣшніе знаютъ, что у Зои Петровны женихъ на войнѣ, и нѣтъ о немъ вѣстей...

На ея улыбку всѣ отвѣчаютъ — кто улыбкой, кто почтительнымъ взглядомъ, а другіе въ отвѣтъ бодро вытягиваются по-солдатски; одинъ только юноша съ отрѣзанной ногой робкими и восторженными глазами ищетъ ея взгляда, ждетъ встрѣчи глазъ, и блѣдное, почти дѣтское лицо его загорается счасті-

емъ, когда Зоя Петровна улыбнется ему — ему одному—и ласково подумаетъ: „Бѣдный мальчикъ!“

II.

Филимоновна приходила только по субботамъ—подъ праздникъ, и съ ея приходомъ бывало связано еще одно настроеніе, котораго въ обычные дни не было. На селѣ благовѣстили ко всенощной. Вечерній далекій звонъ среди зимней тишины мягко плыветъ въ сумеркахъ надъ снѣжными полянами, надъ застывшей рѣчкой, надъ безлюдными дачами, и солдаты любятъ его послушать. Болѣе здоровые выходятъ на крыльцо и во дворъ, долго стоятъ молча, кто глядитъ въ небо, кто въ землю, но думы ихъ—не здѣсь.

Татары тоже никогда въ это время не поютъ свои пѣсни—изъ уваженія къ русскому празднику.

Къ чаю зажигаютъ уже лампы, а то темно. Филимоновна собирается уходить, но ее задерживаютъ, то одинъ, то другой. Многимъ хочется облегчить душу, высказать самое завѣтное, или что-нибудь такое, о чемъ разсказать интересно и пріятно, а разсказывать некому: всѣ сосѣди ужъ слышали и не одинъ разъ.

Кто поразскажетъ ей о битвѣ, въ которой былъ раненъ, кто вздохнетъ о молодой женѣ, объ оставленномъ хозяйствѣ, о ребятишкахъ...

Подойдетъ Филимоновна и къ юношѣ-добровольцу; одѣтъ онъ въ то же, во что всѣ, но весь онъ какой-то чистенькій, свѣженькій, точно дитя; и георгіевскій крестикъ на полосатой оранжевой лентѣ виситъ на стѣнѣ у изголовья, а нога, выше колѣна, давно въ саду, глубоко закопана въ землю... Глядитъ онъ Филимоновнѣ въ глаза своими ясными глазами, въ которыхъ много любви и много печали, и начинаетъ говорить ей, называя ее бабушкой, о томъ, съ какимъ нетерпѣніемъ ждетъ онъ для себя ногу—искусственную, которую обѣщали сдѣлать изъ дерева, желѣза и ремней, на винтахъ и пружинахъ, совсѣмъ какъ настоящую, о томъ, какое это счастіе—опять ходить, ходить!.. Но когда онъ произноситъ слово „ходить“, онъ крѣпко зажмуриваетъ глаза—не то отъ ощущенія близкой радости, не то отъ безнадежнаго отчаянія.

Помолчитъ возлѣ него старуха, не зная, что сказать, похлопаетъ ласково по здоровой ногѣ и прошепчетъ со вздохомъ:

— Ну, Богъ дастъ, выходишь себѣ, баринъ, и на этой ногѣ невѣсту красавицу!

Оба улыбнутся другъ другу и Филимоновна пойдетъ дальше — слушать другихъ, кто позоветъ. Подсядетъ и къ Уласову, къ его постели на табуретку.

— Ну, что, казакъ? чего тучей глядишь?

— Коня жалко, будь те неладно!.. Какой конь былъ, Боже жъ ты мой—прямо огненный!.. Сказать не могу, какой конь!

И начинался разсказъ объ атакѣ, о томъ, какъ схватился онъ съ четверыми, двухъ зарубилъ, одного конемъ затопталъ, а вотъ четвертый...

— Кы-ыкъ цыганётъ меня по башкѣ, инда зубы заскрежетались во рту,—разсказывалъ Уласовъ почти съ увлеченіемъ.— Ничего; стерпѣлъ. Послѣ того замахнулся я разомъ, хотѣлъ ему сдачу сашкой задать, въ полъ-рыла, а тутъ новый подскакалъ — пятый; кыкъ пырнетъ меня пикой подъ-мышку!.. рука моя и повисла; плечо правое перешибъ. Мало того, взялъ да выстрѣлилъ; слышу, зажгло въ головѣ... потемнѣло все. Ну, я и упалъ съ коня... Такъ было жалко коня отдавать!.. Такъ жалко!.. Ни за что конь пропалъ!

На всякое горе человѣческое находилось у Филимоновны бодрящее словечко, но геройскихъ разсказовъ она не выдерживала и сама начинала вытирать глаза и сморкаться украдкой.

— Да ты бъ его самъ-то пикой! — совѣтовала она, глотая слезы.

— У кого плечо перебито, у того пику изъ рукъ курица носомъ отниметъ. Поняла, бабка?.. Только дай срокъ: срастется плечо, чтобъ рукой владать во всю силу, я коня своего еще ворочу! Ахъ, какой конь! Не такъ своего плеча жалко, какъ коня добраго!

Самохинъ, глядя на другихъ, терпѣливо дожидается своей очереди. Видитъ, что старуха волнуется, слушая казака, и волненіе начинаетъ охватывать его самого, а это предвѣщаетъ боль, муку и безсонную тяжкую ночь. Роковые вопросы начинаютъ впиваться въ сердце, и онъ въ страхѣ борется съ ними, считаетъ наскоро, много ли дней прожила на свѣтѣ Филимоновна, ежели ей теперь пятьдесятъ два года, и сколько саженъ дровъ сожгла она за всю свою жизнь, — но праздные вопросы помогаютъ плохо, ненужныя дѣла и чужіе интересы уже не спасаютъ, за ними выростаетъ призракъ: вопросъ всей

его жизни; и когда подошла къ его постели Филимоновна, вздыхая послѣ казацкихъ разсказовъ, онъ сталъ спрашивать ее о дровахъ, о харчахъ, но сейчасъ же увидалъ, что ни молчать, ни думать о пустякахъ онъ болѣе ужъ не можетъ.

— Пойми, Филимоновна, войди ты въ мое положеніе,—заговорилъ Самохинъ глухимъ голосомъ, стараясь привлечь къ себѣ ея вниманіе.

Онъ приподнялся на лѣвомъ локтѣ и, откинувъ до пояса одѣяло, свободной рукой тянулся къ старухѣ, словно боясь, что она перестанетъ его слушать и уйдетъ; а на душѣ у него такъ наболѣло, что онъ, разъ уже началъ, не можетъ не досказать теперь до конца.

— Пойми, Филимоновна: сынъ у меня единственный, девятнадцати лѣтъ... двадцатый пошелъ. Призвали, отправили... а теперь онъ въ плѣну. Понимаешь: бываетъ у родителей одинъ сынъ — этихъ теперь берутъ. Сынъ-то одинъ, да кромѣ него еще дочери есть: двѣ, три... А у меня все тутъ: единственный! Никого больше нѣтъ—вотъ какое мое положеніе. Понимаешь: все тутъ!.. все!

Сухими, блестящими глазами глядитъ онъ на Филимоновну. Та молча ждетъ; она умѣетъ слушать больныхъ; а больнымъ терпѣливый слушатель—великая радость.

— Понимаешь: пишетъ мнѣ сынъ изъ плѣна: раненъ, говоритъ, я, но буду живъ; хвалитъ порядки нѣмецкіе; говоритъ, жить здѣсь очень неплохо, даже хорошо, вродѣ какъ у насъ въ дошникахъ. И обращеніе такое же хорошее, какъ въ дошникахъ. Читаю я и понимаю: пишетъ одно, а угадывать надо другое подъ этимъ. Значитъ, приказываютъ такъ писать да хвалить, а на самомъ-то дѣлѣ, видишь, какая жизнь прекрасная: „какъ въ дошникахъ". А ты знаешь, что это обозначаетъ?..

Самохинъ даже перекрестился.

— Въ дошникахъ у насъ, подъ Астраханью, селедокъ солятъ... чаны такіе смрадные. А то кожи дубятъ... Можешь себѣ представить что-нибудь хуже: грязь, вонь, тѣснота, духота... голодуха!.. Вотъ онъ и сообразилъ, какъ написать, чтобы я его похвалу по-настоящему понялъ. Одинъ я и понимаю это, да вотъ тебѣ теперь говорю, какое тамъ житье прекрасное: какъ въ дошникахъ! а?!

— А ты не гуди. Чего гудёшь?—ласково и вмѣстѣ строго останавливала его Филимоновна. Она уже знала Самохина:

если старикъ разволнуется, то всю ночь будетъ стонать и бредить, да зубами скрипѣть, пока не выбьется изъ силъ.

— Господь тебѣ крестъ послалъ, а ты гудёшь?.. Замолчи сей минутой, тревожная душа!

— Да вѣдь единственный сынъ-то! — оправдывался Самохинъ.—У другихъ дочерей полонъ домъ, а у меня—все тутъ: все въ единомъ!.. А въ плѣну, говорятъ, палками забиваютъ нашихъ до-смерти, голодомъ морятъ да собаками травятъ... подъ разстрѣлъ водятъ партіями... Это—что? Развѣ этакъ по чести?!

Самохинъ откинулся на подушку, закатилъ глаза до бѣлковъ, бросилъ врозь руки и долгимъ, тонкимъ, измученнымъ голосомъ затянулъ безконечное „о“, безъ передышки, безъ крика, безъ выраженія; старухѣ было стыдно подумать, однако думалось, что голосъ Самохина похожъ сейчасъ на собачій вой въ зимнюю глухую ночь.

— Полно, полно гвошить!—потолкала она его по колѣнкѣ.— Ты Николаю-угоднику лучше молись; онъ всѣмъ обиженнымъ защита. И самъ строгій святой: съ нимъ не заспоришь, милый!

III.

— Съ Николай-угодникомъ не поспоришь, — это всякому хорошо извѣстно! — подтвердилъ бѣловолосый солдатъ съ голубыми глазами, съ блѣднымъ, но почти веселымъ лицомъ, вышедшій на двухъ костыляхъ изъ сосѣдней комнаты, когда Филимоновна уже ушла, а Зоя Петровна велѣла готовиться вскорѣ спать:

— Вотъ только двоимъ градусники поставлю, — сказала она,—а вы, Чугуновъ, разскажите намъ что-нибудь на сонъ грядущій. Вы у насъ мастеръ разсказывать.

Чугунову пододвинули табуретку; онъ сѣлъ, собралъ костыли въ одну сторону и спокойно объявилъ:

— Дѣло будетъ про чудотворца Николу и про нѣкотораго басурманина. Не лѣнитесь, но ясно послушайте.

Онъ объявилъ это такъ твердо и дѣловито, что многіе даже изъ другихъ комнатъ пришли и столпились въ дверяхъ, зная Чугунова за опытнаго разсказчика.

— Жилъ-былъ въ одномъ городѣ князь христіанскій; воевалъ онъ съ степными ордами; много плѣнниковъ въ его стану жило

за крѣпкими оградами да по темницамъ. И сидѣлъ у него въ оковахъ одинъ половчинъ, знатнаго рода. Вотъ и говоритъ половчинъ: „Отпусти меня, князь, въ землю мою, я тебѣ большой искупъ дамъ и самъ тебѣ его привезу. — Дай по себѣ поруку,—говоритъ князь,—тогда отпущу“. А какую поруку? кто за чужого человѣка поручаться станетъ? Видитъ князь, не найти половчину за себя поруки. Вотъ и сказалъ онъ ему: „Хочешь дамъ тебя на поруку святому Николѣ?“—А кто Никола? — говоритъ половчинъ, — я не знаю его, и онъ меня не знаетъ. Привелъ тогда князь басурманина къ себѣ и показалъ ему икону святого Николы: „Вотъ кто Никола; хочешь, дамъ тебя ему на поруку?“ Половчинъ говоритъ: „Все исполню, что мнѣ прикажешь; отдаюсь на поруку“. Сказано — сдѣлано. Велѣлъ князь расковать половчина, далъ ему коня своего и всякой потребы на путь, только опять сказалъ: „Не моги обмануть меня, половчинъ. Самъ привози искупъ, а я въ тотъ же часъ отпущу тебя навсегда на волю. А обманешь, то знай: нигдѣ не избыть тебѣ руки святого Николы!“

Чугуновъ нарочно покашлялъ и помолчалъ, точно провѣряя, слушаютъ его или нѣтъ. Всѣ до единаго глядѣли на него и ждали.

— Вотъ выѣхалъ половчинъ за городъ; ѣдетъ, думаетъ; надо зарокъ держать; обѣщалъ вернуться съ выкупомъ; надо вернуться. Ѣдетъ, ѣдетъ; вотъ ужъ и степь начинается... Какъ въѣхалъ половчинъ въ степь, какъ заклёкалъ въ небесахъ орелъ степной, какъ запахла вокругъ ковыль-трава, какъ потянуло степнымъ вѣтромъ изъ родной земли, замерло сердце половчина, затуманились зоркіе глаза, пригнулся половчинъ къ гривѣ коня, вскрикнулъ дикимъ голосомъ, и все на свѣтѣ забылъ, и пустилъ коня стрѣлой по вольной степи...

Долго тянулось сказаніе, но весь лазаретъ его слушалъ внимательно, съ интересомъ, особенно о томъ, какъ явился Никола половчину во снѣ и напомнилъ ему о долгѣ. Чугуновъ, ни на кого не глядя, вертѣлъ, не думая, въ пальцахъ обрывокъ тесемки и самъ увлекался своими же словами. Собрались въ комнату всѣ, изъ всѣхъ другихъ комнатъ, кромѣ только тяжело больныхъ, которымъ нельзя вставать; тѣсной кучкой стоятъ одни по серединѣ, между кроватями, другіе въ дверяхъ, кто просто въ больничномъ бѣльѣ и туфляхъ, кто въ гороховыхъ халатахъ, накинутыхъ на плечи; виднѣются

обмотанныя бѣлымъ руки на перевязкахъ, забинтованныя головы, согнутыя закутанныя ноги; то здѣсь, то тамъ торчатъ зловѣщіе костыли... Татары тоже вышли послушать и, почтительно стѣсняясь, стоятъ всѣ четверо въ коридорѣ. Пахнетъ іодомъ отъ перевязокъ, сѣномъ отъ тюфяковъ, ржанымъ хлѣбомъ и махоркою изъ кухни...

Зоя Петровна тоже слушаетъ; тихо улыбается чему-то, глядя въ темную ночь за окнами; а на нее смотритъ украдкой юноша-доброволецъ и тоже тихая улыбка, чуть замѣтная, играетъ на его лицѣ...

— И второй разъ привидѣлся половчину сѣдой старецъ,— продолжалъ Чугуновъ,— только на этотъ разъ — наяву. И опять говоритъ ему: друже, а не ты ли сидѣлъ въ желѣзныхъ оковахъ и не я ль поручился по тебѣ за искупъ? Чего ради не ѣдешь обратно?.. Но и про это скоро забылъ половчинъ. Тогда въ третій разъ явился ему Никола святой. Скакалъ половчинъ на конѣ своемъ, вдругъ видитъ — старецъ стоитъ. Грозно глядитъ ему въ очи: „Да ты что, половчинъ безумный, на конѣ сидишь, красуешься, а искупъ не помнишь? Долой съ сѣдла!“ И потрясъ онъ его жестоко, и сторгъ его съ коня, и простеръ на землѣ, а самъ гнѣвно допрашиваетъ: „Кто въ темницѣ сидѣлъ на цѣпяхъ? Кого я взялъ на поруку? Кому я трижды твердилъ?..“ И сталъ послѣ того невидимъ Никола святой, а половчинъ, какъ только оправился отъ болѣзни, отвезъ князю самъ обѣщанный выкупъ. И князь сдержалъ слово: отпустилъ его съ миромъ домой.

— И стали всѣ жить по-хорошему! — добавилъ Чугуновъ уже другимъ тономъ, видимо, отъ себя, а не изъ сказанія. Онъ подобралъ свои костыли и всталъ.

— И мы всѣ скоро будемъ жить по-хорошему,— сказала на это Зоя Петровна.— А пока укладывайтесь-ка спать!.. Кто нынче дежурный?

Бойкій коренастый солдатикъ, съ закрученными усами, въ гороховомъ халатѣ, съ лѣвой рукой на повязкѣ, вышелъ сейчасъ же впередъ, устремилъ глаза на маленькій темный образокъ, передъ которымъ, по случаю завтрашняго праздника, теплился огонекъ въ красной прозрачной лампадкѣ, и отчетливо, высокимъ тенoромъ началъ читать молитву, крестясь и кланяясь. И всѣ стояли тихо и строго, тоже крестясь и кланяясь; только тѣ, которые встать не могли, чуть приподнялись

въ постеляхъ, слушали и глядѣли на огонекъ за краснымъ стекломъ. И Зоя Петровна глядѣла на этотъ же огонекъ; и всѣмъ имъ, всѣмъ хотѣлось одного, хотя и по-разному — хотѣлось „жить по-хорошему", о чемъ у каждаго тосковала душа, болѣло сердце, ныли кровавыя раны...

Зоя Петровна глядѣла на этотъ мирный, ласковый огонекъ, глядѣла на перебитыя руки, раздробленныя ноги, забинтованныя головы, на высокіе костыли и думала о томъ, что пройдетъ,—какъ все проходитъ на свѣтѣ,—и эта тяжкая година; опять поднимутся изъ пепла разрушенные города, зазеленѣютъ сожженные лѣса, зацвѣтутъ истоптанныя нивы... Но какъ и чѣмъ замѣнитъ намъ жизнь ушедшихъ отъ насъ? Кто возвратитъ ноги хромымъ, очи слѣпымъ, кто вдохнетъ жизнь и душу въ тѣхъ, кто ушелъ въ вѣчность? Кто вернетъ матерямъ дѣтей, кто вернетъ дѣтямъ отцовъ и братьевъ?.. Кто?.. кто...

— И не введи насъ во искушеніе,—громко и ясно читалъ дежурный.—Но избави насъ отъ лукаваго!..

Всѣ перекрестились и стали молча разбредаться по своимъ комнатамъ, устраиваться на койкахъ, ставить къ стѣнѣ костыли. Погасили и лампы. Среди наступившей тишины и сумрака легко и ласково свѣтился только красный огонекъ лампадки и нѣжнымъ широкимъ кругомъ отражался на стѣнѣ.

Н. Телешовъ.



Е. В. Гольдингеръ. ДѢВУШКА У ОКНА.

СУЗГѢ.

(Сибирское преданіе изъ временъ завоеванія Сибири).

Отрывки изъ поэмы П. П. Ершова,

автора „Конька-Горбунка“.

(† 1869 г.).

СУЗГУНЪ.

На холмѣ Сузгѣ высокомъ
Красовался царскій теремъ
Съ переходами рѣзными,
Со ставнями расписными,
Съ узорочною оградой
И съ перильчатымъ крыльцомъ.
Пихты, лиственницы, ели
Осѣняютъ царскій теремъ;
Надъ ручьемъ бѣлѣетъ пологъ;
Отъ крыльца, къ ручью, по скату,
Вьется легкая дорожка
И теряется въ цвѣтахъ.
По равнинѣ по широкой,
Отъ рѣки до горъ далекихъ,
Ходятъ воины Кучума,
Стерегутъ тотъ теремъ царскій,
Гладятъ бороду сѣдую,
Саблей звонкою стучатъ.
По рѣкѣ гуляетъ судно,
Двадцать веселъ плещутъ воду,

Бѣлый парусъ наготовѣ
Развернуться полной грудью,
Заплескать въ волнахъ кипучихъ.
Судно легкое нести.
  За весной приходитъ лѣто,
Убираетъ всю природу
Въ разноцвѣтную одежду:
Талъ и липу рядитъ въ зелень,
Кустъ шиповника румянитъ,
Разноцвѣтными коврами
Вяжетъ по полю цвѣты.
Вся земля пируетъ лѣто;
Но на всей землѣ Сибирской
Нѣтъ прекраснѣе Сузгуна,
Гдѣ живетъ луна-царица,
Черноглазая Сузгѐ.

СТАРШИНА.

Не въ полуднѣ, не въ полночи
Крикъ орла раздался съ выси,
А вечернею порою
Крикнулъ воинъ на бойницѣ,
Той бойницѣ ли Сузгунской,
Гдѣ синѣется Иртышъ.
То не пчелы вылетаютъ
Изъ улья съ своей царицей,
То татары выбѣгаютъ
Съ старшиной своимъ отважнымъ
На высокія на стѣны
Грозной крѣпости Сузге...
Вотъ являются въ равнинѣ
Люди храбрые, казаки,
Впереди ихъ—воевода.
— «Ай-да крѣпость!»—тихо молвитъ.
— «Ай-да крѣпость!»—повторяютъ
Всѣ казаки про себя.
— «Гой, татары и уланы!»—

Крикнулъ громко воевода.—
«Коль живыми быть хотите,
«Сдайте намъ свою ограду;
«Коль погибнуть вы хотите,
«Не сдавайте намъ ея!»
— «Гой, невѣрный воевода!
«Прежде солнце почернѣетъ,
«Прежде нашъ Иртышъ великій
«Потечетъ назадъ къ истоку,
«Чѣмъ сдадимъ мы вамъ ограду»,—
Такъ со стѣнъ своихъ высокихъ
Отвѣчаетъ старшина.

ОСАДА.

День седьмой уже проходитъ;
Утомилися казаки;
Утомилися татары.
— «Стыдъ—когда, не взявъ, отступимъ!»
— «Стыдъ—когда сдадимъ ограду!»—
Вновь напоръ,—и вновь отпоръ.
Наконецъ, Гроза, съ согласья
Всѣхъ десятниковъ и старшихъ,
Пишетъ грамоту и просьбу
Къ Ермаку, съ такою рѣчью:
— «Двѣ недѣли ужъ проходитъ,
«А мы все еще не можемъ
«Взять Сузгуна на мечи».
. . . .

ПЕРЕГОВОРЫ.

Вдругъ къ нему въ палатку входитъ
Старшина сѣдой татарскій
И, не кланяясь и шапки
Не снимая, атаману

Говоритъ такую рѣчь:
— «Слушай рѣчь моей царицы!
«Наша храбрая царица
«Сдать Сузгунъ тебѣ готова,
«Только если ты исполнишь
«Три условія ея:
«Дать намъ всѣмъ, татарамъ, волю—
«Это первое условье.
«Дать намъ судно переѣхать—
«То условіе второе.
«А послѣднее условье—
«Намъ обиды не чинить».
— «Поздно ты пришелъ съ прошеньемъ!»—
Старшинѣ Гроза промолвилъ,
Радость въ сердцѣ сокрывая:—
«Черезъ день придетъ къ Сузгуну
«Съ силой многою, большою
«Самъ начальникъ нашъ, Ермакъ.
«Онъ безъ всякихъ безъ условій
«Вашъ Сузгунъ возьметъ съ царицей»...
— «Такъ условья отвергаешь?»—
Старшина спросилъ, нахмурясь.
— «Нѣтъ!»—Гроза ему обратно.—
«Я согласенъ ихъ принять.
«Но и вы согласны будьте
«На одно мое условье:
«Пусть всѣ ѣдутъ безопасно,
«Дамъ вамъ волю, дамъ вамъ судно,
«Но пускай царица ваша
«Намъ отдастъ себя въ полонъ».
— «Ты не жди того, невѣрный!»—
Старшина воскликнулъ гнѣвно:—
«Прежде всѣ въ конецъ погибнемъ,
«Чѣмъ мы выдадимъ царицу!»
— «Это будь по волѣ вашей»,—
Говоритъ ему Гроза:—
«Но еще скажу я слово:
«Коль царица согласится
«Намъ отдаться, пусть опустятъ
«Полумѣсяцъ на бойницѣ.

«До зари—никакъ не больше—
«Думу думать вамъ даю.
«Но ужъ если и съ зарею
«Не опустятъ знакъ съ бойницы,—
«Не войду тогда я съ вами
«Ни въ какое примиренье!..»
— «Пусть насъ Богъ теперь разсудитъ!»—
Мрачно молвилъ старшина.

СУЗГЕ́.

Атаманъ Гроза не сводитъ
Глазъ съ высокаго Сузгуна:
И надежда и сомнѣнье
Душу воина колеблютъ.
Солнце клонится на западъ.
Вечеръ... Смотритъ... Спущенъ знакъ:
— «О, Владычица святая!
«О, святой Христовъ угодникъ!
«Знать, казаки вамъ угодны,
«Что желаніе ихъ сердца
«Вы исполнили такъ скоро!»—
Молвилъ весело Гроза.
Той порой Сузге, царица,
Всѣхъ рабынь къ себѣ сзываетъ
И, скрывая грусть весельемъ,
Говоритъ имъ рѣчь такую,
Глядя весело на нихъ:
— «Вы, прислужницы-дѣвицы,
«Отпирайте кладовыя,
«Выносите всѣ наряды,
«Всѣ каменья дорогіе,
«И царицу наряжайте:
«Завтра праздникъ у меня!»
И рабыни отпираютъ
Кладовыя, вынимаютъ
Камни, платья дорогія,
И царицу наряжаютъ,

Косу пышную плетутъ.
Слезы катятся ручьями
У прислужницъ, но ни слова
Тѣ дѣвицы не промолвятъ.
Имъ извѣстно, что царица—
Для свободы ихъ—сдается
Въ плѣнъ начальнику чужому.
Жаль имъ доброй госпожи.
Вотъ окончены наряды,
И прекрасная царица
Всѣхъ прислужницъ ровной долей
Своеручно надѣляетъ;
Раздаетъ имъ всѣмъ богатства
И цѣлуетъ порознь ихъ.
Тутъ зоветъ къ себѣ въ свѣтлицу
Старшину того сѣдого,
Благодарствуетъ за службу,
И велитъ отдать отряду
Всю казну свою большую,
И отъ имени царицы
Благодарствовать велитъ.

ИЗГНАННИКИ.

Встало солнце. Пробудились
И казаки, и татары.
Ясный день для всѣхъ восходитъ,
Льетъ на всѣхъ равно сіянье;
Но не всѣ равно встрѣчаютъ
Солнца краснаго восходъ.
Вотъ Гроза къ стѣнамъ подходитъ
Съ удалой своей дружиной;
Вотъ татары отворяютъ
Неприступныя бойницы
И вослѣдъ за старшиною
Безоружные идутъ.
Мрачно сходятъ внизъ татары,
Озираяся на стѣны

И на крѣпкія бойницы;
Плачутъ царскія дѣвицы,
Обращая взоръ печальный
На оставленный Сузгунъ.
А съ бойницы, той порою,
Скрывъ лицо свое покровомъ,
Одинокая царица
Грустно видитъ отступленье.
Грудь волнуется тоскою,
Но слезы ужъ нѣтъ въ глазахъ.
— «Слушай, храбрый воевода»,—
Старшина сѣдой промолвилъ,
Поровнявшися съ Грозою:—
«Если честь тебѣ извѣстна,
«Ты съ царицею поступишь,
«Какъ приличіе велитъ».
— «Будь спокоенъ, храбрый воинъ!»—
Старшинѣ въ отвѣтъ промолвилъ
Атаманъ Гроза казачій.—
«Наша Русь славна издревле
«Къ роду царскому любовью,
«И въ другихъ его почтитъ».
Вотъ изгнанники проходятъ
Чрезъ широкую равнину;
Вотъ они рѣки достигли;
Вотъ взошли они на судно,
Поклонилися Сузгуну
И исчезли вдалекѣ.
— «Путь счастливый вамъ»,—сказала
Грустно бѣдная царица,
Обвела вокругъ глазами
И, вздохнувши тяжко, тяжко,
Съ неприступной той бойницы
Тихо внизъ она сошла.

ВХОДЪ КАЗАКОВЪ.

Входятъ весело казаки
Въ крѣпость грознаго Сузгуна;

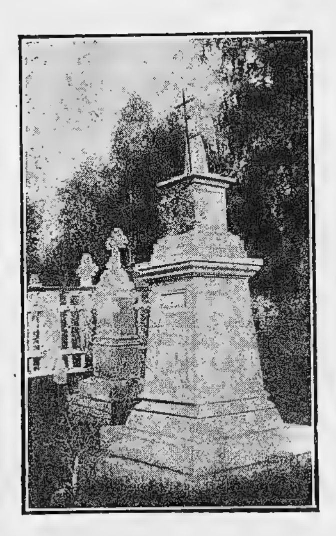
Впереди ихъ воевода,
Атаманъ Гроза, и (———)
Онъ прилежно озираетъ
Покорившійся Сузгунъ.
Вотъ идетъ онъ въ теремъ царскій,
Словомъ ласковымъ привѣтить
Несчастливую царицу,
Но въ палатахъ царскихъ пусто
Онъ обходитъ все строенье,
Но царицы нѣтъ нигдѣ.
— «Гдѣ жъ она?»—Гроза подумалъ,
И большое подозрѣнье
Въ грудь казачую запало.
Злой укоръ въ устахъ тѣснится...
Вдругъ увидѣлъ онъ царицу
И укоръ свой удержалъ.
Подъ навѣсомъ пихтъ душистыхъ,
Прислоняся головою
Къ корню дерева, сидѣла
Одинокая царица.
Вьется вѣтромъ покрывало,
Руки сложены на грудь.
Атаманъ къ Сузге подходитъ,
Шапку ей свою снимаетъ,
Низко кланяяся, молвитъ:
— «Будь спокойна ты, царица!
«Мы казаки, а не звѣри,
«Мы уважимъ царскій санъ.
«Богъ намъ далъ побѣду, (———
«Такъ грѣшно бы намъ и стыдно,
«Благость Бога презирая,
«Обижать тебя, царица.
«Ты о плѣнѣ позабудешь,—
«Слово честное даю!»
Но напрасно воевода
Ждетъ отвѣта отъ царицы.
Изумленъ ея молчаньемъ,
Подошелъ онъ тихо къ ней,
Тихо поднялъ покрывало
И поспѣшно отступилъ.

Матерь Божія! не сонъ ли
Видитъ онъ? Въ лицѣ нѣтъ жизни;
Щеки блѣдностью покрыты,
Льется кровь изъ-подъ одежды,
И въ глазахъ полуоткрытыхъ
Померкаетъ Божій свѣтъ.
— «Что ты сдѣлала, царица?»—
Вскрикнулъ громко воевода,
Кровь рукою зажимая.
Вдругъ царица задрожала,
На Грозу она взглянула...
Это не былъ взоръ отмщенья,
Это былъ послѣдній взоръ!

ОТПЛЫТІЕ.

Подъ наклономъ пихтъ душистыхъ
Собралися всѣ казаки.
И стоятъ они безъ шапокъ;
Два урядника отряда
Насыпаютъ холмъ могильный.
Тишина лежитъ кругомъ.
Вотъ обрядъ печальный конченъ.
Поклонясь сырой могилѣ,
Говоритъ Гроза казакамъ:
— «Гой, товарищи-казаки!
«Здѣсь намъ нѣтъ ужъ больше дѣла,
«Снаряжайтесь на Искеръ!»
. . . .
Ночь спустилася на землю,
Вѣтеръ воетъ по дубравѣ,
Гонитъ тучи дождевыя,
И Иртышъ о крутъ утеса
Плещетъ звонкою волной.
Распустивъ свои вѣтрила,
Ѣдутъ добрые казаки.
Льется пѣсня ихъ живая—
Что про матушку про Волгу,

Что про Донъ, ихъ Донъ родимый,
Что про славу казака!
А вдали, крутясь волнами,
Блещетъ пламя надъ Сузгуномъ,
На стѣнахъ его высокихъ,
На крутыхъ его бойницахъ;
Рдѣетъ небо полуночи,
Блещутъ волны Иртыша.



Памятникъ П. П. Ершову въ Тобольскѣ.

Ковальчукъ.

Тихо грѣется въ весеннемъ солнцѣ подернутый перламутровой дымкой островокъ Капри. Какъ легкая ложечка, крытая цвѣтной эмалью, лежитъ онъ у голубого блюдечка—Неаполитанскаго залива. Прямикомъ до него недалеко, но пароходъ нашъ идетъ отъ Неаполя уже второй часъ. На пристаняхъ побережья толпится народъ, свистятъ, машутъ намъ шляпами. А мы, оставляя за собой молочно-зеленый слѣдъ, идемъ дальше, лишь на минуту задерживаясь для пріема новыхъ спутниковъ.

Вотъ качнуло сильнѣй: это вѣтеръ съ открытаго моря. И сразу Капри сталъ яснѣй, отчетливѣй. Какъ шоколадныя выступили каменистыя горы съ зубчатымъ гребешкомъ пиній по верхушкамъ. Словно маковыя зернышки запестрѣли въ ложбинкѣ острова дома. Пароходъ далъ гудокъ и горное эхо передразнило его. Загремѣла цѣпь, у кормы зашныряли лодки. Сверху изъ города поползъ вагончикъ фуникулера, прячась въ зелени садовъ, и навстрѣчу ему выползъ, какъ божья коровка, другой, такой же игрушечный.

Вотъ ужъ мы въ лодкѣ. Лодка скользитъ безшумно. Море и небо смотрятъ другъ на друга голубыми очами и чье око голубѣе, — не скажешь. Бродятъ по небу легкія облака, а въ водѣ, словно отраженія ихъ, — цвѣтистыя медузы.

На берегу шумно. Бросаю въ кружку два мѣдяка за перевозъ и вотъ я на Капри.

Звонко пощелкиваетъ бичомъ мой возница. Бойко труситъ лошаденка, украшенная длиннымъ перомъ съ красными кистями. Дорога вьется все въ гору, выше и выше, между стѣнами садовъ. Розовымъ подвѣнечнымъ уборомъ закутала земля своихъ невѣстъ—весеннія деревья. Стоятъ они робко и стыдливо лепечутъ, улыбаясь жениху-солнцу. Сладкій запахъ дрока, смѣшавшись съ солоноватымъ вѣтромъ моря, пьянитъ мнѣ голову.

Я проѣзжаю весь островъ поперекъ: старый другъ Винченцо оставилъ мнѣ комнату въ своемъ домѣ у самаго моря. Радостная, хорошая встрѣча: мы долго жмемъ другъ другу руки, улыбаемся, сами не зная чему.

Нетерпится. Наскоро одѣвшись, подымаюсь по каменистой, заросшей травами, лѣстницѣ въ городъ: тамъ вечерними часами отрадно смотрѣть на умирающій въ заливѣ закатъ, на фіолетовыя тѣни моря.

Маленькая площадь, игрушечная, такая старая-старая на ней башня съ дряхлыми, словно кашляющими, часами. Грязненькій, но милый мнѣ ресторанчикъ. Я сижу одинъ на открытой верандѣ и слушаю, какъ замираютъ дневные шумы. Каждую четверть бьютъ часы на башнѣ. Несется мягкій, ласковый бой, таетъ въ вечерѣющемъ воздухѣ и путается гдѣ-то внизу, погружаясь въ море. Сквозь синюю дымку морского тумана блестящимъ ожерельемъ горятъ огни Неаполя. Подмигивая, выглядываетъ бойкій глазокъ маяка: глянетъ и снова прищуритъ свой огненный зрачокъ. Скользитъ надъ водой что-то бѣлое: лодка ли, чайка ли, кто разберетъ? Сдвигаются горы ближе, становятся ласковѣй и заглядываютъ на маленькій городишко, прилѣпившійся у подножія ихъ. Смолкаетъ уличный шумъ, зато слышенъ теперь еле внятный рокотъ моря.

Бронзовый, курчавый, похожій больше на мавра, съ широкой, добродушной улыбкой подходитъ хозяинъ ресторанчика и, боясь спугнуть тишину, слегка дотрагивается до моего плеча.

— Не хочетъ ли, синьоръ, покушать, или вина?

Я заказываю макароны съ vongoli, — маленькими, морскими ракушками, — и пока хозяйка, истая итальянка въ большихъ дутыхъ серьгахъ, черноокая, готовитъ любимое блюдо, мы пьемъ съ падроне по стакану душистаго вина, какъ добрые, старые друзья.

Всходитъ луна за горой и серебритъ гребень ея, украшенный темной стѣной неподвижныхъ, раскидистыхъ пиній.

Кто-то отчетливо выстукиваетъ каблуками по каменному полу террасы. Это единственная прислуга ресторанчика—хмурый, съ черными, опущенными внизъ усами, человѣкъ. Онъ не смотритъ въ глаза и глубокая складка лежитъ между сросшимися бровями. Что-то знакомое чудится мнѣ въ его лицѣ,



В. Д. Полѣновъ.

Островъ Мармара.

но я не успѣваю разсмотрѣть: онъ ставитъ огонь и также неуклюже уходитъ.

Отъ Неаполя, слегка забирая вправо, движется по морю какая-то громада, обрисованная по контурамъ рядомъ огней. Это океанскій пароходъ держитъ курсъ на Америку, переполненный итальянской бѣднотой, чающей богатой, вольной жизни Санъ-Франциско.

Опять шаги. Тотъ же человѣкъ несетъ дымящуюся тарелку макаронъ. Онъ хочетъ поставить ее, но спотыкается о чугунную ножку стола и часть макаронъ падаетъ прямо на скатерть, пятная ее краснымъ соусомъ. Я вижу, какъ смущенъ онъ, но не могу удержаться и, забывая, что въ Италіи, со смѣхомъ говорю:

— Ловко, братъ!

Человѣкъ удивленно, почти испуганно, вскидываетъ на меня глаза и вдругъ густо, до корней волосъ, краснѣетъ.

— Извините, господинъ, — бормочетъ онъ, подбирая со скатерти. — Я не зналъ, что вы русскій.

— И вы тоже русскій? — удивляюсь я. Такъ вотъ почему знакомымъ показалось мнѣ лицо его.

— Да, я тоже съ Рассеи...—и уже не такъ глубока складка между бровями и глаза останавливаются на мнѣ внимательнѣе, ласковѣй.

— Такъ, такъ...—говорю я, не зная, что сказать и вижу,— не хочется ему уходить, словно нужда какая есть во мнѣ.

— Вы давно изъ Рассеи?—подавляя вздохъ, спрашиваетъ онъ.

— Да прямо изъ Москвы и сюда... дней 5...

— Дней пять, а я вотъ ужъ седьмой годъ...

Я снова всматриваюсь въ его лицо. Какъ попалъ сюда этотъ простой, рабочій съ виду, человѣкъ, съ грубыми мозолистыми руками?

— Вы... зачѣмъ же здѣсь? — нерѣшительно спрашиваю я у новаго знакомца.

— Я, господинъ,—эмигрантъ... Политическій...

И опять странны мнѣ его слова: такъ не вяжутся они со всей его простоватой, нескладной фигурой. Исковерканная, забитая жизнь чудится мнѣ и хочется разспросить, дать наговориться, выплакаться одичавшему отъ безмолвія и тоски человѣку, утѣшить, согрѣть его хоть теплымъ словомъ. И,

должно-быть, голосъ мой звучитъ мягче, когда я приглашаю къ себѣ, на берегъ моря, своего знакомца.

— Хорошо, господинъ,—довѣрчиво отзывается онъ, — безпремѣнно буду, ежели не брезгуете мной. Только я въ прислугахъ... и къ ночи можно мнѣ, послѣ 10. Полагаю, не помѣшать бы вамъ почивать.

— Ничего, ничего, голубчикъ... Здѣсь ночи лучше дня, все равно не уснешь... Такъ до завтра?—протягиваю я руку.

— Слушаю-съ... Очень вамъ благодаренъ, потому...

Онъ махнулъ рукой, не найдя подходящаго слова, и вышелъ.

Городъ заснулъ. Только неугасимая лампада передъ Мадонной смотрѣла съ выступа горы да луна серебрила море и навѣвала сладкую дрему.

Тихо нѣжится море подъ лаской весенняго солнца. Утро, а уже высохли росинки, ночевавшія въ чашечкахъ золотистаго дрока. Пышутъ тепломъ прибрежные камни. Шныряютъ шустрыя ящерицы, выползая изъ расщелинъ, начерченныхъ разрывъ-травой. Расправляютъ коронки анемоны, подставляя лучамъ свое блѣдное лицо. Воздухъ весенній, густой, пресыщенный ароматомъ цвѣтовъ и острымъ запахомъ водорослей. Я сижу у себя на террасѣ. Близко, почти подъ ногами, вспыхиваетъ легкій шумъ моря. Набѣгаетъ на песокъ прозрачная, игривая волна, ослабнетъ, занѣжится и разсыплется звонкой пѣной. Обнимется съ береговыми камнями, нашепчетъ, нашуршитъ имъ что-то и растаетъ. А море лѣниво шлетъ за ней другую, третью и такъ безъ конца, безъ устали цѣлыми днями.

Послѣ долгой россійской зимы я грѣюсь на солнцѣ: сижу неподвижно, безъ мыслей и только шаловливая волна нѣтъ-нѣтъ и вспугнетъ мой покой. Такъ можно просидѣть не день, и не два, а долго, цѣлую вѣчность и не устанутъ глаза смотрѣть, не утомятся уши слушать шорохи весны, буйно охватившей лазоревый островокъ.

Послѣ полудня я ѣду на лодкѣ со своимъ хозяиномъ и его жена, молодая, вѣчно беременная, женщина, заботливо укладываетъ для насъ кусокъ бѣлаго, овечьяго сыра и неизмѣнное capri rosso. Сквозь голубую, прозрачную воду видно цвѣтистое морское дно. Качаются, словно колечко дыма, студенистыя медузы, задорно пятятся пучеглазые крабы и камни, какъ жи-

вые, слегка шевелятся подъ водой, опутанные длиннолапыми водорослями. Какъ въ сказкѣ переливаются солнечные блики въ безконечныхъ гротахъ. Кажется, танцуетъ какой-то неутомимый хороводъ маленькихъ морскихъ существъ радостный, многоцвѣтный танецъ серпантинъ. Сладостная истома охватываетъ тѣло и я лежу на днѣ лодки. Надо мной въ синевѣ неба каменистыми столбами высятся, изъѣденныя соленымъ, знойнымъ сирокко, скалы. Перекликаются двѣ морскихъ чайки, выдѣляясь на темномъ камнѣ ослѣпительно-бѣлымъ пятномъ.

Вотъ и опять дома. Съ жадностью набрасываешься на обѣдъ: неизмѣнныя макароны, жареныя сардины, сыръ, вино, апельсины.

И ужъ куда-то мелькнулъ день, — весенній, золотистый. Пепельно-сѣрыми складками бороздятся горы. Ползетъ надъ моремъ краснѣющее солнце и опускается все ниже и ниже. Склонилось къ самой водѣ, огромное, багровое, а сверху прикрыла его полоса набѣжавшей тучки. Какъ золотая, расплавленная лодка виднѣется оно надъ горизонтомъ и навѣваетъ воспоминанія о старомъ, о прошломъ, о быстро бѣгущихъ корабляхъ хитроумнаго Одиссея, чуть не погибшаго отъ сладкозвучнаго пѣнія Капрійскихъ сиренъ. И о многомъ, многомъ вспоминается въ этотъ прощальный, вечерній часъ.

Послѣ заката сердитѣй море. Съ шумомъ наскакиваетъ на торчащіе изъ воды прибрежные камни, омываетъ ихъ, какъ лысую голову, и пускаетъ кругомъ молочно-зеленую пѣну. Но коротокъ морской гнѣвъ. Загорѣлась вечерняя звѣзда и пріумолкло море, закуталось на ночь въ прозрачную фату тумана. Свѣжѣй воздухъ, свѣжѣй голова и думы, стройныя и ясныя, плавно смѣняютъ одна другую. И понимаю я, отчего стекается сюда такъ много сыновъ моей суровой родины. Изъ хаотической, подчасъ кровавой груды впечатлѣній и мыслей, захваченныхъ съ родныхъ просторовъ, строятъ они нерукотворный памятникъ не-ласковой матери-Россіи, ожившіе, обогрѣтые на чужой сторонѣ.

Было уже около 11, когда мы съ новымъ знакомцемъ сидѣли въ моей комнатѣ за чаемъ. Робкій, сконфуженный, онъ осторожно бралъ блюдце обѣими руками и съ нескрываемымъ удовольствіемъ пилъ. Откусывая мелкіе кусочки сахара, онъ чему-то улыбался молча, но пробѣгала легкая тѣнь по лицу

и стирала улыбку. Я не мѣшалъ ему, изрѣдка задавая вопросы. Была открыта дверь на террасу, и живымъ, неслышнымъ казалось притаившееся море. На острыхъ, словно изъѣденныхъ червями, камняхъ звонко пѣла вода, сливаясь въ далекую еле уловимую слухомъ музыку. Понемногу мой гость сталъ разговорчивѣй, словно родной чай отогрѣлъ его. Низкимъ, глуховатымъ голосомъ говорилъ онъ медленно, подыскивая слова, стараясь выражаться изысканнѣй.

— Конечно, господинъ, я человѣкъ необразованный,—сказалъ онъ, опрокидывая чашку вверхъ дномъ, по-россійски,— а вы всю науку прошли. И чувствительно я вамъ благодаренъ, что не побрезговали моимъ разговоромъ и даже вотъ чайкомъ изволите угощать... И по-родному, по-русскому тоже говорить не часто доводилось: кто насъ здѣсь понять можетъ? — Онъ тяжело вздохнулъ. — Да, жизнь человѣческая трудное дѣло, притомъ же совершенно измѣнчивое. Вотъ хоть бы я, къ примѣру. Вчера, какъ подавалъ я вамъ кушать и спотыкнулся, ну, думаю, наплевать: все едино, онъ итальянецъ, — это про васъ-то, а я человѣкъ русскій... намъ не ребятъ крестить, — обойдется... А какъ услыхалъ я родимую рѣчь, повѣрьте слову, господинъ, такъ мнѣ стыдно стало! Вотъ, думаю, привелъ Господь земляка увидѣть, а я передъ нимъ какъ себя объявилъ... Да, — помолчавши, какъ бы про себя, замѣтилъ онъ,—тяжело на чужой сторонѣ русскому человѣку. И къ тому же безпричинно, можно сказать, время здѣсь проводишь, безо всякой надобности. А вѣдь дома — супруга, двое дѣтишекъ... тоже пить-ѣсть хотятъ. Это помнить безпрестанно надо...

Онъ смолкъ, захваченный воспоминаніями. Молчалъ и я, зналъ: все равно теперь уже откроетъ мнѣ свою душу этотъ заброшенный, оторванный отъ родныхъ мѣстъ и семьи, человѣкъ и наплачется, пожалуется на свою судьбу. И правда, оправившись, онъ продолжалъ:

— Полагаю, непонятно вамъ, какъ я въ здѣшнихъ мѣстахъ очутился. Исторія, господинъ, очень моя прискорбная и даже несчастная. Такъ что часто самъ себѣ не вѣришь: въ дѣйствительности ли я это — Ковальчукъ? а то, можетъ, тяжкое сновидѣніе? Щипнешь себя: больно. Видимо, не сновидѣніе, а самая что ни на есть взаправдешняя жизнь... Только, знаете ли, хуже собачьей. У собаки дворовой конура и тоже, можно

сказать, семейство... А я вотъ, какъ чумной: все какъ у иныхъ прочихъ, а подходить не моги. Насъ тутъ эмигрантами прозываютъ. Ну, это, по моему разсужденію, хуже волчьяго билета. Такъ вотъ,— попалъ сюда и въ родѣ какъ не человѣкъ.— Ковальчукъ нервно поднялся изъ-за стола.— Вы меня, господинъ, извините... разговорился я и самъ себя разстроилъ. Вамъ, полагаю, чудно: мужчина крѣпкаго тѣла, а такая слабая чувствительность... Заграница не свой братъ, даже вовсе ничего не-стоющими людьми многихъ оборотила. Да оно и правда: голодъ да тоска хорошаго не произведутъ. Ну, вотъ... Я, знаете, все путаюсь: непривычное дѣло разговоры, да къ тому же про очень тяжелое говорить приводится. Какъ я попалъ сюда? Это очень даже странно и хитро объяснить вамъ. Начать спервоначалу, слесаремъ я былъ на заводѣ. Конечно, жена, двое дѣтишекъ, дѣвочки только обѣ... надо бы мнѣ мальчика, ну, да благодарю Бога: очень сообразительныя, ласковыя дѣвочки. Я сызмальства день денской на работѣ, жена по хозяйству, и ничего,— жили не хуже другихъ прочихъ. Я свою линію знаю положительно: коли ты рабочій человѣкъ, отъ работы не бѣгай. Такъ и шло все потихоньку да по-хорошему. Тутъ случились, сами знаете, забастовки... повсемѣстно... Конечно, и насъ достигнуло... Я отъ улучшенія жизни, господинъ, не открещиваюсь и между прочимъ полагаю,—нѣтъ на свѣтѣ человѣка, чтобъ добра себѣ не шукалъ. И я, какъ прочіе всѣ, въ груди своей содержалъ насчетъ улучшенія жизни... только на людяхъ-то языкъ не распускалъ. Кто его знаетъ, что выйдетъ, а у меня жена, два рта малолѣтнихъ,— имъ вынь да положь. Конечно, съ женой промежъ насъ случалось себя высказать. Ну, и она, женщина разсуждающая, тоже съ опаской: „Повремени, говоритъ, Ѳома, спервоначалу узнай, что къ чему и какъ“. А тѣмъ временемъ на заводѣ и совсѣмъ неспокойно стало, и уже многихъ похватали. Между прочимъ свата моего жандармы съ работъ сняли и въ городъ. Это мнѣ, господинъ, было очень тяжело, потому сватъ въ моей хатѣ все одно, что свой. Ну, говорю, жена, помогай Господь, къ намъ бы не подкатилось. И держу, знаете, себя очень насторожившись, потому семейство, что подѣлаешь! Только, какъ сейчасъ помню, въ среду подъ вечеръ было это. Иду, значитъ, съ работъ... отъ завода у насъ версты полторы: вижу, бѣжитъ навстрѣчу еврей знакомый... бѣжитъ и руками

машетъ. „Бѣда, говоритъ, г. Ковальчукъ, у васъ: господа жандармы въ вашей хатѣ“. Вотъ по сей часъ, понимаете, ноги трясутся, какъ вспомнишь все. Сталъ, какъ баранъ, слова сказать не могу. „Ну, что же вы, господинъ Ковальчукъ, думаете дѣлать?“ еврей спрашиваетъ. А что я думаю? У меня въ головѣ въ ту пору такой разгромъ пошелъ, что спроси меня, какъ мать, отца звали, не сказалъ бы, полагаю. Только и кружится: пропалъ, братъ, безотлагательно! И откуда это, господинъ, такая слабость въ человѣкѣ?

Отъ выпитаго ли чая, или отъ напряженной мысли, лицо Ковальчука покраснѣло. Небольшіе, черные глаза какъ-то удивленно мигали. Плоскіе, сухіе волосы торчали жесткой щетиной.

Мы вышли на террасу. Серебряной сказкой убаюкала луна и горы и море. Опускались къ водѣ скалы каменистыми уступами, какъ исполинская застывшая лѣстница. Казалось, кто-то могучій и необъятный въ давнее, старое время спускался съ верхушекъ горъ къ морю и оставилъ за собой четкія ступени. А внизу, у самой воды, чернѣлъ небольшой выступъ, подобный каменному колѣнопреклоненному монаху, замершему въ благоговѣйномъ ужасѣ навѣки. Слѣва двумя красными огнями, какъ глазами, мигала восточная гора. Стучали весла, перекликались голоса рыбаковъ, собравшихся на ночной ловъ. Въ проливѣ тянулся освѣщенный пароходъ и куда-то манилъ, звалъ за собою.

Ковальчукъ сѣлъ на перила террасы. Плохо видно было его лицо, только глухой, однообразный голосъ разматывалъ передо мной петли внезапно спутавшейся жизни.

— Не вернулся я въ ту пору до хаты. Свезъ меня еврейчикъ до станціи, а оттуда по чугункѣ прямо къ брату, тоже рабочій человѣкъ, въ Одессу. И такъ я, господинъ, себя напугалъ, что самому себѣ опаснымъ человѣкомъ показался. И что брату насказалъ, — не помню. Знаю только, деньги гдѣ-то собирали... а потомъ ужъ въ трюмѣ пришелъ въ себя, на итальянскомъ пароходѣ. Вотъ горько какъ было, когда отъ родимаго берега отвалили. Эхъ, думаю, дѣточки, простите ужъ отца своего! Такъ, видно, на роду намъ написано... Не стану таиться: много я въ ту пору наплакался. Ѣхали-ѣхали, пересадили меня гдѣ-то на другой пароходъ. Немножко полегче стало: выпустили изъ трюма. Поваръ тамъ у нихъ малость по-русски мараковалъ. Вотъ и прилипъ я къ нему, ну, прямо

дороже брата сталъ, несмотря, что итальянецъ. Возили-возили,—пора высаживать, капитанъ разрѣшенія больше не даетъ. Да и вѣрно: излишній я человѣкъ въ ихнемъ дѣлѣ. Вылѣзъ я въ городѣ Монтевидеѣ. Господи, что дѣлать? Пристроилъ меня поваръ въ прачечную, самъ уѣхалъ. И попала мнѣ работа, прямо сказать, для мужского пола обидная, день денской утюги грѣю. Жарища, печь, знаете, прямо въ лицо... а жалованье только-что на хлѣбъ. И къ тому же женщины, извините, ихнія совсѣмъ даже распущенный народъ. Городъ, конечно, хорошій, со всякими удобствами, а примѣрно, къ чему мнѣ это? Милѣй родной хаты не сыщешь. Да и въ правду сказать, господинъ, седьмой я годъ въ заграницѣ, а привычки къ ней, можно сказать, никакой. Ну, видимое дѣло, чище люди насъ живутъ, состоятельнѣе, не однимъ горбомъ, а и лбомъ себѣ дорогу пробиваютъ, — правильно. Только что жъ я-то тутъ? Это все одно, что въ трактирѣ хорошемъ: тепло, убранство очень даже шикарное, а вѣдь все же, однако, не свой домъ, тамъ хоть и похуже, погрязнѣе, зато сердцу милѣй. Вотъ и въ Монтевидеѣ оказался я какъ на тычкѣ. Кромѣ прочаго, заболѣлъ отъ жару глазами: слеза, покраснѣніе и видно становится неясно. А потомъ и вообще недомоганіе, прямо сказать, ослабъ весь. Къ тому же однажды, вслѣдствіе болѣзни глазъ, не доглядѣлъ я и прожегъ утюгомъ хусточку женскую. А хозяинъ со мной наподобіе скота... выгналъ безъ уплаты, да еще кулакомъ раза далъ подъ самую печонку... знаете, боксомъ. Тутъ меня и въ больницу доставили. Что жъ, жаловаться? кому, когда слова по-ихнему не смыслишь. Три мѣсяца я такъ промаялся. Вернулся какъ мой знакомецъ, поваръ, взмолился ему: вывези, нѣту моихъ возможностей здѣсь. — Ковальчукъ порылся въ карманахъ и закурилъ. Вспыхивала папироса, освѣщая толстые, обвисшіе усы и кусочекъ носа. Тихо замирая, донесся звонъ башенныхъ часовъ.—Послушайте-ка, господинъ, звонъ здѣсь какой тоскливый... — задумчиво произнесъ Ковальчукъ.—А по вечерамъ, какъ солнце садится, на церквахъ и еще трогательнѣй. Они вотъ звонятъ, а у меня сердце обмираетъ: у насъ-то, думаю, дома-то... на праздникъ или на Свѣтлое Христово Воскресенье... гудитъ кругомъ, душа съ радости трепыхается. Жена хату чиститъ, ребятишекъ моетъ, одѣваетъ. Лампада въ углу теплится. Дѣвчурочка у меня—Катюша... Взберется, бывало, на колѣни, об-

хватитъ меня ручонками, а сама все смотритъ и смотритъ на лампадку, чудно даже станетъ. „Это въ уголочкѣ Боженька?“ спрашиваетъ. Боженька, молъ, Катюша. „А Онъ сердитый?“— Сердитый, только милостивый. „И хорошій?“—Хорошій, дѣточка. И цѣлуетъ, цѣлуетъ она меня...

Ковальчукъ какъ-то странно хмыкнулъ и дѣланно закашлялся. Я чувствовалъ, что онъ плачетъ. Стало жалко до слезъ разбитой его немудреной жизни! И какъ-то стыдно стало за красоту весенней, теплой ночи, за бархатистый, искрящійся небесный сводъ. Неслышно плакалъ Ковальчукъ, а мнѣ казалось, вижу я, какъ мечутся внѣ родины безчисленные родимые Ковальчуки, безсловесные, недоумѣнные, непристроенные... Мечутся и не находятъ выхода, и гибнутъ никѣмъ не примѣченные, унося съ собой въ могилы неизбывную любовь къ своей мачехѣ-родинѣ. И почти не слушалъ я, какъ разсказывалъ дальше Ковальчукъ о Тріестѣ, о вѣнскомъ лазаретѣ, о какихъ-то другихъ городахъ, названіе которыхъ съ трудомъ выговаривалъ онъ. Думалось: да полно, здѣсь ли только, на чужой сторонѣ мечется это смѣшное, непонятное постороннимъ племя Ковальчуковъ? А тамъ, въ необъятныхъ просторахъ родины не они ли наполняютъ тюрьмы и остроги, гиблыя сибирскія тундры, загнанные туда съ благодатныхъ, теплыхъ окраинъ моего отечества, съ черноземныхъ, широкихъ равнинъ средней Россіи? Бѣдные Ковальчуки, кто пожалѣетъ васъ, кто пойметъ вашу непонятную и самимъ вамъ скорбь и тоску, кто наплачется вдоволь надъ вашимъ горемъ, кто, бѣдные мои родичи, кто?

Зашла за гору луна, гуще потемнѣло небо, погасли на горѣ огни.

А Ковальчукъ уже оправился и просто и спокойно разсказываетъ дальше свою печальную повѣсть.

— Страшно мнѣ, господинъ, въ Римѣ стало. Въ карманѣ пять лиръ, а впереди ничего. Плохо жилось, даже по сей часъ вспомнить жутко. Запало, было, въ мысли: не прекратить ли подобную несчастную жизнь? Да все, какъ про дѣтишекъ вспомнишь, словно что за руку и попридержитъ. А тянуло, прямо скажу, даже очень сильно. Къ тому же на людяхъ не могъ я находиться: обидно какъ-то,—такое множество народа, а выплакаться некому. По этой причинѣ старался больше въ уединеніи. Съ тѣхъ поръ къ кладбищамъ склонность почув-

ствовалъ: тихо такъ, посторонній глазъ не видитъ, надъ горемъ моимъ не надсмѣется. Хожу я какъ-то по кладбищу и вдругъ могилку русскую увидалъ: покоится тѣло инока, архимандрита Пафнутія. Господи, какъ обрадовался-то! Мертвый, думаю, а все же свой. Оглянулся по сторонамъ и повалился ему земнымъ поклономъ. Повѣрьте, господинъ, не запомню, когда еще такъ плакалъ. Плачу и плачу и самъ не знаю о чемъ, а только легче, какъ будто, стало. Вотъ съ того дня и повадился къ своему покровителю жалобы свои приносить. Такъ что въ родѣ не совсѣмъ умомъ сталъ... Разговариваю съ нимъ и сдается мнѣ: слышитъ онъ и поведеніе мое понимаетъ.

По короткомъ времени деньги мои совсѣмъ истаяли. Второй день не кушаю. Въ головѣ что-то совсѣмъ непонятное, и къ тому же пристанища нѣтъ: согнали. На третій день поплелся на могилу. И все мнѣ что-то блазнитъ, кричитъ будто кто: „господинъ Ковальчукъ, господинъ Ковальчукъ", и голосъ какъ бы еврея нашего. Оглянешься,—никого. Страхъ на меня напалъ, бросился я бѣжать. Дай, думаю, на могилку поскорѣе, авось тамъ прекратитъ. Прибѣжалъ, ничкомъ повалился, за крестъ цѣпляюсь. „Милый, отецъ... дѣдушка родимый, хоть ты помоги, заступись... Ради дѣтей моихъ... вѣдь лучшѣе всѣхъ я для нихъ"... И только, господинъ, сталъ я утихать, слышу дергаетъ кто-то меня за плечо. Смотрю,— человѣкъ, по всей видимости баринъ, и труба у него какая-то подъ мышкой. „Что братикъ робитъ?" спрашиваетъ меня. И сдается мнѣ, не совсѣмъ какъ будто онъ русскій: чудно такъ выговариваетъ, однако понять все можно. Братушка съ Болгаріи послѣ оказался; въ нашей Одессѣ проживалъ. Ну, то се, разсказалъ я ему про себя. „Такъ братикъ ѣсть хочетъ?" спрашиваетъ опять. А мнѣ совѣстно, что три дня не кушалъ. Это очень гордость въ такія поры заѣдаетъ. Все же накормилъ меня, напоилъ. Авось, думаю, теперь выправлюсь.

— Посмотрите-ка, господинъ, — другимъ вовсе голосомъ обратился ко мнѣ Ковальчукъ: — хоть и чужая сторона, а очень даже красиво...

Онъ указалъ на море.

Изъ-за мыса въ тихую заводь выплывали рыбацкія лодки съ глазастыми, немигающими фонарями и неслышно окружали подводные камни. Горѣли на носу огни, пятная сонное море голубыми, доходящими до дна, столбами свѣта. Какъ тонкія

щупальца, проникали въ морскую глубину лучи, шарили, ощупывали обмотанные водорослями камни и слѣпили подводное царство. Плескалось слегка море, серебромъ капала вода съ веселъ, недвижно стояли, какъ статуи, освѣщенные до половины рыбаки. Изъ стороны въ сторону поворачивался голубой глазъ лодки, отталкивалъ темноту, а она, словно сердясь и негодуя, плотнѣй заволакивала черным покрываломъ горы, кусты, дома. Не хотѣлось отрывать глазъ отъ ласкающей шелковой синевы, отъ бархатистой, густой тьмы. Но Ковальчукъ скоро спугнулъ ночную сказку:

— Жилъ я съ этимъ человѣкомъ. Знаете, есть въ Римѣ страннопріимный домъ славянскій. Далъ мнѣ братикъ адреса; много, конечно, въ Римѣ нашего состоятельнаго народа живетъ, даже изъ высокихъ княжескихъ особъ. Далъ адреса и научилъ, какъ что. А деньги, говоритъ, пополамъ, ежели клюнетъ, потому я самъ фамиліи благородной и честь къ тому же дворянская не позволяетъ по домамъ ходить. Тяжело мнѣ, господинъ, спервоначалу было... Человѣкъ я трудовой, рабочій, а вотъ, можно сказать, за милостыней ходить пришлось. Только тогда ужъ я въ головѣ содержалъ: авось, на родину возвратъ устроить можно; говорили, что за хорошія деньги есть возможность паспортъ охлопотать. А братикъ мнѣ исторію жалостную сочинилъ, чтобы, значитъ, чувствительнѣй выходило. Конечно, кушать всякому хочется,—ходилъ. И давали спервоначалу, даже оченъ порядочно. А братикъ денежки чистаганомъ забиралъ, только поилъ, кормилъ меня. Ну, ничего, живемъ такъ мѣсяца три. Только обошелъ я всѣ дома, куда можно было, а денегъ опять нѣтъ, совсѣмъ безъ ничего. Братикъ говоритъ: „Начинай сначала"... Тутъ я, знаете, господинъ, призадумался: это, пожалуй, въ дѣйствительности пропащимъ человѣкомъ сдѣлаешься, да къ тому же выходитъ, примѣрно, на другого работаю, а самому, кромѣ пропитанія, одно безчестье остается. Ладно, про себя думаю, схожу еще разъ: дадутъ денегъ,—сейчасъ отъ братушки долой: неладный онъ человѣкъ какой-то... Былъ тамъ господинъ хорошій одинъ, въ газетахъ, что ли, писалъ... нашъ тоже... Сдѣлалъ онъ мнѣ сожалѣніе: выноситъ пять лиръ, а самъ изъ-подъ очковъ такъ неодобрительно смотритъ. „Вы, говоритъ, болгарина такого-то знаете?" и фамилію его называетъ. Неловко мнѣ стало оболгать, а понимаю, не надо бы признаваться. Знаю, молъ... вмѣ-

стѣ живемъ. „Такъ вотъ что, говоритъ, господинъ хорошій: кто вы, я не знаю, а пріятель вашъ первѣйшій попрошайка и негодяй. Поняли? И больше чтобъ ко мнѣ не являться"... Обозлился я тогда и на этого господина и на братушку моего. Ахъ, думаю, дрянь, извините за слово, въ какое меня дѣло грязное всадилъ! „Досталъ?" дома тотъ спрашиваетъ. Нѣтъ, молъ, не досталъ и доставать не хочу... буде, самъ попробуй! „Какъ, говоритъ, хамъ, ты можешь такъ со мной разговаривать?" Отъ обиды, господинъ, въ глазахъ у меня потемнѣло: чуть не придушилъ проклятаго...

Гудитъ Ковальчукъ сѣрыя, безцвѣтныя слова, тяжелыя и тоскливыя, какъ осеннее небо его родины. А съ моря несется, смягченная туманомъ, рыбацкая пѣсня, и тихая печаль по несбыточной любви слышится въ ней. Бьется о берегъ говорливая волна, вторитъ ей, переливаясь, пѣсня и обѣ онѣ, пѣвучія дочери моря, сплетаются, дополняютъ другъ друга и таютъ, какъ легкая пѣна на прибрежномъ пескѣ. Ковальчуку не до нихъ; онъ сидитъ спиной къ морю, неподвижный, угрюмый, отвернувшись отъ него, словно отъ заклятаго врага.

— Очень меня, господинъ, на первое время море соблазняло. Сейчасъ вотъ смотрю я на него и безынтересно вовсе, даже, прямо сказать, противно. Къ примѣру, наши степи куда лучше. Выйдешь, бывало, подъ вечеръ за околицу. Солнце за землю садится, а по степи какъ красный вѣтеръ по-надъ травой. Птицы всяческой, звѣрья кругомъ. А у меня, господинъ, скучно: твердости въ тебѣ нѣту и ужъ очень непримѣтнымъ самъ себѣ кажешься. А человѣку въ бѣдственномъ положеніи и безъ того туго... Ну, а тогда, спервоначалу, хорошо казалось.

Жилъ я тоже въ Неаполѣ съ русскимъ однимъ. На скрипкѣ очень великолѣпно игралъ. Играетъ, а самъ плачетъ и каждый, почитай, день пьянъ. Играетъ и плачетъ. И въ дѣйствительности, господинъ, можно заплакать было. Онъ плачетъ и я не отстаю. А итальянки, жены его... двѣ ихъ было: такъ, непутевый народъ, почитай, такъ втроемъ всѣ на одной кровати и спали... тѣмъ смѣшно. И скандалъ всякій день... Трудно мнѣ съ ними приходилось... Женщина одна изъ нихъ молодая, очень даже лицомъ пріятная и такъ со мной вольно начала обращаться... А я, господинъ, хотя человѣкъ женатый, а молодой и всяческія такія замашки съ женской стороны много мнѣ непріятностей предоставили. Сны, знаете, такіе

снятся неудобные... И почему-то въ голову все входитъ, что не соблюдаетъ жена моя супружеской вѣрности. Ушелъ я отъ нихъ. И началось тутъ Богъ вѣсть что. Спалъ, гдѣ попадя, кушать окромя винограду, а то и вовсе безъ ничего. Послѣ узналъ штуку: стоишь, бывало, день денской въ морѣ и шаришь ногой, нѣтъ ли морского ежика. Только много ли въ немъ съѣдобнаго: такъ, слизь одна и даже очень противная. А когда море въ безпокойствіи, ну, и съѣлъ бы ежика, да никакихъ возможностей съ моремъ нѣтъ. Вотъ тогда-то и понялъ я, что море злѣющій въ дѣйствительности врагъ человѣка.

Чего только не было! По помойкамъ, господинъ, доводилось лазать. Какъ стемнѣетъ, крадешься, авось пожива сыщется: сыру кусочекъ, либо косточку пососать. Очень спервоначалу обидно и тошно, извините, было. Какъ собака, думаешь... Сильно я тогда съ тѣла спалъ, видимость, полагаю, у меня въ тѣ поры совсѣмъ недостойная стала. По короткомъ времени блазнить сголоду начало. Чуть вотъ глаза прикрымши, сейчасъ все насчетъ пищи. И ѣшь и ѣшь ее, прямо, можно сказать, безъ-удержу и всякой всячины, особливо мяса. Слюна бѣжитъ, рѣзь въ нутрѣ, а прекратиться невозможно. А дальше хуже, страшнѣй чудилось. Уперся я однова локтемъ себѣ въ животъ, чтобъ значитъ кушать меньше хотѣлось, и покрѣпче руку къ груди прижалъ. И забылся. Только очнулся немного и покажись мнѣ, что не рука у грудей, а дѣвочка моя—Катюша, еще въ то время, какъ окончательно маленькой бывши. Знаю, блазнитъ мнѣ, а удержаться нѣтъ возможностей. Обхватилъ эту руку другой рукой и давай качать, въ родѣ какъ ребеночка няньчить, убаюкивать. Трясусь со страху, а самъ баюкаю и пѣсню, какъ въ своей хатѣ, подпѣваю, чтобъ закачать. Насилу отпустило.

Совсѣмъ ослабъ окончательно. Зима на дворѣ. Конечно, снѣгу здѣсь не водится, все жъ холодъ, замѣтьте, дождь. На ночь какъ-то приспособился я въ старую бочку: мягко тамъ, тепло. Совсѣмъ было, утомимшись, прикорнулъ, только какъ ляпнется кто въ бочку-то на меня сверху! И понять я, господинъ, не могу, что такое: визжитъ кто-то, руки мнѣ грызетъ. Одичалъ и я на манеръ звѣря: вцѣпился. Чувствую,— собака, здоровая такая. Душу ее за горло, а зубами это въ затылокъ ей впился. Прямо сказать, скулы свело и расцѣпить невозможно. Изловчилась собака, двинула лапой по лицу, ко-

жу мнѣ всю спустила и маршъ-маршъ. Сижу я въ бочкѣ одинъ, кровь съ меня и больно, и во рту тоже кровью пахнетъ, моей ли, собачьей ли, только голодъ, словно, отъ этой крови меньше стаетъ. Зализалъ я себѣ руки, но много ли тутъ поживишься? Потомъ слышу, знаете, съѣдобнымъ пахнетъ. Пошарилъ и въ дѣйствительности: кусокъ какой-то мясной... Цапъ его, и прямо въ ротъ, некогда, господинъ, разбирать было; отбилъ у собаки и пользуйся...

Я не вытерпѣлъ и вскочилъ. Словно померкли сразу лучистыя звѣзды на небѣ, потускнѣли рыбацкіе огни и пѣсня стала чужой и неумѣстной. Чудился дождь, темнота и заголодавшій, озвѣрѣвшій человѣкъ, вырывающій у бездомной собаки кусокъ подобранной падали.

— Голубчикъ, Ковальчукъ, да что же это такое! — крикнулъ я.

Онъ сперва не понялъ.

— Гдѣ?

— Да вы-то, ваша-то жизнь, что это такое? Вѣдь страшно мнѣ, голубчикъ, за васъ, страшно!

Ковальчукъ усмѣхнулся.

— Потомъ хуже пошло, господинъ. Видите, пошелъ я какъ-то, тоже бывши съ голодухи, на солнышкѣ погрѣться. Садъ, сами знаете, какой въ Неаполѣ у моря... очень даже прелестный садъ. Прикорнулъ я на скамейку, сижу такъ тихо. Только вижу: бѣжитъ ко мнѣ дѣвочка, маленькая такая, ну, совсѣмъ бы словно Катюша моя. Господи, думаю, опять блазнить начало! Нѣтъ, не блазнитъ: подбѣжала и ручонку свою мнѣ на колѣни... Смотритъ на меня, лепечетъ. Не стерпѣлъ я, обхватилъ дѣвчоночку, поднялъ на руки и поцѣловалъ. Что ли испугалась она, — въ плачъ. Няньки тамъ бѣгутъ, шумъ, гамъ. Ну, конечно, видимость моя даже и совсѣмъ невзрачная: вывелъ меня городовой изъ саду. Что со мной, господинъ, тогда дѣлалось, сказать прямо нельзя! Вотъ душитъ обида, горло окончательно перехватило. И себя-то жалко, что жизнь спуталась, — не разберешь... и за жену, за дѣтишекъ больно: можетъ, голодуютъ они безпризорные. Эхъ, думаю, напиться, что ли! Только былъ я безъ ничего. Все одно, думаю, наѣмся, напьюсь, а тамъ будь, что будетъ. И бѣгомъ, знаете, на окраину: кабачки тамъ попроще, нашего брата допускаютъ. Добѣжалъ. Выходитъ женщина такая старая... убы-

бается, а у самой тоже глаза красные, полагать надо, заплаканы. Посмотрѣла такъ ласково на меня, языкомъ почмокала. Сижу я одинъ, вино съ голодухи въ голову ударилось Богъ вѣсть какъ... И стыдно мнѣ тогда, господинъ, стало: надувать старуху доводится, а она ко мнѣ такъ въ дѣйствительности хороша. Эхъ, думаю спьяна, пойду къ ней, изъяснюсь ужъ какъ ни-на-будь, что при случайности отблагодарю за все. Пріоткрылъ дверку, смотрю. И только, господинъ, посмотрѣлъ, сразу какъ изъ ума вышелъ. Позавѣшаны это стѣны всѣ масками, харями, знаете, на масленой ряженые у насъ ходятъ. Красныя, до ужасти страшныя, зубы всѣ скалятъ, пасти свои открыли, смѣются. А въ переднемъ углу старикъ мертвый на кровати и платочкомъ зубы подвязаны. Плачетъ у него въ изголовьи старуха, мужъ, надо полагать, ейный... а сама кистью, словно кровью, маску эту размалевываетъ. И покажись мнѣ, что смотрятъ маски на меня дыроватыми глазами и гоготанье, словно бы, отъ нихъ идетъ, что головѣ невмочь. Заоралъ я и бѣжать безъ оглядки. Обезпамятовалъ весь. Бѣгу и все кричу, все кричу. Народъ за мной, ловятъ. Только чувствую, — лечу куда-то и потомъ прямо въ воду. Дальше что было, ужъ не помню, окончательно черезъ два мѣсяца въ себя сталъ приходить, въ больницѣ. Горячка, надо полагать, прихватила. Вотъ, господинъ, тутъ обо мнѣ прослышали которые изъ земляковъ и на это самое мѣсто опредѣлили. Ничего, слава Богу, сытъ. Съ вашей помощью пріодѣнусь теперь малость. Только это, конечно, все ни къ чему. Ежели не домой, такъ лучше сразу конецъ...

Ковальчукъ утомленно всталъ.

Свѣтало. Посвистывая въ перепелиныхъ сѣткахъ, набѣгалъ съ горъ предутренній вѣтеръ. Я проводилъ Ковальчука до лѣстницы. Сгорбленный, неуклюжій тихо поднимался онъ въ гору, показываясь на изгибахъ дороги, наконецъ, мелькнулъ въ послѣдній разъ и исчезъ. Но, какъ зловѣщій призракъ, носился передъ моими глазами его угрюмый образъ и глухо гудѣлъ надорванный голосъ.

А утро просыпалось. Не хотѣлось спать, запираться въ душную, тѣсную комнату. Бродить бы на весеннемъ воздухѣ, когда поетъ все вокругъ: и моря... и земля. Омыть бы уставшую, потускнѣвшую россійскую душу...

Б. Тимоѳеевъ.

ПИСЬМО СЪ ВОЙНЫ.

Къ Грушѣ-солдаткѣ старушка убогая
Долго плелась по деревнѣ съ письмомъ,
Было тревожно лицо ея строгое:
Сердце болѣло по сынѣ родномъ.
— «Охъ, истомилася я, горемычная:
Видишь, письмо-то писалъ, знать, не самъ?»
Глянула Груша: рука непривычная.
Стала письмо разбирать по складамъ.
...Вдругъ замолчала.—«Ну, что же ты, Грушенька?
Самъ почему не писалъ? Не пойму.
Раненъ?.. Убитъ?! Не томи мою душеньку».
— «Хуже, родимая; хуже: въ плѣну»...

Екатерина Герцогъ.

1. ИЗЪ ДЖЕЛАЛЬ ЭДДИНА РУМИ.

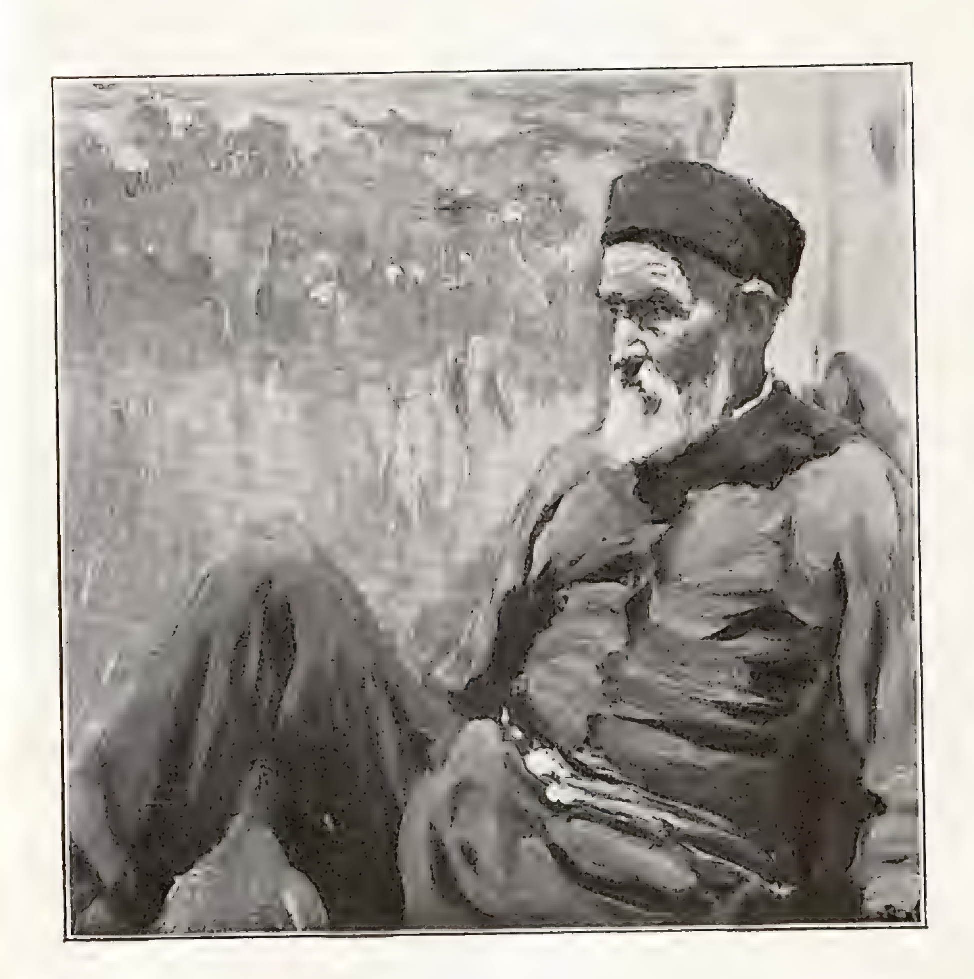
Я камнемъ былъ—и пересталъ имъ быть:
Я сталъ зерномъ, въ себѣ цвѣтокъ таящимъ.
Я цвѣлъ въ цвѣткѣ — и пересталъ имъ быть:
Дыханіемъ зажженъ животворящимъ,
Я звѣремъ сталъ. И пересталъ имъ быть.
Я—человѣкъ. Нѣтъ, смертному обману
Не вѣрю я: не сгину безъ слѣда!
Лишь человѣкомъ быть я перестану
И свѣтлымъ духомъ стану я тогда!

2. ПОЛДЕНЬ ВЪ ВИѲИНІИ.

Цѣлый день заливъ затянутъ гладкимъ шелкомъ сѣро-синимъ,
И по шелку сонно струи водитъ тайная рука.
Умираютъ, никнутъ, вянутъ кисти томныя глициній,
Стѣну бѣлую цѣлуютъ въ жаркой жаждѣ вѣтерка.
У оливъ клубятся овцы—немятежнымъ кроткимъ стадомъ,
Нѣжно смотрятъ предъ собою взглядомъ женскимъ, золотымъ,
На камняхъ пастухъ недвиженъ, гнутый посохъ брошенъ рядомъ.
Тамъ, далеко, за чертою, надъ Стамбуломъ вьется дымъ.
Небо блѣдно, море сине. Въ тишинѣ козленокъ черный
Треплетъ тернъ, и колокольчикъ серебро струитъ, звеня.
А вверху горячихъ пиній сводъ прозрачный и узорный
Ѳиміамомъ дышитъ смольнымъ, сыплетъ иглы на меня.

В. Тардовъ.

Константинополь.
1913.



А. В. Моравовъ. ТАТАРИНЪ.

СМЕРТЬ ИРЕДЖА.

(Изъ Шах-намэ Фирдуси *).

Состарѣвшись, шахъ Феридунъ раздѣлилъ свое царство между тремя сыновьями: Сельмъ получилъ западную область Румъ, Туру достались Туранъ и Китай, а младшаго, Иреджа, отецъ удержалъ при себѣ, чтобы онъ сталъ послѣ него Иранскимъ шахомъ. Братья завидовали Иреджу, любимцу отца и всего иранскаго народа, и рѣшили его погубить. Они воспользовались тѣмъ, что Иреджъ пріѣхалъ къ нимъ, желая по душѣ объясниться съ братьями и примирить ихъ съ отцомъ.

1.

Вотъ солнце занавѣсъ открыло свой
И сонъ развѣянъ утренней зарей.
Спѣшатъ безумцы, сердцемъ низки, гадки,
Прогнать стыда послѣдніе остатки
И съ гордымъ видомъ, дерзостью горя,
Идутъ туда, гдѣ былъ ночлегъ царя.
Иреджъ ихъ изъ шатра еще замѣтилъ,
Любовной рѣчью на дорогѣ встрѣтилъ,
И вмѣстѣ всѣ вернулися они.
Тутъ братья разговоры повели.
И началъ Туръ: «Ты меньше всѣхъ считался,—
Зачѣмъ короной царской увѣнчался?
Приличенъ ли тебѣ иранскій тронъ,
А я, какъ рабъ, къ Турану прикрѣпленъ?
На западъ сосланъ старшій братъ съ позоромъ,

---

*) Шах-намэ (Книга царей) — національная персидская поэма X вѣка, въ которой поэтъ Фирдуси обработалъ древнѣйшія преданія Ирана отъ временъ миѳологическихъ до завоеванія Персіи арабами (въ 636-мъ году).

А ты царишь тутъ пышно, съ гордымъ взоромъ.
Вотъ онъ, дѣлежъ премудраго царя!
Дѣлилъ онъ, лишь на младшаго смотря».
И съ чистой кротостью, спокоенъ, свѣтелъ,
На эту рѣчь Иреджъ ему отвѣтилъ:
«О, государь! ты громкой славы ждешь,
Но лишь въ покоѣ счастіе найдешь.
И трономъ, и вѣнцомъ не дорожу я,
На власть и пышность холодно гляжу я;
Не нужно мнѣ Ирана, ни Китая,
Ни всей земли отъ края и до края.
Когда насъ власть къ раздору можетъ весть,
Оплакивать такую нужно честь.
Хоть осѣдлай великій сводъ небесный,
Все жъ гробъ твоей постелью будетъ тѣсной.
Пусть мнѣ принадлежалъ Ирана тронъ,
Но я усталъ отъ троновъ и коронъ.
Вотъ перстень, діадема,—все возьмите,
Лишь дружбу мнѣ свою вы возвратите;
Ни спорить не хочу, ни воевать,
Чтобъ въ свѣтѣ никого не огорчать.
Зачѣмъ мнѣ власть, коль то васъ обижаетъ,
Меня отъ дружбы братской отдаляетъ?
Храня законъ, привыкъ я скромнымъ быть,
Въ душѣ одно желанье—всѣхъ любить!»
Туръ слушалъ рѣчь Иреджа съ гнѣвнымъ духомъ,
Онъ ей внималъ однимъ лишь только слухомъ
И, къ миролюбью не расположенъ,
Былъ кротостью Иреджа раздраженъ.
Сталъ отвѣчать, отъ гнѣва задыхался,
Не могъ сидѣть, все съ мѣста поднимался;
И вдругъ, схвативъ тяжелую скамью,
Онъ бросился къ Иреджу и ему
Ударъ по головѣ нанесъ ужасный.
Тутъ брата сталъ молить Иреджъ несчастный:
«Ужель тебя гнѣвъ Божій не страшитъ,
Ни горе стараго отца, ни стыдъ?
Не убивай меня: за ту измѣну
Сполна заплатишь въ мукахъ крови цѣну.
Оставь мнѣ жизнь и вѣрь, что съ этихъ поръ

Моихъ слѣдовъ твой не отыщетъ взоръ,
И я въ глуши безвѣстной міръ забуду,
Трудами рукъ прокармливаться буду.
Самъ жизнь цѣня, мою отнять стремишься,—
Какъ съ этимъ ты въ душѣ своей миришься?
И муравью въ лѣсу не дѣлай зла:
Живетъ и онъ, жизнь и ему мила.
Зачѣмъ рѣшился ты на гибель брата?
Ужель отчаянье отца не свято?
Ты хочешь цѣлымъ міромъ обладать?
У ногъ твоихъ онъ,—стоитъ только взять!
Но предъ тобой кровавая дорога,—
Оставь ее, не возмущая Бога!»
Но Туръ не слушалъ: злобой обуянъ,
Онъ внѣ себя, въ очахъ стоитъ туманъ,
Схвативъ кинжалъ изъ сапога, стремится,
И вотъ Иреджа кровь ручьемъ струится,—
Грудь царскую глубоко пронизалъ,
Какъ ядъ, губительный, стальной кинжалъ.
И надломился кипарисъ надъ кручей,
Упалъ на землю падишахъ могучій.
И кровь текла по розамъ щекъ его;
Былъ вздохъ одинъ и—больше ничего!
Тутъ голову вѣнчанную отъ тѣла
Отрѣзалъ Туръ. И кончено все дѣло!
О, міръ! Его ты на груди согрѣлъ,
Но жалости къ герою не имѣлъ!
Не знаю я, кого ты втайнѣ любишь,
Но жаль мнѣ всѣхъ, кого ты явно губишь.
Смотри, о человѣкъ, со страхомъ ты
И съ болью сердца на судьбы черты,
И если злобу жизнь въ тебѣ пробудитъ,
То участь братьевъ пусть урокомъ будетъ.
Иреджа черепъ амброй приказалъ
И мускусомъ наполнить Туръ; послалъ
Его онъ къ Феридуну со словами:
«Вотъ голова любимца, что надъ нами
Отцовскій избранъ былъ носить вѣнецъ.
Теперь давай ему свой тронъ, отецъ!
Оно далеко тѣнь свою бросало,

То древо Кеянидовъ,—и упало!»
Злодѣи-братья разлучились тутъ,
И оба къ областямъ своимъ идутъ.

2.

Съ дороги Феридунъ не сводитъ глазъ,
И войско ждетъ Ireджа всякій часъ.
И вотъ приходитъ время возвращенья,
Все нѣтъ его и нѣту извѣщенья.
Поставилъ бирюзовый тронъ отецъ,
Велѣлъ убрать каменьями вѣнецъ,
Ему итти на встрѣчу собирались,
И музыка, и вина припасались,
Несутъ литавры, царскій слонъ готовъ;
Весь городъ ждетъ, вплоть до глухихъ угловъ.
Межъ тѣмъ, какъ хлопотали всѣ кругомъ,
Вдругъ видятъ: по дорогѣ пыль столбомъ.
Потомъ верблюдъ изъ пыли показался,
На немъ сѣдокъ едва въ сѣдлѣ держался;
Стеная громко, слезы лилъ гонецъ,
Везя у груди золотой ларецъ,
Въ златомъ ларцѣ ткань шитая лежала
И голову Иреджа прикрывала.
Съ глубокимъ вздохомъ, съ горестнымъ лицомъ
Печальный вѣстникъ сталъ передъ царемъ.
Его слова полны бѣдою были;
Едва лишь крышку ларчика открыли
И шитый шелкъ развернутъ былъ едва,—
Иреджа показалась голова.
И Феридунъ внезапно чувствъ лишился,
Упалъ съ коня, на землю опустился.
У воиновъ въ груди дыханья нѣтъ,
Чернѣетъ ликъ, въ очахъ затмился свѣтъ.
Исчезло все, погибли и надежды!
Они въ печали рвутъ свои одежды:
Такъ вотъ какъ юный царь вернулся къ нимъ!..
И войско шло назадъ путемъ своимъ,
Знамена разорвавъ, безъ барабановъ;
И мрачны стали лица пехлевановъ;

Слоновъ попоны мускуса чернѣй,
И въ синій цвѣтъ окрасили коней.
И двигалось пѣшкомъ все войско съ шахомъ
Въ большой тоскѣ, главы покрывши прахомъ,
Кругомъ носился горькихъ воплей звукъ,
Вожди-герои рвали тѣло съ рукъ.
Кто прямизны отъ лука ожидаетъ?
Не вѣрь судьбѣ, когда тебя ласкаетъ:
Она надъ нами кругъ свершаетъ свой
То къ намъ лицомъ, то вмигъ опять спиной.
Ее честишь врагомъ,—она поманитъ,
А другомъ назовешь, тотчасъ обманетъ.
И вотъ тебѣ отъ сердца мой совѣтъ:
Не трать души на этотъ бренный свѣтъ!
Съ разбитымъ сердцемъ двигались, стеная,
И шахъ, и войско, путь свой направляя
Къ Иреджа саду, гдѣ дворецъ стоялъ,
Гдѣ часто свѣтлый пиръ онъ пировалъ.
И, съ сына головой не разставаясь,
Старикъ-отецъ туда идетъ, шатаясь.
Глядитъ на тронъ, что сиротой стоитъ,
—Его властитель кровію залитъ,—
Глядитъ на кипарисы горделивы,
На водоемъ, на розъ кусты, на ивы;
Землей онъ черной посыпаетъ тронъ,—
До звѣздъ поднялся скорбный войска стонъ.
Царь съ плачемъ кудри рвалъ, вздыхалъ глубоко,
Себѣ лицо изранилъ все жестоко,
Надѣлъ кровавый поясъ, наконецъ,
И сжегъ до-тла сыновній онъ дворецъ:
Нѣтъ больше розъ, ни кипарисовъ сада,
Навѣки скрылась царская отрада!
Онъ голову Иреджа обнималъ
И, взоръ на небо устремивъ, кричалъ:
«О, Господи, намъ справедливость давшій!
Вотъ юноша, невинно пострадавшій.
Въ рукахъ моихъ одна лишь голова,
А тѣло сдѣлалось добычей льва!
Сожги сердца злодѣевъ двухъ ужасныхъ
И имъ пошли однихъ лишь дней несчастныхъ;

Пускай огнемъ палитъ имъ грудь печаль,
Чтобъ было ихъ звѣрямъ пустыни жаль!
Тебя прошу, Творецъ: по волѣ рока
Пусть будетъ мнѣ дано дожить до срока,
Какъ сѣмени Иреджева герой
Придетъ исполнить мести долгъ святой
И головы отрѣжетъ супостатамъ,
Какъ и они то сдѣлали надъ братомъ!
Когда бъ пришлось мнѣ это увидать!
Тогда пойду покойно въ землю спать».
Сидѣлъ отецъ съ сыновней головою,
Пока по грудь онъ не заросъ травою;
Его постель—земля, и ложе—прахъ,
И свѣтъ совсѣмъ угасъ въ его глазахъ.
Дворецъ онъ заперъ, съ горечью всечасной
Все повторялъ: «О, юноша прекрасный!
Кому изъ принцевъ выпало на часть
Такъ жалко, какъ тебѣ, мой сынъ, пропасть?
Злой духъ тебѣ припасъ конецъ печальный,
И пасти львовъ—твой саванъ погребальный».
Внимая Феридуновой печали,
Тоскливо звѣри дикіе рычали.
Сбирались жители по областямъ,
Мужчины, женщины, и тутъ, и тамъ,
Съ тоской въ груди, слезамъ давая волю,
Оплакивать Иреджа злую долю,
И въ томъ немало проводили дней,
И смерть казалась жизни имъ милѣй.

Перевелъ А. Е. Грузинскій.

Природа вещей.

Когда губернаторъ узналъ, что захворалъ предсѣдатель губернской земской управы, то рѣшилъ навѣстить больного. Онъ уважалъ старика, цѣнилъ его большой практическій умъ, сильную волю, непоколебимую убѣжденность въ необходимость твердой власти и въ то же время умѣнье устранять и сглаживать острые углы возникавшихъ недоразумѣній. На засѣданіяхъ у губернатора старикъ, обыкновенно молчавшій, пока не выскажутся всѣ, говорилъ послѣднимъ и всегда подходилъ къ вопросу какъ-то совсѣмъ иначе, чѣмъ всѣ. Онъ не былъ ораторомъ, говорилъ просто, точно бесѣдовалъ съ пріятелемъ съ глазу на глазъ, но отъ его словъ у губернатора всегда получалось такое впечатлѣніе, какъ будто въ накуренной и душной комнатѣ открыли окно и оттуда вдругъ потянуло чистымъ свѣжимъ воздухомъ.

И губернаторъ, еще не старый человѣкъ, грезившій стать министромъ и старавшійся, чтобы дѣятельность его была замѣчена, а въ самой дѣятельности стремившійся, чтобы рѣшенія его покоились на жизненныхъ основаніяхъ, особенно внимательно прислушивался къ простымъ и житейскимъ сужденіямъ стараго предсѣдателя, въ которыхъ звучалъ и гимнъ мудрости власти въ ея заботахъ и попеченіи на пользу большого ребенка—населенія, и указанія на практическое ея примѣненіе въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. И вотъ уже два засѣданія какъ старика не было, и губернатору казалось, что безъ него и дѣла рѣшаются какъ-то теоретически, нежизненно, точно рѣшало ихъ не засѣданіе, а одинъ непремѣнный членъ. Этотъ непремѣнный членъ, человѣкъ геморoидальный, сухой и пожелтѣвшій, какъ старый пергаментъ, съ каймой сѣрыхъ топорщившихся, какъ перья, волосъ на облѣзломъ черепѣ, красными глазами, кривыми, синими тонкими губами и крючковатыми на рукахъ пальцами, высказываясь по всякому вопросу,

всегда начиналъ словами: „почитаю за необходимость въ разъясненіе указать, что статья закона гласитъ“—и тутъ же крючковатыми пальцами бралъ книгу, открывалъ ее на приготовленной закладкѣ, и сухимъ, тягучимъ и нуднымъ голосомъ читалъ эту гласящую статью, а, прочитавъ, обводилъ засѣдавшихъ взглядомъ, которымъ какъ бы говорилъ: „вотъ видите, что указываетъ законъ, а вы разсуждаете!“—и довольный собой, сухо и безстрастно заканчивалъ свою рѣчь неизмѣннымъ заключеніемъ: „а по сему, такъ какъ въ статьѣ прямо о дѣяніи не указывается и таковое опредѣленно не оговорено, то, стало-быть, и не можетъ быть одобряемо и допускаемо“.

Губернатору казалось, что непремѣнный членъ очень строгъ и что, если въ законѣ не оговорено, то, слѣдовательно, и нѣтъ запрета, но непремѣннаго онъ считалъ законникомъ и спорить съ нимъ опасался. А когда онъ спросилъ объ этомъ прокурора, человѣка желчнаго, страдавшаго печенью, и спросилъ какъ разъ въ такой моментъ, когда тотъ ощущалъ приступъ боли, то тотъ, не глядя на губернатора, пробурчалъ: все зависитъ отъ точки зрѣнія, а точка зрѣнія создается отъ цѣлаго ряда условій, а потому толковать можно и такъ и сякъ, смотря по обстоятельствамъ.

— А вы какъ думаете?—обратился губернаторъ къ сидѣвшему тутъ же предсѣдателю.

— Золотыя слова прокурора! — умильно взглянувъ на губернатора, убѣжденно отвѣтилъ предсѣдатель.

— Ну, что, какъ нашъ больной? — спросилъ губернаторъ на засѣданіи у заступающаго мѣсто предсѣдателя, молодого члена управы, смотрѣвшаго на губернатора преданнымъ взглядомъ, какъ бы говорящимъ:—все, что вашему превосходительству угодно, для меня законъ.

— Да не важно, склерозъ, и держится серьезно,—сдерживая охватившее его радостное волненіе, отрапортовалъ замѣститель.

— Да, вотъ оно что, склерозъ! — значительно сказалъ губернаторъ и, покачавъ головой, прибавилъ: — Надо навѣстить его!

— Будетъ радъ, ахъ какъ будетъ радъ... — засіялъ молодымъ лоснящимся лицомъ замѣститель, точно губернаторъ собирался навѣстить его самого.

А губернаторъ, смотря на свѣтившіеся восторгомъ глаза замѣстителя, думалъ, что отъ его такта въ его губерніи у



М. В. Якунчикова. Страхъ.

земцевъ нѣтъ оппозиціи къ правительству и что даже молодые земскіе элементы ему удивительно преданы.

На другой день, подъ свѣжей памятью и сказаннаго слова, и засѣданія, которымъ онъ остался недоволенъ, изъ-за его нежизненности, губернаторъ поѣхалъ къ больному.

Губернаторъ зналъ, что у предсѣдателя нѣсколько имѣній, стоящихъ болѣе милліона, и почему-то думалъ, что и домъ его въ городѣ долженъ быть или большой и доходный, какъ и подобаетъ быть дому у человѣка большого житейскаго ума и такого прекраснаго хозяина, какимъ считался предсѣдатель, или особнякъ, какъ у человѣка слишкомъ занятого и желающаго хорошо отдыхать у себя дома.

И проѣзжая переулкомъ, гдѣ жилъ предсѣдатель, онъ облюбовалъ самый большой и красивый домъ и приказалъ остановиться у него. Но на воротахъ была другая фамилія.

— Странно, не его!—пожалъ плечами губернаторъ и, оглядѣвшись, замѣтилъ вдали уютный и фундаментальный особнякъ.—Вотъ тотъ навѣрно его, и какъ будто на него похожъ, такой же степенный и обстоятельный,—подумалъ губернаторъ и приказалъ ѣхать къ нему.

Но и здѣсь на воротахъ стояла другая фамилія.

Почувствовавъ неудовольствіе, что онъ дважды обманулся, губернаторъ сошелъ, позвонилъ дворнику и спросилъ у него нужный ему домъ.

— Вона, третій налѣво,—пальцемъ указалъ рыжебородый солидный дворникъ, въ бѣломъ чистомъ фартукѣ, не подозрѣвая, что говоритъ съ губернаторомъ.

Губернаторъ направился пѣшкомъ, приказавъ кучеру ѣхать за собой. Домикъ оказался небольшимъ особнякомъ, весь облупившійся, съ ветхими рамами оконъ и съ дверью, выкрашенной какой-то коричневой краской. Рядомъ въ открытую калитку воротъ былъ виденъ въ глубинѣ громаднаго пустого двора небольшой, тоже весь облупившійся и покривившійся двухъэтажный домъ, грязный, съ покосившимся крыльцомъ.

По двору разгуливали куры, осанистый красный широкогрудый пѣтухъ, и чѣмъ-то взволнованный индюкъ, на что-то сердился и ходилъ, надувшись и распустивъ хвостъ.

— Сколько земли гуляетъ, ай, ай, забылъ старикъ о себѣ за чужой работой,—подумалъ губернаторъ и, дернувъ за мѣдный нечищенный звонокъ у двери, на аршинъ вытащилъ на

себя проволоку, покачнулся отъ неожиданности и чуть не упалъ.

— Ну, и звонокъ! Да сюда ли, наконецъ, я попалъ?—съ недоумѣніемъ спросилъ онъ себя, такъ какъ дощечки ни на двери, ни на воротахъ не было.

Долго не отпирали. Потомъ послышались грузные шаги, загремѣлъ желѣзный крюкъ, и простая деревенская баба, миловидная, розовая съ темными, какъ вишни, глазами, гладко по деревенски на прямой проборъ причесанными волосами, съ пузырями на рукавахъ бѣлой рубахи и съ подоткнутымъ подоломъ сарафана, отперла и встала въ дверяхъ. Это было нѣсколько неожиданно, и губернаторъ освѣдомился, здѣсь ли живетъ предсѣдатель управы.

— Не знаю, батюшка, кто онъ будетъ, нашъ Павелъ Аѳанасьевичъ,—пѣвуче сказала баба, яснымъ взглядомъ смотря на гостя.

Пѣвучій голосъ миловидной бабы, ея добрый взглядъ и полнѣйшая непринужденность понравились губернатору.

— Ну вотъ Павелъ Аѳанасьевичъ мнѣ и нуженъ,—сказалъ онъ и поднялся въ сѣни.

Половицы лѣсенки скрипѣли и дрожали, и, наступивъ на одну, губернаторъ съ осторожностью переступилъ на другую и, не рѣшившись стать на третью, сразу шагнулъ на площадку сѣней.

Сѣни были сквозныя и другая дверь была распахнута настежь и выходила на тотъ же грязный дворъ, который онъ видѣлъ въ калитку у воротъ. Теперь только стало видно еще растущую у забора акацію. Индюкъ все еще волновался и что-то горячо доказывалъ подошедшей индюшкѣ. Та, видимо, его успокаивала, что-то тихо говорила и все кланялась. Пѣтухъ, очевидно, былъ въ шутливомъ настроеніи и, желая напугать медленно выступавшую съ мышенкомъ въ зубахъ кошку, вытянулъ шею, замахалъ крыльями и, сверкая круглыми глазами, зычно закричалъ: кого ук-ралъ! Кошка только лѣниво скосила голову и, шевельнувъ хвостомъ, также медленно пошла дальше.

Губернаторъ заглядѣлся на животный міръ и подумалъ:

— А у него совсѣмъ по-деревенски. Хорошо!

— Такъ тебѣ, батюшка, самого, что ль, надыть?—опять его спросила баба.

— Самого, тетка! — и губернаторъ улыбнулся подъ пушистыми усами на такъ просто и спокойно говорившую съ нимъ женщину изъ народа.

— Захворалъ онъ у насъ, лежнемъ лежитъ, какъ колода, входи, входи сюда, — говорила баба, отворяя дверь, обитую клеенкой, оборванной внизу, откуда торчалъ войлокъ.

— Однако!—озадаченно подумалъ губернаторъ, брезгливо поглядывая и на жалкую дверь и на маленькія сѣнцы,—можно подумать, что здѣсь какой-нибудь мелкій лавочникъ живетъ, а не милліонеръ. Ну и оригиналъ!

Въ передней, такой крощечной, что губернаторъ еле могъ повернуться, онъ раздѣлся, и баба не умѣла помочь, шинель онъ снялъ самъ, баба только взяла и повѣсила. Вошелъ въ залъ и оглядѣлся. Стояло старое піанино, по стѣнамъ дюжина стульевъ. Съ потолка спускалась висячая керосиновая лампа, чугунная, когда-то выкрашенная въ бѣлую краску, не дорогая и не изящная. На окнахъ чистыя кисейныя занавѣски и горшки съ простенькими цвѣтами, и только глянцевито натертый чистый паркетный полъ нѣсколько скрашивалъ скромную обстановку.

— Ну и живетъ! — удивился губернаторъ, поражаясь не столько простотой, сколько скромностью. — Вотъ тебѣ и милліонеръ!—Но тутъ же подумавъ о житейской мудрости предсѣдателя и томъ уваженіи, съ какимъ еще такъ недавно о немъ говорилъ предводитель дворянства, онъ рѣшилъ:—Человѣкъ стараго закала, самобытенъ, оригиналенъ, какимъ и долженъ быть настоящій столпъ!

Къ нему никто не выходилъ, и тогда, обращаясь къ стоявшей въ дверяхъ бабѣ, онъ сказалъ:

— Ну поди же, доложи!

— Ничего, батюшка, иди, иди прямо къ нему, онъ не спитъ, и теперь онъ добрый, не забранится,—рѣшила баба и указала на противоположную изъ залы дверь.

Губернаторъ вошелъ.

Очевидно, это былъ кабинетъ. Стоялъ диванъ, большой, старый, обитый кретономъ, отъ времени ставшимъ сѣрымъ. На этомъ диванѣ и лежалъ старикъ въ халатѣ съ забинтованными руками и ногами.

Въ головахъ стоялъ письменный столъ, весь заваленный докладами и бумагами.

Рядомъ у изголовья помѣщалась тумбочка съ лѣкарствами. Единственный вѣнскій стулъ, когда-то черный, а теперь облѣзлый стоялъ около дивана, а въ углу, въ деревянномъ ящикѣ была навалена цѣлая гора газетъ, въ половину человѣческаго роста; онѣ порыжѣли, запылились, но, видимо, представляли изъ себя нарастающій капиталъ, который не расходывался. Въ другомъ углу виднѣлась кровать, покрытая темнымъ байковымъ одѣяломъ.

Больной обрадовался, сдѣлалъ движеніе приподняться и не могъ. Умнымъ грустнымъ взглядомъ онъ показалъ на забинтованныя руки и ноги. Этотъ взглядъ остро напомнилъ губернатору его любимаго сенъ-бернара, когда тотъ издыхалъ, и губернатору стало искренне жаль старика.

— Садитесь, дорогой гость, тронули вы меня памятью, благодарить не буду, повѣрьте предсмертному на слово,—тихо сказалъ предсѣдатель съ грустной улыбкой, смотря своимъ печальнымъ умнымъ взглядомъ.

Губернаторъ смотрѣлъ на старика, и казался онъ ему кѣмъ-то другимъ, а не тѣмъ Павломъ Аѳанасьевичемъ, котораго онъ до сихъ поръ зналъ. На его лицѣ онъ уже не встрѣтилъ такъ знакомаго ему выраженія восторженной преданности, какимъ постоянно оно свѣтилось при встрѣчѣ съ нимъ, и которое губернаторъ относилъ къ сердечному къ нему расположенію и уваженію. Теперь старикъ смотрѣлъ хотя и ласково, но въ его взглядѣ свѣтилась тихая покорность и какая-то отрѣшенность, и чувствовалось, что думаетъ онъ уже не о томъ, о чемъ думалъ постоянно ранѣе. А когда взглядывалъ на губернатора, то тотъ снова вспоминалъ своего сенъ-бернара.

— Страдаетъ, — растроганно думалъ онъ, опускаясь на единственный стулъ.

Старенькій стулъ хрустнулъ подъ крѣпкимъ и плотнымъ губернаторскимъ тѣломъ. Онъ насторожился и уже боялся шевельнуться. Самъ онъ чувствовалъ себя здоровымъ и такимъ далекимъ отъ смерти, о которой ему не хотѣлось и думать, и ему было пріятно и ощущеніе своего здоровья, и то, что онъ пріѣхалъ навѣстить, должно-быть, умирающаго старика, и тѣмъ доставилъ ему радость. Раздражалъ его только скрипѣвшій подъ нимъ стулъ, заставлявшій его сидѣть, не шевелясь.

— Вотъ пріѣхалъ навѣстить васъ, услыхалъ, что захворали, — говорилъ губернаторъ, стараясь придать своему лицу

выраженіе легкой грусти и сочувствія и въ то же время обнадеживающее, бодрящее. Освѣдомившись, какъ идетъ болѣзнь, онъ проговорилъ, придавая голосу увѣренность и убѣжденность:

— Ну, Богъ дастъ, поправитесь!

— Да не умру, такъ встану, —спокойно отвѣтилъ старикъ.

— Ну, конечно, встанете, Бога просить надо, — ласково сказалъ губернаторъ.

— Я Его не прошу, а только благодарю. Прожито не мало, семьдесятъ слишкомъ, пора и честь знать. Не все подай Господи, нужно когда-нибудь и Тебѣ Господи. Вотъ послѣднее-то я и твержу. А обольщаться нечего, возрастъ, все равно и встанешь, такъ не надолго, такъ развѣ кое-какія дѣла закончить, — съ поразившимъ губернатора равнодушіемъ проговорилъ старикъ.

— Ну, можете дотянуть и до девяноста! — и губернаторъ, говоря, старался придать своему голосу увѣренность въ пожеланіи.

Внутренне же онъ былъ пораженъ тѣмъ стойкимъ спокойствіемъ, съ какимъ старикъ говорилъ о смерти. Ему даже стало казаться, что старикъ уже предчувствуетъ. И отъ того, что онъ видѣлъ передъ собой человѣка, который постигаетъ что-то таинственное, вѣчное, чего онъ постигнуть не только не можетъ, но и не понимаетъ, какъ и чѣмъ это постигается, ему становилось жутко. Онъ чувствовалъ, что и слова его не нужны, и что для старика теперь они уже не имѣютъ ни вѣса, ни значенія. Ранѣе свои слова казались ему зерномъ, которое возрастаетъ и питаетъ душу, теперь же, передъ этимъ больнымъ старикомъ, съ его что-то постигающимъ взглядомъ, они уже казались ему тѣми легкими пушинками, которыя кружатся въ воздухѣ, тамъ, гдѣ цвѣтетъ тополь, и пропадаютъ неизвѣстно гдѣ. Ему хотѣлось посидѣть молча, погладить нѣжно эту бѣлую умную голову, поцѣловать и уйти. Но это было бы необычайно, могло напугать старика и потому надо было говорить эти легкія пушинки, которыя не дойдутъ уже до сердца, постигающаго вѣчное, а упадутъ неизвѣстно гдѣ.

— Да, съ нимъ и вообще-то надо говорить, подумавъ, вонъ онъ какъ живетъ. Кто онъ? Философъ, спартанецъ, даже стула крѣпкаго не держитъ!—думалъ губернаторъ.

Вошла черноглазая баба и сказала:

— Два часа, чай тебѣ лѣкарство надыть дать.

— Ну дай, дай,—согласился старикъ.

Баба налила ложку и, осторожно держа ее, другой рукой тихо приподняла его голову и влила ему въ ротъ.

— Ну вотъ и хорошо, ловкая ты у меня, Мавра, вотъ я умру, ты въ сидѣлки въ больницу поступишь!

— Чай не помрешь, лежи, отлеживайся! — пѣвуче и искря веселымъ взглядомъ, проговорила Мавра.

Губернаторъ пошевелился, смотря на работу Мавры. Стулъ отчаянно заскрипѣлъ, и онъ привсталъ.

— Безпокоитъ онъ васъ, — сказалъ предсѣдатель.—Мавра, подай-ка изъ залы покрѣпче какой, — приказалъ онъ, и, обращаясь къ губернатору, пояснилъ:—Берегу я этотъ старенькій стульчикъ. На немъ постоянно Обалдуевъ сидѣлъ. Жаль выбросить историческую вещь, пускай ужъ послѣ меня. Тогда ничего не пожалѣютъ.

— Онъ, говорятъ, былъ вашимъ другомъ!—сказалъ губернаторъ, вспоминая о своемъ предшественникѣ, ставшемъ потомъ министромъ.

— Да, ровесники были, вмѣстѣ учились, не убили бы, было бы ему столько же, сколько и мнѣ.

— Что же за вами только эта женщина и ходитъ?—полюбопытствовалъ губернаторъ.

— Да, она ловкая баба. Я, знаете, своихъ домашнихъ не люблю, эти вздохи, вѣчныя сожалѣнія, а въ душѣ, небось, думаютъ: чего тянетъ — умиралъ бы скорѣй. А баба, ей все равно, и потомъ она сильная, сердечная. А главное черезъ нее и еще кучера, они вмѣстѣ меня отсюда на постель перетаскиваютъ, а сюда съ постели, я чувствую связь съ народомъ. Это, знаете, большая вещь, съ ней порывать нельзя. А при нашей городской жизни ее легко утратить. Вотъ вы говорите дотянуть до девяноста. Да спаси Господи! Хорошо умереть на работѣ. Слабоумные дотягивающіе старики, это зло, терпимое только потому, что за ихъ истребленіе полагается такое же наказаніе, какъ и за путныхъ людей. А, знаете, не будь этого, ихъ бы морили! — съ твердой увѣренностью сказалъ предсѣдатель и, помолчавъ, прибавилъ:— Вотъ за эти дни подумать пришлось, подвести кое-какіе итоги. Я за это Бога благодарю, а то теперь стали умирать все на ходу — скоропостижно. Живутъ, объ итогахъ не думаютъ, а, умирая,

подвести не поспѣваютъ. Знаете, это большое несчастіе для современнаго человѣка. Живешь, какъ въ угарѣ, спѣшишь, все не хватаетъ времени и некогда на себя посмотрѣть со стороны, или какъ въ банѣ на людей смотрятъ, безъ прикрасъ, а только на настоящее. Вотъ въ старину хорошо было, тогда старики въ монахи постригались и хоть въ остатокъ дней могли подумать и подытожить дѣла свои.

— Ну, ваши-то итоги блестящи, не у всѣхъ они такіе,— искренне сказалъ губернаторъ.

Предсѣдатель взглянулъ на него какъ-то особенно остро, подумалъ немного и отвѣтилъ:

— И самъ я такъ думалъ. Крѣпко думалъ. А вотъ поразмысливъ на свободѣ, вижу, что въ сущности не такъ-то они утѣшительны.

— Ну, вы умаляете,—мягко съ улыбкой возразилъ губернаторъ, считавшій за старикомъ даже государственныя заслуги изъ-за пережитаго смутнаго времени.

Старикъ сдѣлалъ слабое, но рѣшительное движеніе головой.

— Нѣтъ, недоволенъ я! — просто и рѣшительно сказалъ онъ. — Теперь грѣхъ таить, часто поступалъ не такъ, какъ хотѣлось. Все высшія соображенія заѣдали. А вотъ какъ отошелъ въ сторону, да кое отъ чего отрѣшился, такъ то, что считалъ за хорошее, на повѣрку-то вышло и не особо. Главное любви мало было. Все больше грѣховное стараніе попасть въ поле зрѣнія, быть замѣтнымъ, оцѣненнымъ. А для этого много дѣлалось показного. Нѣтъ, не удовлетворенъ я, такъ не удовлетворенъ, что если бы жить снова, такъ бы уже не жилъ.

Губернаторъ покровительственно улыбнулся и, увѣренный, что говоритъ правдивое и въ то же время пріятное, твердо сказалъ:

— Болѣзнь расшатываетъ нервы, шалятъ они и у васъ. А цѣнить ужъ позвольте намъ васъ!

— А вы знаете, отъ меня одинъ сынъ въ Америку уѣхалъ,— сказалъ старикъ.

— Да, но вѣдь за нимъ никакихъ дѣлъ не числится, онъ всегда можетъ возвратиться и продолжать вашу общественную дѣятельность,—успокоилъ его губернаторъ.

— То-то и есть, что не будетъ онъ продолжать мою дѣятельность. Знаете, что онъ пишетъ мнѣ? Вчера отъ него письмо пришло. При всѣхъ, говоритъ, твоихъ достоинствахъ

земскаго работника, я отвергаю твою дѣятельность въ цѣломъ, потому, что ты избранъ не тѣми, чьимъ достояніемъ распоряжаешься. Ну, что я ему отвѣчу? И замѣтьте, онъ настолько не уважаетъ мою дѣятельность, что даже и денегъ не проситъ, а вѣдь я знаю, что онъ тамъ нуждается.

Губернаторъ не могъ сдержать улыбки.

— Вѣдь это же обычная пѣсня мятущейся интеллигенціи, этой медузы россійскаго океана. Дайте имъ власть, и отъ государства останется одно воспоминаніе.

— Да, для власти они не годятся, не крѣпки духомъ, — согласился старикъ, — ну а чувствовать они умѣютъ. Стыдно сознаться, а вотъ теперь мнѣ кажется — мальчишка правъ, лучше бы мнѣ было возиться съ землей, взращивать, молотить, улучшать породы.

— Да поймите, вы въ милліонъ разъ полезнѣе на своемъ мѣстѣ,—заволновался губернаторъ.—Это все нервы, повѣрьте, васъ цѣнятъ по дѣйствительнымъ заслугамъ.

— Нѣтъ, ваше превосходительство, ваша оцѣнка другая, до предѣла, а настоящая оцѣнка это та, когда человѣкъ оцѣниваетъ свое прошлое, когда заглянетъ за предѣлъ. Искренне говорю, жалѣю, что не сталъ мужикомъ.

И потому, какъ говорилъ и глядѣлъ на него предсѣдатель, губернаторъ чувствовалъ, что его утѣшенія здѣсь не нужны, и что старикъ крѣпко вѣритъ въ то, свое, къ чему онъ пришелъ. И опять губернатору стало жутко и неловко, и онъ обдумывалъ, чтобы сказать такое, послѣ чего было бы легко встать и распроститься.

Уѣзжая, онъ всю дорогу думалъ о старикѣ, о его странной и такой оригинальной жизни, о томъ, что онъ бережетъ стулъ, на которомъ сидѣлъ его другъ, думаетъ, что черезъ прислугу поддерживаетъ живую связь съ народомъ, волнуется отъ замѣчаній юноши сына и отрицаетъ пользу своей прожитой жизни. Губернаторъ думалъ, что, очевидно, и въ томъ, что онъ живетъ въ старенькомъ домѣ, среди бѣдной обстановки, есть какой-то скрытый глубокій смыслъ, и старался понять, стыдится ли онъ своего богатства, или не придаетъ ему значенія. Всей жизни старика онъ не зналъ, и потому ему было трудно разбираться во всѣхъ его странностяхъ, онъ только чувствовалъ, что за всѣми этими чудачествами должно быть кроется что-то основательно продуманное, и ему каза-

лось, что если съ такимъ человѣкомъ, когда онъ здоровъ, пожить, какъ говорится, бокъ о бокъ, то это стоило бы хорошаго образовательнаго путешествія. „Да что путешествія, цѣлый жизненный университетъ“, подумалъ онъ. И его страшно заинтересовало, чѣмъ кончитъ старикъ послѣ своей болѣзни. Теперь, когда онъ его не видѣлъ передъ собой, онъ уже не допускалъ мысли, что онъ скоро умретъ, и вѣрилъ, что богатырскій организмъ старика поборетъ болѣзнь.

„А выздоровѣетъ, служить не будетъ, займется сельскимъ хозяйствомъ или уйдетъ въ монахи, отъ него всего можно ожидать, онъ необыкновенный—перваго такого встрѣчаю“, думалъ губернаторъ подъ впечатлѣніемъ словъ больного предсѣдателя, которыя онъ понялъ не только какъ отрицаніе старикомъ пользы своей жизненной работы, но и какъ намѣреніе не жить уже такъ болѣе.

Ему было жаль терять такого цѣннаго работника. Онъ мирился съ этимъ лишь какъ съ неизбѣжнымъ, говоря себѣ, что душевный переломъ у сильныхъ людейноситъ и сильныя послѣдствія; твердую же волю характера старика онъ зналъ, а въ искренности словъ его не могъ сомнѣваться.

Губернаторъ, какъ онъ думалъ о себѣ, многое понималъ интуиціей. Этой же интуиціей онъ постигалъ и то, что старикъ, выздоровѣвъ, будетъ другимъ человѣкомъ. Въ это онъ повѣрилъ, и ему казалось, что иначе не могло быть.

Встрѣчаясь съ заступающимъ мѣсто предсѣдателя, губернаторъ всегда освѣдомлялся о здоровьѣ старика. Онъ какъ-то невольно все возвращался къ мысли о немъ и ждалъ при его выздоровленіи тѣхъ послѣдствій, которыя были ему непріятны, но въ неизбѣжность которыхъ онъ вѣрилъ. Заступающій, сіяя молодымъ лоснящимся отъ дородства лицомъ, всегда съ радостнымъ волненіемъ отъ того, что говорилъ съ губернаторомъ о не служебномъ, докладывалъ, что старикъ поправляется и уже затребовалъ текущія дѣла.

— Я радъ, радъ, передайте ему мой привѣтъ, — любезно говорилъ губернаторъ и думалъ:— Подготовляетъ ликвидацію своей дѣятельности. Твердый старикъ!

Но вскорѣ губернаторъ былъ удивленъ, когда старикъ явился къ нему съ визитомъ поблагодарить его за вниманіе. Губернаторъ былъ очень ласковъ съ нимъ, но почувствовалъ неловкость самому первому заговорить о томъ, къ чему ста-

рикъ пришелъ во время своей болѣзни, справлялся только о здоровьѣ и ждалъ, что будетъ говорить онъ самъ. А старикъ только благодарилъ его за вниманіе и ту радость, которую онъ ему доставилъ своимъ визитомъ, вскользь сказалъ, что теперь онъ поправился и поскрипитъ, пока Богъ грѣхамъ терпитъ. Губернаторъ все ждалъ, внутренне настороженный, того, что онъ считалъ главнымъ и важнымъ, но старикъ, какъ ни въ чемъ не бывало, точно ничего и не было говорено имъ, перекинулся нѣсколькими словами о томъ, что интереснаго произошло за его болѣзнь въ общей жизни и уѣхалъ.

Оставшись одинъ, губернаторъ почувствовалъ себя обманутымъ. Ему стало неловко самого себя.

— Почему онъ, однако, ни однимъ словомъ?—спрашивалъ онъ себя.

Назрѣвала непріятная догадка, такъ не хотѣлось ей вѣрить и губернаторъ сталъ думать, что старикъ не сказалъ потому, что чувствовалъ неловкость.

— Вѣроятно, боялся, что я буду уговаривать его, убѣждать, настаивать, и ему было непріятно въ этомъ мнѣ отказать!

Предсѣдатель сталъ появляться на засѣданіяхъ снова, и губернаторъ всегда съ особой остротой прислушивался и присматривался къ нему, ожидая того новаго, что по его мнѣнію непремѣнно должно было появиться въ немъ.

Но старикъ сталъ прежнимъ: тѣ же убѣжденія, тѣ же взгляды, и даже то же выраженіе сонливости появилось на его лицѣ, когда въ засѣданіи среди дебатовъ по какому-нибудь запутанному вопросу онъ неожиданно дѣлалъ такое предложеніе, которое сначала вызывало недоумѣніе своей простотой, а потомъ вдругъ оказывалось, что это единственный практическій выходъ изъ создавшагося положенія.

Почувствовавъ, наконецъ, что ждать уже нечего, и что онъ обманулся въ старикѣ, губернатору особенно было непріятно то, что обманулся онъ не введенный въ заблужденіе чьимъ-либо докладомъ, а обманулся лично самъ со своей интуиціей, повѣривъ словамъ старика. Этого губернаторъ не могъ простить ни себѣ, ни старику.

Самолюбіе было обидно раздражено, такъ хотѣлось найти такое объясненіе, которое бы примирило, успокоило.

Губернаторъ даже задумался, нѣтъ ли въ этомъ непріятномъ случаѣ предопредѣленія. Какъ-никакъ, а обманулся онъ

на земцѣ, и хотя земецъ этотъ не лѣвый, но все же земецъ, и не даромъ же правительственная власть всецѣло на земцевъ не полагается.

И хотя губернаторъ говорилъ себѣ, что все можетъ быть, что природа вещей еще не опознанная сила, но чувствовалъ, что предположеніе это и не объясняетъ и не успокаиваетъ.

Замѣчаніями старика предсѣдателя онъ продолжалъ дорожить попрежнему, теперь лишь у него появилось къ нему новое чувство. Раньше всякое мнѣніе онъ считалъ непреложнымъ, теперь же ему все казалось, что у старика и еще какое-нибудь другое имѣется про запасъ или на случай. И часто съ удовольствіемъ слушая его разсужденія, онъ въ то же время думалъ:

„А все-таки ты гусь лапчатый!"

И обидно, какъ иглой, кололо по самолюбію и неотвязно хотѣлось найти объясненіе и даже казалось, что оно въ чемъ-то простомъ и ясномъ и какъ будто уже приходило ему на мысль, но кто-то все мѣшалъ остановиться, сосредоточиться.

И только когда ему пришло въ голову, что все такъ могло произойти только потому, что, захворавъ, старикъ испугался смерти и обезволенный болѣзнью и страхомъ сталъ думать о грѣхахъ и о жизни, какъ самый заурядный человѣкъ, забывъ ту миссію, которая отведена ему въ жизни положеніемъ, губернаторъ почувствовалъ себя удовлетвореннымъ и успокоеннымъ. Это былъ елей, уврачевавшій рану самолюбія.

„Ну, да!—уже снисходительно добродушно думалъ губернаторъ,—я полагалъ, что онъ столпъ и кремень всегда и во всемъ, уважалъ его за это, но здѣсь замѣшалось отношеніе человѣка къ смерти, и въ этомъ случаѣ онъ оказался просто трусомъ. Постучалась она, такъ онъ одно запѣлъ, ушла—онъ за старое принялся, природу вещей не поборешь!" разсуждалъ губернаторъ, и ему доставляло удовольствіе, что все оказалось такъ просто, безъ какой-либо ошибки съ его стороны. Онъ даже вспомнилъ, какъ еще въ дѣтствѣ, онъ читалъ въ хрестоматіи про старика, уставшаго тащить вязанку и позвавшаго смерть, а когда та пришла, то онъ струсилъ и попросилъ ее помочь ему поднять вязанку.

И вспомнивъ, онъ улыбнулся, подумавъ: должно-быть, всѣ старики изъ одного тѣста!

И. Данилинъ.

---

* * *

Дѣвочка играетъ на полу въ столовой,
Строитъ кукламъ домикъ изъ помятыхъ картъ.
За окномъ капели,—садъ въ дыму лиловый,
Солнце въ синихъ лужахъ, влажный блескъ и мартъ.

Рядомъ, въ темной спальнѣ тихо плачетъ кто-то.
Маминъ слабый голосъ быстро говоритъ.
Красная лампадка гаснетъ у кіота,
Выгорѣло масло и фитиль трещитъ.

Сталъ отецъ у двери сумрачно и строго,
Руки сжалъ и, щурясь, смотритъ на кіотъ.
«Господи помилуй», тихо молитъ Бога,
«Господи помилуй»,—и кривится ротъ.

Дѣвочка играетъ. На дрожащей крышѣ
Черный тузъ пиковый. Значитъ, все? Конецъ?
И не слышно мамы. Въ спальнѣ плачутъ тише,—
И не смотритъ больше на кіотъ отецъ.

Ада Чумаченко.

Кровоборъ-Богатырь.

Кровоборъ-Богатырь трижды подымается. Онъ трижды подымается-отклоняется отъ изголовья своего отъ немягкаго.

Что въ ночной темнотѣ-то онъ трижды послушаетъ: не слыхать ли чего во полуночи. И не слыхать ничего во полуночи. Однѣ горы стоятъ безъ конца, безо времени, дождевыми слезами рыдаючись.

Да опять-ста послушаетъ Кровоборъ-Богатырь: не слыхать ли чего хоть отъ неба полночнаго. А черно и небо полночное, а и вѣтры гуляютъ по небушку буйные, облетаютъ и горы высокія—каменныя.

А послушаетъ Кровоборъ-Богатырь, ухо чуткое ко сырой землѣ онъ прикладываетъ. И слыхать невзначай — словно точатъ ножи, да и словно гдѣ близко оттачиваютъ.

А и тутъ снаряжается въ путь Кровоборъ-Богатырь—своей грозной палицей встряхиваетъ,—своей палицей грозной да каменной,—одѣваетъ онъ шкуру свою семишкурную, что выходитъ онъ изъ темнаго своего логовища: ему кровушки вражеской хочется.

Разсѣваются туманы ночные-наземные, размыкается заря передъутренняя, спорыдается утренній милъ-бѣлый свѣтъ. То ни день, ни два проходятъ безъ времени,—проходитъ недѣля безъ малаго: долина передъ Кровоборомъ разстилается,—во долинѣ цвѣты расписались цвѣтами-разводами, луга широко-далеко пораскинулись, широко заливные раздвинулись, вѣтерокъ-одинокъ на просторѣ катается, одуваетъ цвѣты онъ и тѣ расписанные, колыхаетъ траву онъ и ту легкотѣльную.

На пяти пядяхъ Богатырь онъ становится, на пяти пядяхъ отъ луговъ заливныхъ-широчающихъ. Величаются передъ нимъ луга красотой несказанною: — Ты спустись-сгустись, ночь по-

темная. Вы сомкнитесь, уста, — вы закройтесь, глаза, — затихайте вы, птахи небесныя.

Небеса приглубыя расширились, потемнѣли—висятъ ночью темною. Потухала заря тихо-поздновечерняя, а и малъ барвинокъ, цвѣтикъ маленькій—цвѣтикъ маленькій да поземистый—Кровобору вѣщалъ рѣчи вѣщія: — Ты засни-почивай, Кровоборъ-Богатырь. Ты засни-почивай да смыкай свои оченьки. Одна радость—уснуть, не радость и встать, уливаться слезами горючими.

Кровоборъ-Богатырь крѣпко спитъ-опочилъ, не слыхать ему рѣчи увѣтливой: — Ты засни-почивай, Кровоборъ-Богатырь, ты засни-почивай да смыкай свои оченьки. Ой не чаешь бѣды, ты не чаешь лихой да невзгоды-бѣды неминуючей.

Пробуждается тутъ Кровоборъ-Богатырь. Ему крѣпко спалось, плохо снилося. Подымается на выносливы ноги могучія,— подымается онъ, собирается въ путь: ему кровушки вражеской хочется.

Въ тѣ поры Златосвятъ-Богатырь пробуждается. Пробуждается онъ въ своей горницѣ не низенькой. Онъ глядѣлся вокругъ, бралъ мудреное зеркальце, что мудреное въ руку лѣвую да не въ правую, а и въ правую частозубчатый-мелкій гребень. Онъ расчесывалъ свои волосы тонкіе, онъ разнѣживалъ свои волосы вольные. Одѣвался онъ въ мелкошелковую ризу златотканую,—выходилъ Златосвятъ изъ-за крутой горы на высокій холмъ, — выходилъ на высокій холмъ, на долину глядѣлъ-охорашивался.

Онъ глядѣлъ на долину съ горы со крутой. Онъ глядѣлъ на деревья-кусты легкотѣльные. Онъ глядѣлъ, замѣчалъ да присматривался. И по утру сегодняшнему замѣчалъ онъ недоброе. То не громъ прогремѣлъ, не трава-чернобыль то повыросла, — Кровоборъ-Богатырь то стоитъ затуманившись, бровью черною принахмурившись.

Удивляется тутъ Златосвятъ-Богатырь. Онъ стрѣлу-то беретъ да калёную, а калёную-то стрѣлу быстролетную. Онъ хватаетъ стрѣлу, онъ пускаетъ стрѣлу, онъ бросаетъ ее отъ поднебесья: — Не туда ты зашелъ, Кровоборъ-Богатырь. Не туда ты зашелъ, ненавистливый. Ты ступай-ка назадъ, — ты ступай-ка назадъ, не ворочайся.

Кровоборъ-Богатырь осерж͡ается, онъ за большое камень хватается:—Ужъ не ты ли мой врагъ, ужъ не ты ли мой злой, Златосвѣтлое Солнце угрѣвное!—Тутъ пускалъ Златосвятъ онъ вторую стрѣлу, а вторую стрѣлу златокованную. Угодила стрѣла Кровобору-то въ грудь,—что не въ грудь—прямо въ сердце ему кровоборное.

Воздохнулъ Богатырь да упалъ онъ ничкомъ, онъ и самъ разметалъ руки сильныя. Говоритъ Кровоборъ:—Ахъ, ты святъ-богатырь,—ты ли Солнце мое Златосвѣтлое! Моя кровь потекла, ты уйми-ка ее да не дай умереть мнѣ безъ времени.

И пускалъ Златосвятъ прямо третью стрѣлу, прямо третью стрѣлу—забоженую. Перебила стрѣла Кровоборову молвь, что на вѣкъ-не на вѣкъ да безъ времени.

Укрощается тутъ Златосвятъ-Богатырь. Золотымъ вѣнцомъ голова его осіяется. Онъ безъ счета калёныя стрѣлы-то сыплетъ. Онъ безъ счета златокованныя разсыпаетъ. Плёско рѣчка струитъ во крутыхъ бережкахъ отъ налёта да стрѣлъ златосвятовыхъ. А и мѣдь колокольная тихо-звонко гудётъ—что отъ стрѣлъ золотыхъ златосвятовыхъ. То и лѣсъ полюбовно шумитъ—что отъ стрѣлъ золотыхъ златосвятовыхъ. А и самъ Златосвятъ онъ сіяетъ-горитъ, а и мѣдь колокольная брядцаетъ.

С. Разумовскій.

ИЗЪ П. ГРАБОВСКАГО.

(Съ украинскаго).

I

СОНЪ.

Зеленый лѣсъ, родное поле
Въ темницѣ снились мнѣ сырой,
И лугъ широкій, словно море,
И грустный надо всѣмъ покой.
Приснился садъ, родная хата,
Приснилась лѣтняя пора
И мать моя—тоской объята,
Въ слезахъ родимая сестра:
Лицо поблекло, станъ согнулся,
Надежды не видать въ очахъ...
И я заплакалъ и проснулся
Глухою полночью въ слезахъ.

II.

Все, что нами пережито,
Не убьетъ душевныхъ силъ;
Пушекъ громъ не испугаетъ,
Нашъ полетъ орлиныхъ крылъ.
Если будемъ мы бояться,—
Кто спасетъ нашъ край родной?
Ты,—борецъ,—бороться долженъ,
Ты,—пѣвецъ,—зови на бой!
Пронесется ночь глухая,
Солнце снова заблеститъ,
Загорятся счастьемъ очи,
Пѣсня вольно зазвучитъ.
Какъ росою благодатной
Оживится милый край...
Не сгибайся подъ грозою,
Въ счастье вѣры не теряй!..

Ив. Бѣлоусовъ.



М. В. Нестеровъ. ВѢРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ и СОФІЯ.

Аптекарь.

I.

Старый аптекарь Ведринъ сидитъ у окна, въ сморщенныхъ рукахъ его—фарфоровая ступка.

Осень. Небо свинцовое, вязкое, липкое. Гдѣ-то неугомонно и скучно пыхтитъ заводская водокачка. Пѣтухъ кричитъ намокшій; ему еще яростнѣе откликается съ сосѣдскаго двора. Потомъ еще загалдѣли пѣтухи на разные голоса. То звонкіе, то хрипло-простуженные. Индюшки пикаютъ подъ террасой,—должно-быть, залѣзли въ клумбу съ флоксами.

— Анютка! Анютка! — лѣниво и озлобленно кричитъ Ведринъ. — Куда подѣвалась, дрянь. Видишь: въ цвѣтахъ.

„Совсѣмъ нѣтъ людей, совсѣмъ нѣтъ", уныло думаетъ онъ и покачиваетъ плоской головою съ желѣзно-сѣрыми рѣдкими волосами. Сутулыя плечи поднимаются къ ушамъ.

— Подумать только: взялъ Анютку прямо съ улицы, можно сказать, у смерти вырвалъ,—и вотъ благодарность. Не можетъ индюшекъ укараулить.

Опять разноголосно перекликаются пѣтухи.

— Сколько же ихъ тутъ, этихъ пѣтуховъ, на дачахъ?—задаетъ себѣ вопросъ аптекарь и уныло считаетъ: „Разъ, два... четыре, восемь... Двѣнадцать пѣтуховъ—и только поблизости... Къ чему?"

Поѣздъ прокатывается въ сторонѣ по насыпи, въ березовомъ лѣскѣ, отдаваясь четко и сердито. Все пыхтитъ и пыхтитъ водокачка. На сосѣдней дачѣ сидитъ гувернантка съ дѣвочкой, дочерью адвоката Шисевича и учитъ ее французскимъ фразамъ, крича: не смѣй мнѣ говорить, что *le* pensée est violette! — „*la* pensée! *la* pensée!—Поняла?

— Тоже, вотъ, сердится...—угрюмо говоритъ себѣ Ведринъ и начинаетъ растирать въ ступкѣ мазь.—А чего сер-

дится, если дѣвчонка не понимаетъ... И гувернантокъ хорошихъ тоже нѣту... Отецъ вчера услышалъ, что она кричитъ на дѣвочку, а не сказалъ ни слова и ушелъ. Гдѣ найдешь порядочную гувернантку, чтобъ не кричала? Людей совсѣмъ нѣтъ. „Voila le chien blanc. Montre — moi le chat jaune"... Боже мой, когда же все это кончится, когда?..

По грязной, неизмѣримо грязной улицѣ проѣзжаетъ груженая рельсами телѣга. Какой нестерпимый, слухъ разрывающій лязгъ издаютъ рельсы! Хочется запустить ступкой возчику въ бороду и крикнуть ему, совсѣмъ какъ гувернантка: „Не смѣй перевозить эту дрянь; не смѣй!" А чѣмъ онъ виноватъ, если его хозяинъ заставляетъ?

Не успѣваетъ Ведринъ покончить съ этимъ, какъ весь сотрясается, всѣмъ тѣломъ. На малиновой дачѣ завели граммофонъ. „Дай мнѣ упиться!.." хрипитъ дикій, совсѣмъ звѣриный голосъ.

— Нѣтъ, есть же такіе анаѳемцы, что граммофоны покупаютъ!—холодѣя отъ злости, кричитъ аптекарь въ ступку.— Да будь я царемъ, я бы того, у кого граммофонъ, въ шею, въ шею... въ шею!..

Поднимается, снова глядитъ въ окно Ведринъ.

— Тоже называется культурное общество, товарищъ прокурора, имѣетъ ордена и медали и вдругъ для тещи граммофонъ купилъ. Да, скверно живутъ люди на дачахъ...— Захлопываетъ окно аптекарь и отходитъ къ конторкѣ.—А все отъ того, что нѣтъ воспитанности. Развѣ кто за границей позволитъ себѣ играть на граммофонѣ съ девяти утра до ужина! Тамъ живо ротъ заткнутъ, не безпокойся... А еще товарищъ прокурора, законы соблюдать поставленъ, стыдись.

— Если ты мнѣ, охальница, еще разъ пережаришь телятину,—я тебя въ шею выгоню!—говорятъ еще гдѣ-то, у выгребной ямы, подъ осинками. Неужели это попадья вернулась? Только было отдохнулъ недѣлю отъ попадьи, а она вновь пріѣхала. А сказывала—на богомолье. Ну, и дачи настроены,— клѣть на клѣти. Слышно даже, какъ сосѣдскій дворникъ въ сторожкѣ храпитъ.

Опять курлыкаютъ подъ террасой индюшки. Навѣрное Анютка заснула на кухнѣ.

— Анютка! Анютка. Долго я буду кричать!..

Выходитъ изъ кухни Анютка, четырнадцатилѣтняя, заспанная, съ носомъ какъ луковица, съ жидкой косичкой—точно мочальный хвостикъ. Жуетъ что-то и лѣниво машетъ на индюшекъ хворостиной. Неужели опять на кухнѣ весь творогъ пожрала!

Вотъ она, человѣческая благодарность. Прямо, можно сказать, отъ смерти спасъ, какъ въ дифтеритѣ валялась. Позвалъ его тогда сторожъ,—отецъ и мать померли, одна валялась въ избѣ, какъ тарелка.—Что такое?—„Должно, лихорадка, да и горло прихватило". Такъ скверно пахло въ избѣ плѣсенью и потомъ. Хриплое дыханіе, соединенное съ скрежетомъ. Отца и мать похоронили сосѣди, только Анютка и осталась. Посмотрѣлъ ей въ ротъ Ведринъ: совсѣмъ не лихорадка,—этажемъ выше. Насильно раскрывъ ротъ, съ отвращеніемъ вырвалъ изъ зѣва сѣрую твердую пленку. Лежитъ словно овца, глаза широкіе, испуганные, полные страха смерти. Однако, отходилъ. Мало того, что отходилъ,—взялъ въ услуженіе, благо кухарка скончалась. Ужъ, кажется, по гробъ жизни должна быть Анютка благодарна, а ей лѣнь какъ слѣдуетъ за птицею присмотрѣть.

— Послушай, если еще разъ выпустишь ихъ на клумбы, ремнемъ до смерти запорю. Поняла?

Ничего не отвѣчаетъ, только плечомъ передернула. Достаетъ что-то изъ-за пазухи и жуетъ. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, творогъ. А вѣдь ничего не подѣлаешь, полопаетъ весь творогъ, что на ужинъ приготовленъ.

II.

Обращаются къ себѣ мысли Ведрина.

Аптека. Сорокъ два года аптека. Сорокъ два года всѣ эти склянки и банки—эти alumen ustum, aqua Picis, oleum olivarum. Полки чуть не до дыръ протерлись, на потолкѣ копоть отъ лампы и пауки,—цѣлыя поколѣнія пауковъ,—за образомъ посѣдѣлая отъ пыли вѣтка вербы, которую еще въ годъ открытія аптеки заложилъ. А полъ, дачный крашеный полъ, по которому онъ ходилъ сорокъ два года. На полу проложены дороги—сѣрыя, не только протертыя, а точно вырубленныя или выгрызанныя—и все это отъ сапогъ, отъ его, Ведрина, сапогъ.

Съ самаго въѣзда полъ не красили, и отъ этого по нему и образовались на желтыхъ половицахъ дороги: вотъ туда онъ

ходилъ за chininum muriaticum, туда за бертолетовой солью, а эта дорога называется длинно: acidum hydrochloratum dilutum.

Пріѣхалъ сюда двадцатилѣтнимъ, съ каштановыми усами, съ проборомъ на головѣ, а теперь сидитъ сутулый, сѣроволосый, близкій къ смерти, не нужный никому.

Что скрывать: конечно, и близкій къ смерти, потому что болѣзнь печени неизлѣчима, и никому не нужный, потому что—одинъ; и всегда былъ одинокимъ, несмотря на то, что одно время былъ и женатъ. Разошелся съ женою, убѣжала жена; молодая была жена, обѣднѣвшая графиня.

Эта вотъ колея въ полу ведетъ изъ аптечной комнаты въ спальную. Самая широкая, самая ровная, прямая какъ половикъ. Другія колейки узкія, всего въ четверть, а эта дорога шириною въ аршинъ,—замѣтно, что двое ходили: онъ да жена. А за дверью—только кухня да чуланчикъ, вотъ и вся квартира, если не считать терраски, гдѣ лѣтомъ можно пообѣдать или поспать.

Сорокъ два года снимаетъ Ведринъ верхъ этой дачи подъ аптеку; умерли двѣ прежнихъ хозяйки, чиновницы; умерла и ихъ племянница, вдова пароходнаго капитана, къ которой послѣ чиновницъ имущество перешло; теперь дача принадлежитъ сыну капитанши, малолѣтнему, надъ которымъ учреждена сиротскимъ судомъ опека, и разъ въ мѣсяцъ за квартирными является опекунъ. Прыщеватый, въ путейской фуражкѣ, съ эспаньолкой и тросточкой, съ фальшивой бирюзой на мизинцѣ, вертлявый и противный.

— Надо бы, надо бы надбавить,—говоритъ онъ аптекарю и кучевряжится, скаля зеленые зубы.—Потому, общее вздорожаніе и прификсы,—только волю тетеньки соблюдая, оставляю статусъ кво.

То-есть, такъ противно говоритъ, что взялъ бы, кабы сила была, сгребъ за воротникъ и его же тростью по всей спинѣ. Рыло противоестественное, а туда же, франтитъ и усы съ брилльянтиномъ, и поддѣльныя кольца, и все. „Некрасивые должны одѣваться просто и скромно,—думаетъ дальше Ведринъ.— „Вотъ я, напримѣръ, и зиму и лѣто въ черномъ сюртукѣ“.

Осматриваетъ себя. Пятна по груди сѣрыя и желтыя, вѣроятно, отъ кислотъ; рукавъ прожженъ у плеча,—да, одѣвается онъ скромно.

Годы и мѣсяцы, дни и недѣли крутились въ неустанномъ бѣгѣ, какъ стрѣлки часовъ. Въ опредѣленный часъ онъ вставалъ и пилъ овсяный кофе. Въ опредѣленный часъ открывалъ аптеку и начиналъ готовить свои порошки; въ опредѣленные часы являлись кліэнты и паціенты, и Ведринъ зналъ всѣхъ въ лицо, зналъ, чѣмъ каждый боленъ, что каждому нужно и часто до разговора подавалъ больному то, зачѣмъ онъ приходилъ.

Да и не такъ трудно было узнать жителей дачнаго поселка. Жило въ немъ всего тысячи полторы народу, лѣтомъ нѣсколько прибавлялось; развѣ трудно переузнать двѣ тысячи тому, кто сорокъ два года на одномъ мѣстѣ.

Утромъ появлялись прежде всего чернорабочіе,—особенно по понедѣльникамъ, когда отъ воскреснаго дня въ головѣ трещало; кое-кто забиралъ порошки, кто касторку, кто вазелину отъ синяковъ, а иные, ссылаясь на зубную боль, требовали виннаго спирту. Когда аптекарю было двадцать пять лѣтъ,—не отпускалъ: зналъ, что спиртъ берется на похмелье; а съ тридцати двухъ ужъ не сопротивлялся: какое ему дѣло, ему, Ведрину, что такой-то столяръ мертвецки пьетъ?

Утромъ же, передъ отправкой на службу, забѣгали чиновники и служащіе въ конторахъ; это все больше народъ нѣжный: спрашиваютъ фенацитины да мигренины, да кофеины—и все отъ того, что вмѣсто спанья до разсвѣта за стуколкой просидѣли; а начальство требуетъ, чтобы чиновникъ весело занимался, былъ съ посѣтителемъ учтивъ, глядѣлъ бы въ глаза начальнику радостно и лицомъ чтобъ сіялъ... А какъ тутъ засіяешь, когда отъ проигрыша щеки свернуло!

Послѣ полудня являются женщины. Тетушки, кумушки и свояченицы, жены уѣхавшихъ на службу чиновниковъ, дѣти и сироты. Время это для Ведрина было самымъ противнымъ. Дѣлать женщинамъ нечего, въ домѣ поубрались, вотъ и приходятъ для развлеченія въ аптеку; покупаютъ на гроши: кольдкрему, да шпилекъ, да туалетной водицы, а разговоровъ на три короба: и сны, и сплетни, и про ссоры съ мужьями разсказываютъ, а иногда такіе неприличные вопросы задаютъ, что аптекарь до тридцати двухъ лѣтъ краснѣлъ и конфузился. Съ тридцать третьяго пересталъ. Отвѣчалъ дерзко и грубо, смотря прямо въ глаза. И странно: точно нравились женщинамъ его циничные отвѣты. Или онѣ его за мужчину не считали? Его, маленькаго, сутулаго, съ испитымъ и озлобленнымъ лицомъ?

Къ вечеру обыкновенно заходили въ аптеку по настоящему больные и пьяные. Пьяными приходили старые чиновники; они рыдали тутъ же на прилавкѣ, біясь о дерево головой и жалуясь на женъ; требовали себѣ нашатырю или ціанистаго кали, но получивъ на десять копеекъ мятныхъ лепешекъ, чтобы „не шелъ винный духъ", уходили смиренно. Выпившими являлись и стрѣлочники со станціи и смазчики, и сцѣпщики, и кочегары. Они же чаще всего являлись и больными. Сорокъ два года прошло, а помнитъ угрюмый Ведринъ, какъ принесли ему сцѣпщика вагоновъ, которому размололо спину и грудь сдвинувшимися вагонными буферами. Еще помнитъ, какъ разрѣзали одному дворнику ножемъ животъ, при игрѣ въ орлянку, и какъ онъ прибѣжалъ въ аптеку, поддерживая руками выпадавшія внутренности. Два случая на протяженіи сорока двухъ лѣтъ запомнились; а остальное все было обыкновенное: инфлуэнціи, тифы, мордобитія да лихорадки—такъ все время и шло.

— Эка! Всю жизнь затянуло!—точно впервые осознавъ это, говоритъ старый аптекарь.

III.

Нельзя сказать, чтобы существованіе его было бѣдственно; нѣтъ, жить было можно; хоть и дачный поселокъ, а все же лѣчилось достаточно. Взять хотя бы такую осень,—Ведринъ взглядываетъ въ окно,—сколько однихъ зубовъ переболитъ. А каждая зубная боль—аптекарю гривенникъ.

„По меньшей мѣрѣ, гривенникъ,—зачѣмъ-то поправляетъ себя Ведринъ.—Другой, какъ заберетъ боль, гривенникомъ не обойдется: и зубной элексиръ, и іоду, и камфарнаго спирту... А тутъ еще желудочныя разстройства. Яблоки, арбузы, все поѣдаютъ зеленымъ,—къ тому же сырая вода... Нѣтъ, аптекарю даже на дачѣ жить можно, особенно осенью".

Притаившійся, настороженный, болѣзненно-зоркій взглядъ направляется по бѣлой колейкѣ пола за дверь, въ спальную. Стоитъ подъ постелью кованый сундучекъ и привинченъ онъ къ полу гайками и запертъ пудовымъ замкомъ, а вверху щелка продѣлана копилочная. Въ годъ, какъ жена убѣжала, отъ соблазна и ключъ въ озерѣ утопилъ, чтобы не раскрывать сундука. Наберется трешница,—сейчасъ бумажку въ сундукъ черезъ щелку. А иногда и пять рублей, даже десять въ „уро-

жайный“ день сколотится. Рѣшилъ аптекарь по мелочи въ копилку не опускать. Серебро въ сумочку собираетъ,—еще отъ жены осталась; наторговалось на три рубля, сейчасъ у посѣтителя серебро обмѣнитъ, а бумажку—въ сундукъ. Отъ грѣха сначала больше пряталъ, чтобъ на женщинъ не соблазниться. Хотѣлось женѣ убѣжавшей презрѣніе показать. Не надо женщинъ, всѣ онѣ—дьяволицы; отъ женщины на землѣ всякое зло и напасть.

Конечно, когда сбѣжала, непріятно было. Дачницы заходили, ехидно выспрашивали подробности; обидно и въ сердцѣ было: отчего не жилось? Плохо ли было? Лучше ли въ подвалѣ жила, когда съ голоду умирала? А еще графиней называлась, дочь графа Крамского,—народилъ десятокъ дѣтей, да и промотался. Тоже: графъ, благородный человѣкъ, а подъ конецъ въ разныхъ калошахъ по улицѣ разгуливалъ, въ пивныхъ лавкахъ прошенія писалъ, въ пьяномъ видѣ грозился всю семью перерѣзать. Вотъ въ какой обстановкѣ Евгенія жила; вытащилъ ее на свободное житье, отъ нищеты спасъ, а она убѣжала съ чиновникомъ изъ казначейства, съ женатымъ убѣжала, — еще жена приходила въ аптеку и бранилась.

— Собственно говоря, надо бы какъ-нибудь собраться да пересчитать,—думаетъ Ведринъ.—Уже много лѣтъ копится да складывается; въ былое время бумажки падали легко и свободно, а теперь зачастую приходится аптекарской ложкой въ дырку проталкивать: и шуршатъ такъ, точно сундукъ—уже до краевъ.

— Съ котораго же это года?.. Сейчасъ шестьдесятъ восемь, аптека стоитъ сорокъ два. Двадцати пяти на Кандидовку пріѣхалъ, сорока семи женился, борода уже сѣдая была. Три года съ женою прожили; еще при женѣ сундучекъ появился, стало-быть, лѣтъ двадцать стоитъ. Если по двѣ тысячи—сорокъ тысячъ, а навѣрное больше. Надо бы бумажки пересчитать, сложить пачечками и увязать бичевой... да страшно сундукъ открывать было: вдругъ соблазнъ!

IV.

А соблазны были. Ночью, особенно осенней, когда кажется, что жизнь—безпросвѣтная ночь, что день не начинался и не начнется, а передъ окнами—сплошная сѣрая завѣса дождя,—

соблазны ложились на сердце аптекаря: раскрыть сундукъ и считать.

Считать для того, чтобы убѣдиться крѣпче: сколько скоплено, сколько силы? Сила должна быть велика: развѣ деньги не сила? Развѣ съ ними нельзя взять все?

И разные были соблазны: напримѣръ, выстроить себѣ новый домъ; не домъ, а дворецъ съ зеркальными стеклами, съ башней, съ флагомъ, и стекляннымъ шаромъ въ саду; жениться на самой первой красавицѣ, а всякая изъ-за денегъ пошла бы... Жениться, къ примѣру, на сестрѣ той, убѣжавшей,—на Елизаветѣ, у которой косы длинныя, сѣрыя, и лицо блѣдное съ угасшими глазами, и талія тонкая какъ свѣча или березка... Жениться бы и взять въ домъ и наряжать въ кружева, чтобы та, убѣжавшая, видѣла, что лучше онъ живетъ, чѣмъ жилъ съ нею, что лучше, лучше живетъ и счастливѣе... какъ купецъ живетъ,—въ деньгахъ, въ радости, въ любви.

Что Елизавета пойдетъ,—сомнѣнія не было. Онѣ все еще жили въ каморкѣ у солдатки; въ сырости жили, въ грязи.—зимой безъ топлива, зимой и лѣтомъ безъ хлѣба. Было ихъ десять, теперь семь исчезло,—не то умерли, не то въ веселые дома ушли, не то кто-то на телеграфѣ служитъ. Двѣ сестры остались—Елизавета и Татьяна,—можно было такъ сдѣлать: взять обѣихъ къ себѣ въ домъ, какъ пашѣ жить турецкому... Вотъ, Евгенія убѣжала, а онъ еще лучше устроился: взялъ себѣ обѣихъ сестеръ и живетъ какъ турокъ.

А одинъ соблазнъ бывалъ ужъ совсѣмъ безтолковый: являлся онъ лишь въ самыя темныя ночи и послѣ него сильно болѣла у аптекаря голова: соблазнъ былъ—накупить на всѣ тысячи эѳира или бензина, заложить эѳиромъ всѣ входы на дачѣ и выходы и потомъ поджечь и взорвать все на воздухъ... все, все,—и сосѣдку съ граммофономъ, и попадью, и товарища прокурора, всѣ эти ступки, olea и venena, и слякоть осеннюю взорвать, и сердце разорвать на двое, которое ночью осенней все не можетъ уснуть; и скуку разорвать тошнотную, что обременяетъ до того, что меркнетъ душа...

Но такіе соблазны являлись рѣдко. Ведринъ понималъ, что это безуміе, а сходить съ ума не хотѣлось. Сила копилась ежедневно и ежечасно, а съ силой—счастье.

— Все дѣло въ томъ, что надо бы развлечься,—говорилъ онъ себѣ и смотрѣлся въ зеркало, и глядѣло со стекла на него



С. В. Малютинъ. МАЛЬЧИКЪ.

худое желтое всклоченное лицо съ водяными мѣшками подъ глазами, съ косматымъ кривымъ клокомъ желѣзносѣрой бороды.

— Посчитать бы деньги, жизнь упорядочить, а тамъ все хорошенько обдумать. Не въ самомъ же дѣлѣ всю жизнь сидѣть одному. Можно было и жениться и въ домъ родственницу пригласить,—жила съ дѣтьми въ Костромской губерніи,—мало ли что можно сдѣлать? Главное же, надо было что-то измѣнить, что-то отбросить, воздуху свѣжаго напустить въ спальню, а то все одно и одно. Вотъ она, жизнь.

Въ сущности, стоя сорокъ лѣтъ за конторкой, онъ не видалъ ни солнца, ни лѣса, ни весны; выходилъ на улицу лишь когда запиралась аптека, а тогда бывала ужъ ночь. И открывалась аптека въ сумеркахъ; такъ что солнце видѣлось только на бутылкахъ съ кислотами да на банкахъ съ порошками.

— Вонъ и извозчикъ и садовникъ ѣздятъ по улицамъ, кондукторъ въ своемъ вагонѣ проѣзжаетъ полями, охотникъ по лѣсамъ ходитъ, по берегамъ рѣчекъ; какой-нибудь печникъ и тотъ взлѣзаетъ на крышу и видитъ небо; а вотъ онъ, аптекарь, Егоръ Петровичъ Ведринъ, неба не видалъ. Онъ видитъ только полки и банки, только постель и кресла, и конторку, и желтыя бумаги рецептовъ; сейчасъ его помутнѣвшее зеркало кажетъ ему желѣзные волосы и морщины, и мѣшки, и отцвѣтшія губы; а вѣдь и у него были волосы мягкіе, и лицо было розовое, и усы каштановые, и проборъ на головѣ былъ... Куда же все это ушло? Гдѣ сгинуло? По чьему приказу, за что? За что онъ заживо похороненъ въ ящикѣ, и теперь близокъ тотъ день, когда печень заломитъ сильнѣе, и онъ уляжется въ ящикѣ еще меньшемъ, уляжется скромненько и чинно, вытянувъ ноги и руки скрестивъ, которыми онъ сорокъ два года растиралъ мази и сорокъ два года деньги принималъ... Да, жизнь закрыта, будущее стерлось и уничтожилось, если и было... если и ожидалось.

V.

— Ждалъ ли онъ чего-либо отъ жизни?—Ведринъ не можетъ сейчасъ себѣ отвѣтить. Если и ждалъ, то давно это было и теперь все забыто, если когда-то надежды и цвѣли.

Родился онъ въ семьѣ бѣдной и ничтожной, въ домѣ торговца гробами. На окраинѣ города у рѣчки стояла лавочка и

около нея высились деревянные кресты и гроба, словно на дыбы поднявшіеся, зіяющіе, приставленные къ забору.

— Въ томъ городѣ мало умирали,—такъ по крайней мѣрѣ разсказывалъ отецъ, узкоплечій, широколицый, усталый, у котораго точно чужая висѣла на тощей шеѣ пухлая квадратная голова. И груди и живота у него словно не было, и руки болтались какъ плетки, а голова была огромная, съ раздавшимися щеками, и на лицѣ точно застежка и пуговица виднѣлись ротъ и носъ. Умирали рѣдко, а если и умирали, то родственники почему-то лавку Ведрина обходили; все заказывали въ большомъ магазинѣ купцовъ Собачкиныхъ, гдѣ „драли втридорога и поставляли скверный матеріалъ". Отецъ Ведрина перебивался, какъ говорится, изъ пустого въ порожнее, однако, въ свое время женился на генеральской экономкѣ, которая родила ему недоноска; Егоръ Петровичъ появился на свѣтѣ на два мѣсяца раньше срока и отъ этого, сказывали, и вышелъ сутулый, съ ущемленной головой. У экономки, можетъ-быть, были деньги, но и ихъ „вбили въ гроба", какъ припоминалъ Егоръ Петровичъ; когда былъ маленькимъ, ему часто доводилось замѣчать ссоры отца съ матерью; мать тогда начинала бить посуду, а отецъ обзывалъ ее потаскушкой и такъ хлопалъ дверью, что падали и дрожали словно испуганные кресты и вѣнки.

Такъ или иначе денегъ не было, жили бѣдно и скудно, гроба не распродавались и, можетъ-быть, именно для того, чтобы помочь своему дѣлу, и опредѣлилъ Егора Петровича въ аптекари отецъ. Но дожить ему не удалось. Не довелось и аптеки у сына увидѣть: еще когда учился Егоръ Петровичъ, пришло отъ матери письмо. Хоронилъ старый Ведринъ купца, сталъ поднимать гробъ съ тѣломъ на дороги, надорвался и тутъ же померъ. Такъ писала Егору Петровичу мать.

Онъ пріѣхалъ, лавку закрыли, пораспродали за безцѣнокъ матеріалъ, перебрались жить въ меблированныя комнаты. Разсказывала мать, что надѣется на какого-то генерала, но возвращалась больше безъ денегъ, хотя веселая и пѣла пѣсни. А уѣхалъ Егоръ Петровичъ на ученье,—умерла и мать. Хоронила ее та костромская родственница, которая и посейчасъ осталась; а безъ нея Ведринъ уже совсѣмъ одинъ.

Открыть аптеку ему посчастливилось случаемъ. Иначе такъ и умереть бы Ведрину провизоромъ въ чужомъ дѣлѣ: слу-

чайно пришло ему въ голову купить вмѣстѣ съ товарищами по службѣ въ разсрочку билетъ, а на билетъ въ тотъ же годъ выпалъ выигрышъ, пятнадцать тысячъ, которыя пришлось на четверыхъ раздѣлить; паекъ у Ведрина оказался достаточнымъ, чтобы купить у стараго дачнаго аптекаря его заведеніе. Когда покупалъ, было кандидовскому аптекарю за семьдесятъ лѣтъ, а ему двадцать пять; теперь онъ самъ, Ведринъ, сталъ старымъ аптекаремъ и, можетъ-быть, вскорѣ на смѣну ему придетъ другой, и тоже, можетъ-быть, съ каштановыми усами... и будутъ такъ каштановые волосы смѣняться плѣшью; морщиниться щеки, выпадать зубы, а жизнь будетъ итти дальше, странно неясная, точно заколдованная въ непостижимой и злой ироніи, въ безглазой пустотѣ.

— Да, вотъ какъ не живи, а всего еще лѣтъ шесть или восемь, а тамъ и въ ящикъ... Кому тогда эта самая аптека и набитый бумажками сундучекъ?

Розовѣетъ отъ волненія лицо Егора Петровича. Что-то не то и не такъ, и вся жизнь прошла точно въ плѣсени, и точно надсмѣялся надъ нимъ кто-то ядовито-забавно, надъ нимъ и его кованымъ, полнымъ кредитокъ сундукомъ.

VI.

Хотя и женился онъ пожилымъ, почти пятидесятилѣтнимъ, но показалось ему въ первые мѣсяцы, будто онъ совсѣмъ не старый и не сутулый, и точно кровь горячимъ токомъ бѣжала по его жиламъ. Чувствовалъ онъ себя и смѣлымъ и сильнымъ и уже тогда богатымъ чувствовалъ, ибо зналъ, что будетъ богатъ.

Онъ такъ много думалъ тогда о себѣ и только о себѣ, что лишь теперь, по прошествіи столькихъ лѣтъ, словно впервые припоминаетъ: какое блѣдное и угрюмое было лицо Евгеніи, его молодой жены.

Еще потому онъ мало надъ женою думалъ, что не могъ сомнѣваться; не западали сомнѣнія: развѣ можно было жизнь спокойную, въ домѣ мужа, хоть сколько-нибудь сравнить съ тѣмъ жалкимъ существованіемъ, которое приходилось ей влачить въ отцовской конурѣ. Вѣдь только званіе одно, что графиня,—не видалъ развѣ Ведринъ: носила Евгенія башмаки на босую ногу,—не было подчасъ и чулокъ. Не заставалъ онъ

ее на мытьѣ бѣлья за корытомъ? Не видѣлъ заплатъ на кофточкахъ, а на шеѣ — голодныхъ морщинъ? Зачѣмъ же было послѣ всего этого заглядывать въ женино лицо, когда была она, по всѣмъ статьямъ, внѣ себя отъ блаженства.

Конечно, Ведринъ былъ всегда экономенъ, даже и въ первое время съ женою; но вѣдь только бережливостью и вышелъ онъ въ люди; конечно, приходилось женѣ шить ему въ свободное время сорочки и носки штопать, но развѣ она къ этому не привыкла. Еще бы не доставало: прислугу держать, когда на двоихъ и готовить-то всего полчаса.

Зато по праздникамъ полагались развлеченія: ходить въ церковь. Самъ Егоръ Петровичъ богомоленъ не былъ: занятія ли медициной развили въ немъ невѣріе или съ дѣтства сохранились впечатлѣнія жизни у неудачника гробовщика,— только въ церковь онъ впервые зашелъ въ вербную субботу еще молодымъ, больше для прогулки,—тогда еще и вѣтку, въ годъ открытія аптеки, за икону заложилъ, а во второй разъ былъ въ церкви на собственной свадьбѣ,—только всего.

А жена могла развлекаться: все-таки служба, пѣвчіе, нищенки, народъ; священникъ иногда заходилъ въ аптеку... Вообще же Ведринъ гостей не жаловалъ. Не пускалъ онъ къ себѣ и сестеръ жены, а отцу ея, пьяницѣ, было запрещено и близко мимо аптеки проходить: только кліэнтовъ распугивалъ да уваженіе уменьшалъ.

Какъ жена, Евгенія была не плоха,—не нравилось только въ ней Егору Петровичу, что все молчала. Еще въ первые дни свадебные этого не замѣтилось, а потомъ стало явно: сядетъ у окна и молчитъ. Точно сердится или дуется на что-то, а время идетъ безполезно. Не разъ вмѣшивался въ эту безтолочь Ведринъ: чѣмъ сидѣть, починила бы рукава у сюртука, посолила бы груздей, помыла баночку. Поднималась Евгенія молча, молча все исполняла, что слѣдовало, а потомъ снова присаживалась къ окну. И обѣдъ проходилъ у нихъ въ молчаніи: только стаканы звякали да ложки стучали. Любилъ думать въ это время аптекарь. Сидѣлъ и думалъ—и все больше о женѣ. Какая она неблагодарная. Или злая она? Молчитъ и въ окно смотритъ, точно ждетъ кого-то. А кого ждать, когда дома все на мѣстѣ?

Собственно говоря, отъ женитьбы Егоръ Петровичъ только выигралъ. Невѣрнымъ оказалось, будто произойдутъ для его

кармана убытки—кормить лишній ротъ. Ѣла Евгенія немного, стало-быть, лишней затраты на содержаніе учитывать не приходилось; по крайней мѣрѣ, сглаживалась она тѣмъ полезнымъ, что въ жизнь привступило съ женой. Прежде всего, оказалось возможнымъ отпустить кухарку: Евгенія умѣла готовить; затѣмъ прачку оставили приходящей только для самаго чернаго бѣлья; убавились счета швеѣ и расходы по магазинамъ: все бѣлье могла отлично шить Евгенія, какъ отъ готовки на кухнѣ освобождалась. Вѣдь работаетъ же надъ мазями и микстурами Ведринъ, — а ей сложа руки сидѣть?

За три года, что прожили вмѣстѣ, она слова лишняго не сказала; подъ конецъ даже привыкъ къ ея молчанію Ведринъ: не говоритъ и не говоритъ. Обязанности свои исполняетъ, а разговоры... къ чему вообще разговоры, ежели суть въ работѣ, а не въ словахъ. Помнится, совсѣмъ пересталъ удивляться ея молчаливости Егоръ Петровичъ: въ самомъ дѣлѣ, сыта, обута, одѣта,—о чемъ же говорить. Скорѣе дивился Ведринъ, когда жена ротъ раскрывала: вотъ какая въ домѣ стояла спокойная тишина. Онъ даже привязался къ женѣ. Вечеромъ, заперши аптеку, принимался иногда шутить, приносилъ красное вино изъ лабораторіи, мензурки, — заставлялъ жену выпить, дарилъ ячменный сахаръ, „дѣвичью кожу“, миндаль. Но и выпивъ она молчала, только щеки алѣли. Красивѣе казалась она аптекарю тогда. Въ сущности, она, можетъ-быть, была красивой и всегда, но послѣ вина щеки такъ розовѣли, что хотѣлось ихъ ущипнуть, даже — признаться ли? — ударить, и потомъ приласкать.

Прекрасными и безпомощными становились въ такое время глаза жены.

VII.

И такъ же молча, какъ все дѣлала, какъ жила, ушла изъ дому Евгенія.

Случилось это такъ внезапно, что сначала Егоръ Петровичъ не хотѣлъ вѣрить; съ чего женѣ уходить отъ этакой жизни? И главное съ кѣмъ,—съ небогатымъ, мелкимъ чиновникомъ, да еще—женатымъ.

Никогда и не замѣчалось, что Евгенія была съ этимъ Шерупенковымъ близка. Являлся онъ иногда въ аптеку—такъ, лицо хлыщеватое, все больше „одоль“ покупалъ. Раза два, отлучась въ другую комнату, замѣчалъ Ведринъ, что они раз-

говаривали. Но непроницаемымъ бывало и тогда лицо Евгенiи. Да и о чемъ разговаривать, когда чиновникъ женатъ?

„Можетъ-быть, въ церкви видѣлись?—задаетъ себѣ вопросъ Егоръ Петровичъ и хмурится.—Да вотъ она какъ отблагодарила. Вотъ какъ доставлять женѣ развлеченiя. Теперь бы, кажется, другую и за калитку не выпустилъ. Вышла замужъ,— и сиди. Обвѣнчалась“.

И эта все сидѣла, — а вотъ убѣжала.

„Сидѣла — и убѣжала, — вотъ и вся жизнь жены. Что-то смѣшно сказать вслухъ и странно: сидѣла и убѣжала. Да, жизнь. А онъ со своимъ сундукомъ остался. Жизнь“.

„Позвольте, сколько же это прошло времени? — считаетъ Ведринъ угрюмо. — Женился сорока семи, женатъ былъ три года,—стало-быть, когда жена убѣжала, было ему пятьдесятъ, а теперь шестьдесятъ да еще восемь. Восемнадцать лѣтъ безъ Евгенiи прожито... какова-то стала она теперь?“

Припоминаетъ мысленно черты жены аптекарь. Да, навѣрное, порядкомъ измѣнилась. Прибавить почти два десятка лѣтъ къ какой ни-на-есть молодой женщинѣ,—это вѣско. Навѣрное, теперь и лицо расплылось, и два подбородка, и талiя, и грудь... Если даже ей шестнадцать было и то теперь, значитъ, идетъ къ сорока. Чиновникъ этотъ ее ужъ, конечно, бросилъ, можетъ-быть, поступила въ прачки или судомойки,—она, рожденная графиня, она...

Сдавленный смѣхъ потрясаетъ грудь Ведрина. Хочется смѣяться долго, затаенно-пронзительно, смѣяться съ наслажденiемъ, прямо въ лицо той, что убѣжала. Надо бы больше сдѣлать, чѣмъ посмѣяться: надо бы отыскать ее,—тамъ, гдѣ служитъ она въ кухаркахъ,—привести къ ней Елизавету, а то вмѣстѣ и Татьяну, привести и сказать: „Вотъ, здѣсь ты кухаришь, а онѣ, сестрицы твои, живутъ въ домѣ какъ барыни“. Это было бы дѣло,—аптекарь смѣется и чешетъ ногтями ладони.—Это было бы...

„Елизавета“!.. Да, это у нея косы длинныя, сѣрыя и лицо печальное, и угасшiе глаза. Она значительно моложе Евгенiи, ее недавно онъ видѣлъ: самое большое тридцать,—въ самой порѣ расцвѣта, а Татьяна — такъ и еще моложе: была самая младшая въ семьѣ.

Елизавета пойдетъ—въ этомъ не было сомнѣнiя. Въ конурѣ у солдатки не ахти какое житье. Можно прямо сказать: Ели-

завета, я дѣлаю тебя наложницей, въ сундукѣ у меня тридцать тысячъ. Не только Елизавета, но и Татьяна пойдетъ. Будутъ грызться изъ-за теплаго мѣста, еще ли у аптекаря не теплое житье. Ужъ изъ одного того пойдутъ, что ему скоро семьдесятъ лѣтъ: какихъ-либо пять-восемь годковъ—и всѣ тысячи—въ руки. Какая же устоитъ? Можно ли женщину найти, чтобы не согласилась? Согласится всякая,—и онъ между ними, какъ турецкій паша.

VIII.

Снова смѣется аптекарь; визгливо, притаенно, радостно. Да, сила. Сила лежитъ великая въ этомъ сморщенномъ кулачкѣ. Все время эти вотъ пальцы растирали мази, пилюли катали, порошки отмѣривали, а теперь въ нихъ словно сила электрическая, словно громъ и ударъ. Можетъ-быть, и не тридцать тысячъ, а всѣ шестьдесятъ? Можетъ-быть, семьдесятъ,—сколько и ему,—а можетъ-быть и всѣ сто? Развѣ ужъ такъ трудно накопить за двадцать лѣтъ, при желѣзной экономіи? Пять тысячъ въ годъ не набрать? При аптекарскомъ-то дѣлѣ? Мало больныхъ перебывало, мало трудовъ и лишеній принято? Можетъ, еще оттого и въ пятьдесятъ лѣтъ борода сѣдѣть стала, что только и была мысль напряженная: копить.

И вотъ теперь раскрыть бы сундукъ, вынуть сотню-другую и Елизаветѣ показать.

— Въ содержанки хочешь итти? Въ наложницы, въ работницы,—на всякое дѣло? Семь лѣтъ исполнять всякое, всякое безъ названія, а потомъ — болѣзнь печени и крышка, — и свобода тебѣ. Развратничай тогда — сколько въ душу войдетъ, влюбляйся, жуируй,—только одно: Женькѣ чтобъ ни гроша!— Ведринъ машетъ пальцемъ. — Чтобъ ни копейки ломаной, — ежели даже отъ голода подыхать будетъ. Одно разрѣшается— взять Евгенію въ домъ кухаркой, въ тотъ домъ, гдѣ быть барыней не пожелала, кухаркой ее, скотницей, поломойкой,— ха-ха!

Съ заливающими глаза слезами смѣется Егоръ Петровичъ.

— Да, да,—такъ и поступить, вынуть сотняшку Елизаветѣ и потомъ привезти въ домъ вмѣстѣ съ сестрой. То-то вотъ, вмѣсто одной, трехъ графинь имѣлъ наложницами. За одну еще двухъ привелъ — Елизавету и Татьяну... Да посмотрѣла бы она, что изъ ея дѣла вышло!..

— Теперь сосчитать и рѣшиться.—Съ ломотой въ ногахъ поднимается Ведринъ со стула, идетъ къ постели. Нагибается, старчески дышитъ, щупаетъ рукой сундучокъ.—Вотъ, стоитъ. Прикованъ къ полу, весь желѣзомъ обитъ,—вѣчный сундукъ и наполненъ вѣчнымъ,—тѣмъ, что даетъ все, всегда, отнынѣ и до вѣка,—и будетъ давать. Самые красивые рты улыбаются этой страшной силѣ; самыя крѣпкія двери раскрываются, расцвѣтаютъ весенними улыбками самыя цѣломудренныя сердца.

На мгновеніе Ведринъ представляетъ себѣ молодое, тонкое, неизвѣстное ему тѣло Елизаветы. Еще сегодня оно можетъ принадлежать ему. Придетъ Елизавета, сядетъ вотъ здѣсь — и все будетъ оглядываться на Ведрина непорочно-дѣвичьими испуганными глазами. Если даже слезы появятся,— тѣмъ лучше...— Тѣмъ лучше! — кричитъ въ окно Егоръ Петровичъ и снова смѣется. — Чѣмъ больше слезъ, страха и отчаянья, тѣмъ полнѣе и священнѣе его месть.— Скорѣе, скорѣе! — кричитъ онъ Елизаветѣ и съ хриплымъ, потрясающимъ все тѣло вздохомъ бросается на постель и тяжко дышитъ.

— Я все могу, у меня сто тысячъ, я все могу!..

IX.

Внезапно ухо его ловитъ осторожный хрупкій царапающій звукъ. Падаетъ сердце. Умираетъ душа.— Воры!..— Разбитое ужасомъ тѣло не можетъ шевельнуться, и Ведринъ лежитъ уткнувшись лицомъ въ подушку и не можетъ двинуться, хотя ему трудно дышать. „Какъ пахнетъ подушка затхлыми перьями!“ думаетъ онъ и ловитъ себя на томъ, что думаетъ о неважномъ, тогда какъ у окна, въ слѣпомъ безмолвіи осенней ночи, кто-то словно царапаетъ раму и отбиваетъ замазку, и потомъ вынетъ стекло... Да, выставитъ стекло и протянетъ руку къ оконному крючку; открываетъ его и — вотъ эта самая, неизвѣстная рука уже ложится клещами на его затылокъ.

„Спасите!—хочетъ крикнуть Егоръ Петровичъ и снова ухо его ловитъ звукъ уже приближенный.— Не у окна, а здѣсь, подъ постелью! — умирающей мыслью вскрикиваетъ Ведринъ.— Они уже пробрались въ домъ, залѣзли подъ кровать и теперь только ждутъ, чтобъ погасилъ онъ лампу, и тогда...“

„Спасите!“ хочетъ онъ крикнуть еще разъ, но внезапно припоминаетъ, что слышалъ этотъ хрустъ подъ постелью и вчера, однако, воры не вылѣзли и не убили его, и...

Была такъ напряжена мысль, что дальше умъ не работаетъ... „Не убили, значитъ, не воры... Мало ли что можетъ почудиться въ непогожей осенней тишинѣ. Можетъ-быть, вѣтка о стекло ударилась; можетъ-быть, птица возится у стѣны, въ оконномъ наличникѣ, а можетъ-быть, это просто храпитъ въ своей каморкѣ дѣвчонка Анютка, а ему почудилось нивѣсть что“.

— Конечно, Анютка! Она и возится! — успокоенно говоритъ Егоръ Петровичъ и поднимаетъ съ подушки лицо.—Вообще, онъ истеричный, онъ ипохондрикъ, онъ припадочный... Нѣтъ, теперь ничего...—Чувствуетъ, какъ жизнь входитъ въ тѣло и разливается по жиламъ. Горитъ обыкновенная лампа, стоитъ обыкновенная кровать, за стѣнкой спитъ самая обыкновенная Анютка, а онъ испугался химеры. Испугался химеры, а между тѣмъ именно химера—все это—ничтожное: Анютка, лампа, кровать, а въ дѣйствительности существуетъ только онъ, Егоръ Петровичъ Ведринъ, и его сундукъ.

Уже рѣшительно склоняется Егоръ Петровичъ къ сундуку. Въ рукахъ его топорикъ, съ нимъ онъ спитъ каждую ночь отъ воровъ; твердо-спокойнымъ движенiемъ онъ хочетъ ударить по замку, и останавливается, подавленный пылью. Двадцать лѣтъ никто не сметалъ ее подъ постелью, какая же пыль поднялась!

— Нѣтъ, надо иначе, надо кровать сдвинуть съ мѣста и потомъ при лампѣ все пересчитать.

Осторожно продвигаетъ онъ надъ прикованнымъ къ полу сундукомъ кровать; визжатъ и катаются подъ постелью какiя-то жестянки, туфли шуркаютъ, зацѣпясь за ножку постели; вотъ еще что-то загромыхало и покатилось: смотритъ Ведринъ: жестянка отъ халвы выкатилась и гудитъ по полу; какъ долго все это не убиралось, какъ долго лежало въ священномъ мѣстѣ, нетронутое... Вотъ и туфли выявились, милыя его ковровыя туфли, которыя онъ потерялъ восемь лѣтъ назадъ.

Теперь кровать отодвинута, и желѣзный сундукъ высится передъ глазами. Былъ онъ нѣкогда черный, а теперь сѣдой и пылью покрытъ точно мохомъ, и пыль окаменѣла на немъ мѣстами, какъ на старой драгоцѣнной бутылкѣ вина. Только полоска на крышкѣ сундука протерта и бѣлѣетъ, какъ ласы на половицахъ: это онъ опускалъ въ щелку бумажки—и рукавами краску на желѣзѣ обтеръ.

Осторожно смахиваетъ Егоръ Петровичъ пыль съ хранилища. Вотъ и щелка, драгоцѣнная копилочная щелка, которой онъ обязанъ всѣмъ счастьемъ жизни, которая впускаетъ черезъ себя отдѣльныхъ солдатъ непобѣдимой арміи, составляющихъ броню земной мощи. Впускаетъ, но не выпускаетъ обратно никогда, и ты, сюда входящій, оставь надежду, какъ плѣнникъ.

И вотъ, подошло время. — Ведринъ тихо смѣется, и рука его съ молоткомъ хищно дрожитъ.

Увѣренно и безжалостно, какъ безжалостна мысль, двумя ударами разбиваетъ онъ замокъ у пробоя и пляшущей въ лихорадкѣ рукой поднимаетъ крышку.

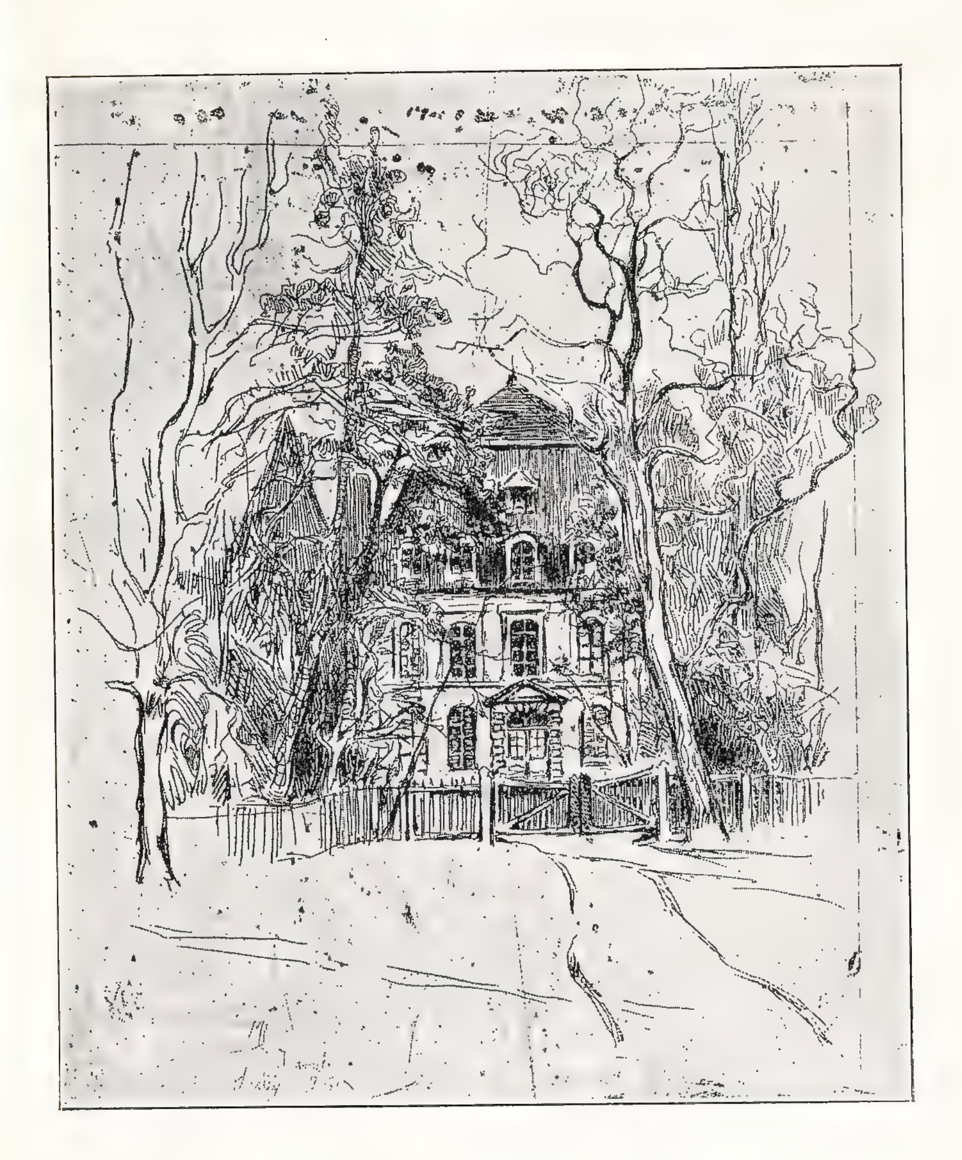
Старая лампа мигаетъ на табуретѣ, Ведринъ становится на колѣни передъ пастью сундука.

Слабый, словно дѣтски-безпомощный пискъ потрясаетъ его сердце. Шевелится что-то и прыгаетъ въ кучѣ драгоцѣнныхъ бумагъ, отчего кажется, что деньги бѣгаютъ.—Что? что?— беззвучно говоритъ Ведринъ. А въ крохахъ бумажекъ, слабо вертя голыми хвостами, снуютъ юркія голыя существа, и мать среди нихъ, жирная долгохвостая крыса съ испуганными глазами, черными какъ смоль.

— О! о! — не понимая ничего, — говоритъ Ведринъ, отшатываясь, садясь на пятки.

И блекнущимъ взглядомъ видитъ, какъ крыса нашла, наконецъ, выходъ: влѣво, у дна сундука зіяетъ круглое отверстіе, и она выбѣгаетъ черезъ него наружу, подлѣ гайки желѣзной скрѣпы, гдѣ была отогнута броня сундука.

Н. Крашенинниковъ.



М. В. Якунчикова. РИСУНОКЪ ПЕРОМЪ.

* * *

Лучами яркими весь искрится заливъ.
Я на горѣ стою, усталый, одинокій...
Какъ божій міръ теперь передо мной красивъ,
Какъ подо мною малъ тотъ городокъ далекій!..

Какъ муравьи ползутъ въ немъ люди тутъ и тамъ,—
И, жалкій муравей, стою и я надъ бездной,
Стою, предавшійся томительнымъ мечтамъ
О жизни суетной, слѣпой и безполезной.

* * *

Свѣтлымъ, сказочнымъ созданьемъ я твой обликъ унесу,—
Не хочу моимъ желаньемъ осквернить твою красу!
На закатѣ дней ненастныхъ для чего мой злобный рокъ
Пламя глазъ твоихъ прекрасныхъ на пути моемъ зажегъ?
Я свыкался съ тяжкой долей, къ мертвой скукѣ я привыкъ,—
Для чего же предо мною засіялъ твой нѣжный ликъ?
Не хочу я обладанья,—будь какъ сонъ мнѣ далека,—
Утоленныя желанья гаситъ блѣдная тоска.
Свѣтлымъ, сказочнымъ созданьемъ я твой обликъ унесу,—
Не хочу моимъ желаньемъ осквернить твою красу!

Д. Ратгаузъ.

ВЕЧЕРНЯЯ ПѢСНЯ.

Полдневный ленъ и розы отцвѣли...
Въ послѣднiй разъ, чуть зыбля свѣтъ въ пыли,
День шелестомъ касается земли...

И гдѣ свивалась нить дневного сна
Изъ зыбкаго цвѣтного волокна,
И близь и даль нѣмыхъ тѣней полна...

И гдѣ пылалъ о разномъ мигъ и мигъ,
Весь призракъ, какъ единый ликъ,
У звѣзднаго порога вдругъ возникъ...

Мiръ пестроты, свершившей свой завѣтъ,
Облекся въ прахъ безъ знаковъ и примѣтъ,
И на землѣ у сердца крова нѣтъ...

Въ твой звѣздный храмъ прiотворилась дверь,
И ты, душа распятая, теперь
Свой часъ пустой, какъ жребiй свой, измѣрь!

Ю. Балтрушайтисъ.

Савина и Варламовъ.

I.

Нѣсколько соображеній о сущности сценическаго искусства.

Примѣненіе извѣстнаго правила—„побѣдителей не судятъ"—во многихъ случаяхъ возмущаетъ нравственное чувство. Но есть область, въ которой правило это примѣняется съ полнымъ основаніемъ, не вызывая моральныхъ протестовъ. Это—область искусства.

Когда художникъ является побѣдителемъ? Когда онъ оказывается способнымъ вызвать въ созерцателяхъ, слушателяхъ или читателяхъ своихъ твореній ту самую настроенность души, которая была присуща ему самому въ моментъ созданія даннаго произведенія. Откуда-нибудь издалека доносится чистый, ясный звукъ. И исходящая отъ него воздушная волна вызываетъ отвѣтное дрожаніе въ соотвѣтствующей струнѣ музыкальнаго инструмента, находящагося на пути распространенія этой волны. Точно такъ же воздѣйствуетъ истинное художественное созданіе на струны человѣческихъ душъ. Если художнику удалось своимъ твореніемъ протянуть соединительную психическую волну между собою и тѣми, кто воспринимаетъ его творчество, въ такомъ случаѣ онъ — побѣдитель, въ такомъ случаѣ эстетическая цѣль творческаго процесса достигнута и осуществлена. Само художественное твореніе — картина, статуя, поэма, симфонія, сценическій образъ — служитъ при этомъ лишь передаточной матеріальной средой, чрезъ которую и посредствомъ которой происходитъ психическое зараженіе художникомъ цѣнителя его твореній. Именно этотъ процессъ психическаго зараженія и составляетъ истинное существо воспріятія художественныхъ созданій.

И сценическое искусство подчинено въ этомъ смыслѣ общимъ законамъ искусства. Но оно имѣетъ сверхъ того нѣкоторыя особенности, осложняющія его задачи. Всѣ художники кромѣ сценическихъ воздѣйствуютъ на людей уже готовыми продуктами своего творчества, но не самымъ процессомъ послѣдняго. Когда люди начинаютъ воспринимать ихъ творенія, творчество уже завершено и состоянія творящаго духа художника уже матеріализованы на вѣчныя времена въ его созданіяхъ. И эти созданія будутъ излучать изъ себя струи эстетическаго волненія на такихъ людей, которые никогда не были свидѣтелями самого хода ихъ создаванія.

Въ области сценическаго искусства, наоборотъ, воспріятіе художественнаго творчества неотдѣлимо отъ присутствованія при самомъ совершеніи творческаго акта. Каждый разъ, когда зрители воспринимаютъ созданіе актера, актеръ тутъ же, при самихъ зрителяхъ вновь создаетъ свое твореніе и внѣ этого условія сценическое искусство немыслимо *).

Пусть не говорятъ, что и актеръ готовитъ и вынашиваетъ свои художественные замыслы, а на репетиціяхъ даже и осуществляетъ ихъ раньше, чѣмъ они предлагаются вниманію зрителей. Вѣдь все это еще не самый творческій актъ актера, а лишь подготовительныя ступени къ нему. Самый же творческій актъ въ сценическомъ искусствѣ необходимо требуетъ присутствія и актера и зрителя по той причинѣ, что здѣсь самое содержаніе творческаго акта составляется изъ непосредственнаго психическаго взаимодѣйствія актера и зрителя. Если зрителю для воспріятія сценическаго творчества необходимо видѣть непосредственно передъ собою актера въ моментъ его игры, то и, наоборотъ, актеръ точно такъ же нуждается въ присутствіи зрителя, какъ въ необходимомъ условіи для осуществленія творческаго акта. Объясняется это тѣмъ, что во всѣхъ другихъ искусствахъ воспріятіе художественныхъ созданій отдѣлено отъ самаго творческаго акта, и психическое зараженіе идетъ односторонне: отъ художника чрезъ его готовое созданіе къ цѣнителямъ его творчества; тогда какъ сценическое искусство по самой природѣ внутренняго своего

---

*) До извѣстной степени сюда должно быть отнесено также и искусство исполненія музыкальныхъ произведеній. Многое изъ сказаннаго въ дальнѣйшемъ изложеніи относится и къ этому искусству.

содержанія предполагаетъ обоюдное, перекрестное психическое зараженіе зрителя актеромъ и актера зрителемъ. Уже одно присутствіе зрителей, даже если они ничѣмъ не выражаютъ своего отношенія къ игрѣ актера, даетъ последнему неуловимымъ образомъ то особое настроеніе, которое только и дѣлаетъ для него возможнымъ сценическое творчество. Живописецъ, композиторъ, поэтъ, скульпторъ творятъ свои созданія для будущихъ воспринимателей ихъ созданій, но актеру зритель нуженъ сейчасъ, въ самый моментъ его игры и не только потому, что игра актера не можетъ быть воспроизводима безъ участія самого актера, но и потому, что самъ актеръ не можетъ творить безъ участія зрителя, т.-е. не испытывая на себѣ отвѣтной волны настроенія послѣдняго.

Пусть не говорятъ также, что въ кинематографѣ найдено средство и для актера закрѣплять продукты своего творчества въ застывшей матеріализованной формѣ, могущей быть воспроизводимой передъ зрителями уже безъ непосредственнаго участія самого актера. Кинематографическая лента прежде всего не передаетъ голоса актера. А этимъ самымъ не вынимается ли изъ игры актера самая ея душа?

Правда, мнѣ какъ-то пришлось къ величайшему своему удивленію услыхать въ одномъ собраніи литераторовъ, т.-е. художниковъ слова, цѣлую филиппику противъ человѣческаго слова, какъ обычнаго орудія выраженія душевныхъ движеній. „Слово, — говорилъ представитель этого мнѣнія, — только мѣшаетъ выраженію душевныхъ состояній и потому да здравствуетъ безсловесность, да здравствуетъ нѣмой театръ, да здравствуетъ пантомима!“

Словоборецъ основывался на томъ, что наиболѣе глубокія душевныя движенія выражаются не словами, а паузами, ибо слово становится тутъ безсильнымъ, а истинно краснорѣчивымъ оказывается молчаніе. Что вѣрно, то вѣрно. Но вытекаетъ ли отсюда необходимость и возможность изгнанія человѣческой рѣчи изъ круга орудій художественнаго живописанія человѣческой психики? Ни въ коемъ случаѣ. Во-первыхъ, въ душевной жизни человѣка все же имѣется обширная область, не только доступная для словеснаго выраженія, но однимъ лишь словомъ только и могущая быть выражаемой наилучшимъ образомъ. Во-вторыхъ, если наиболѣе глубокія и сильныя дви-

женія души всего краснорѣчивѣе выражаются молчаніемъ, то вѣдь краснорѣчіе молчанія состоитъ тутъ именно въ томъ, что молчаніе приходитъ тогда на смѣну рѣчи, въ качествѣ многозначительной паузы. Но пауза только потому вѣдь и является паузой, что по обѣ стороны ея стоятъ слова. Краснорѣчиво молчаніе, какъ добровольный временный отказъ отъ слова, но абсолютная нѣмота никакого краснорѣчія заключать въ себѣ не можетъ. Наконецъ, въ-третьихъ, дѣло вѣдь не только въ словѣ, дѣло еще и въ звукѣ человѣческаго голоса, въ его тембрѣ, въ переливахъ его интонацій. Слова могутъ быть и ничтожны, въ то время какъ въ звукахъ голоса, ихъ передающаго, будетъ трепетать душевная страсть, которую помимо этихъ звуковъ не изобразитъ никакая нѣмая мимика.

Намъ почти неловко задерживать читателя на столь элементарныхъ соображеніяхъ, но—что дѣлать — приходится напоминать о нихъ въ наши дни, когда находятся литераторы, готовые предпочесть пантомиму говорящему театру, а торжествующій кинематографъ въ побѣдоносномъ шествіи по градамъ и весямъ цивилизованнаго міра не отказывается отъ претензіи начисто замѣнить собою театръ!

Если теперь мнѣ скажутъ, что со временемъ въ кинематографическое представленіе можетъ быть введена и человѣческая рѣчь при помощи соотвѣтствующаго приспособленія фонографическихъ приборовъ, то я замѣчу, что и при этомъ условіи механическое воспроизведеніе сценическаго изображенія не замѣнитъ самого этого изображенія по той причинѣ, что механическая передача игры актера будетъ лишена тѣхъ внезапныхъ трепетныхъ искръ, которыя загораются въ творчествѣ актера отъ одного ощущенія присутствія зрителей.

Итакъ, сценическое искусство по самой своей природѣ требуетъ сведенія лицомъ къ лицу творящаго художника и зрителя, однимъ лишь внимательнымъ участіемъ къ происходящему на сценѣ безсознательно сотрудничающаго процессу сценическаго творчества. Но своеобразіе сценическаго искусства этимъ не исчерпывается. Здѣсь творческій актъ сверхъ психическаго объединенія актера и зрителей производитъ еще психическое объединеніе зрителей между собою, превращаетъ на мигъ всѣхъ зрителей какъ бы въ единое духовное существо, живущее общимъ душевнымъ порывомъ. Достиженіе

этого второго результата составляетъ высочайшую ступень сценическаго искусства.

Вотъ почему истинный художникъ сцены нуждается не только въ зрителѣ, но и въ зрителяхъ, вотъ почему многочисленность зрителей повышаетъ тонъ его исполненія. Дѣло тутъ не въ тщеславіи, не въ жаждѣ внѣшнихъ доказательствъ успѣха, — все это лишь побочныя обстоятельства, — дѣло тутъ въ существенныхъ требованіяхъ самого сценическаго искусства, ибо согласно природѣ этого искусства актеръ долженъ чувствовать, что своей игрой онъ хотя на мигъ превращаетъ безформенную толпу разнородныхъ людей въ единое духовное существо и сливаетъ это существо съ собственнымъ творческимъ порывомъ. Конечно, такія мгновенія мимолетны, какъ и вообще всякія проявленія высшихъ напряженій духа, но именно эти-то мгновенія и составляютъ вѣнецъ творческихъ достиженій актера. Въ этомъ отношеніи творчество актера вступаетъ на тѣ же пути, что и творчество оратора, увлекающаго за собой большую толпу слушателей; только матеріалъ творчества у обоихъ различенъ. Ораторъ творитъ изъ толпы единое духовное существо убѣдительностью умозаключеній, страстностью своихъ личныхъ чувствъ, мѣткостью рѣчи, а актеръ дѣлаетъ тоже красотою перевоплощенія своей личности въ указанный драматургомъ образъ.

Я слышалъ разсказъ о томъ, какъ германскій императоръ выразилъ желаніе, чтобы гастролировавшая въ Берлинѣ Савина сыграла свою лучшую роль въ пустомъ театрѣ только для него и его семьи. Артистка рѣшительно отказалась и предложила наполнить театръ хотя бы солдатами. Не знаемъ, понялъ ли германскій императоръ эстетическую нелѣпость своего желанія, но въ отвѣтѣ Савиной во всякомъ случаѣ какъ нельзя лучше было указано на существеннѣйшую стихію сценическаго творчества: чтобы имѣть возможность творить на сценѣ, актеръ долженъ чувствовать, что въ зрительной залѣ совершается таинство превращенія толпы въ единое духовное существо.

Только что сказаннымъ, между прочимъ, обнаруживается несостоятельность тѣхъ соображеній, которыми одинъ талантливый и интересный русскій критикъ не особенно давно пытался доказать эстетическую абсурдность театра. Критикъ указывалъ на то, что театръ не создаетъ никакихъ самостоя-

тельныхъ духовныхъ цѣнностей и составляетъ лишь столь же громоздкій, сколько и ненужный привѣсокъ къ драматическимъ произведеніямъ, которыя съ бо́льшимъ углубленіемъ могутъ быть прочитаны каждымъ по книгѣ, безъ помощи актеровъ. Но вѣдь спеціальная задача театра вовсе не сводится къ популяризированію драматическихъ произведеній. У театра совсѣмъ другое назначеніе. Онъ творитъ свою особую духовную цѣнность, которая состоитъ въ томъ, что зритель при помощи игры актеровъ переживаетъ драматическое произведеніе, чувствуя себя въ этотъ моментъ частицей многоголоваго коллектива, охваченнаго совмѣстно общимъ порывомъ эстетическаго волненія. Этого нигдѣ, кромѣ театра, испытать нельзя и въ этомъ—эстетическое назначеніе и эстетическое оправданіе театра, какъ самостоятельной отрасли искусства.

II.

Савина и Варламовъ.

Итакъ, превратить толпу зрителей въ единое духовное существо и объединить этотъ психическій коллективъ съ своимъ собственнымъ душевнымъ строемъ въ моментъ исполненія своей роли — вотъ въ чемъ состоитъ художественная побѣда актера.

Пути къ такимъ побѣдамъ могутъ быть весьма различны. И всѣ они хороши, если они приводятъ въ Римъ, т.-е. вызываютъ описанное выше психологическое таинство театра. Здѣсь поистинѣ „побѣдителей не судятъ“.

Прекрасной иллюстраціей къ высказанному положенію можетъ служить сопоставленіе творчества двухъ замѣчательныхъ дѣятелей русской сцены, имена которыхъ поставлены въ заголовкѣ настоящей статьи.

И Савина и Варламовъ въ высокой степени владѣли искусствомъ приковывать къ своему исполненію зрительную залу, превращать души всѣхъ, слѣдящихъ за ихъ игрой, какъ бы въ единую натянутую струну. Это давалось имъ потому, что оба они носили въ себѣ богатые источники творческаго подъема, съ невѣдомою силой ударявшаго по сердцамъ людей. Но посмотрите же, по какимъ различнымъ русламъ изливался у нихъ этотъ творческій подъемъ, хотя и приводившій въ обоихъ случаяхъ къ одинаковому художественному результату.

Различіе въ характерѣ художественнаго дара Савиной и Варламова восходитъ къ наиболѣе, быть-можетъ, глубокой основѣ всѣхъ вообще подраздѣленій типовъ художественнаго творчества. Можно, какъ угодно, классифицировать эти типы и по пріемамъ творчества и по преобладающимъ задачамъ его, и по различнымъ другимъ признакамъ. Но, думаю, мы не ошибемся, если наиболѣе общимъ, наиболѣе первичнымъ дѣленіемъ, уходящимъ въ самый корень творческаго процесса, мы признаемъ различеніе всѣхъ вообще художниковъ по слѣдующимъ двумъ группамъ. Это будутъ, во-первыхъ, такіе художники, творчество которыхъ состоитъ въ воспроизведеніи жизненныхъ явленій во всемъ конкретномъ своеобразіи и внутренняго ихъ содержанія и внѣшняго ихъ очертанія; и, во-вторыхъ, такіе художники, которые въ процессѣ творчества напрямки подходятъ къ идеальной сущности воспроизводимаго явленія, и эту идеальную сущность его освѣщаютъ въ своемъ художественномъ воспроизведеніи такъ выпукло и ярко, что внѣшняя конкретная оправа, въ которую она облекается въ дѣйствительной жизни, совсѣмъ почти затеривается въ лучахъ этого идеальнаго художественнаго образа.

Художники первой категоріи суть безтрепетные аналитики жизни во всей сложности ея частныхъ проявленій. Художники второй категоріи суть неисправимые идеалисты. Первые воспроизводятъ въ своихъ твореніяхъ тѣ или иные куски жизни во всей ихъ, если можно такъ выразиться, дымящейся реальной жизненностью непосредственности. Вторые всегда въ той или иной степени воспаряютъ надъ жизненной обыденщиной и показываютъ ее сквозь эѳирную дымку своего идеализма. Первый родъ творчества требуетъ неутомимой дѣятельности ума, остраго и тонкаго, какъ лезвіе анатомическаго ножа; требуетъ безстрашной рѣшимости вбирать въ кругъ своихъ художественныхъ созданій всю сутолоку жизни, не только съ ея блестками и цвѣтами, но и съ ея соромъ и хламомъ. Все это важно и свято для художника, ибо все это есть жизнь. Здѣсь мы имѣемъ передъ собой творчество суровое, непримиримое и неотразимое въ своей заостренной отчетливости.

Творчество второго рода требуетъ отъ художника широкихъ горизонтовъ души. Оно возможно лишь для художника, духъ котораго до такой степени предрасположенъ къ воспріятію извѣстнаго идеальнаго начала, что стоитъ ему

почувствовать въ изображаемомъ явленіи хотя бы легкое дуновеніе такого начала, и онъ загорается до самыхъ глубинъ навстрѣчу этому идеальному дуновенію жизни и съ неотразимымъ подъемомъ возводитъ его въ перлъ созданія въ своемъ художественномъ изображеніи, такъ что все остальное, всѣ детали, частности, осложненія, временные и побочные наросты на эту идеальную сердцевину воспроизводимаго явленія блекнутъ, стираются, отходятъ куда-то на задній планъ, а люди, наслаждаясь даннымъ художественнымъ образомъ, трепещутъ отъ восторга не отъ точности его воспроизведенія, а прежде всего отъ красоты и силы духа, обнаруженныхъ самимъ художникомъ.

Къ первой категоріи художниковъ принадлежала Савина. Ко второй—принадлежалъ Варламовъ. Савина играетъ зло—такъ опредѣлилъ особенность ея творчества одинъ изъ тонкихъ цѣнителей ея дарованія. Это было сказано очень мѣтко. Савина дѣйствительно играла зло въ томъ же смыслѣ, въ какомъ Сѣровъ писалъ зло художественные портреты. Эта злость ихъ творчества въ сущности состояла въ томъ, что оба они, во-первыхъ, обладали цѣпкой зоркостью взгляда по отношенію къ пестротѣ и сложности каждаго явленія жизни, такъ что всякая плѣнительная черта жизни воспринималась ими не иначе, какъ въ сплетеніи съ тѣми несовершенствами, которыми кишитъ дѣйствительность; а во-вторыхъ, потребностью ихъ художественной натуры было строить свои художественныя изображенія на основѣ строгой пропорціональности свѣта и тѣни, добра и зла, счастья и горя, и въ достиженіи такой пропорціональности они и находили и удовлетвореніе своей художественной добросовѣстности и воплощеніе истинной художественной красоты. Въ этомъ смыслѣ Савина, какъ и Сѣровъ, была неподкупна, и самыми роскошными своими цвѣтами дѣйствительность не могла заслонить отъ ея художественной проницательности своихъ язвъ и струпьевъ. И Савина творила свои образы четко, не отодвигая въ тѣнь свѣтлыхъ сторонъ жизни, но и не накидывая розоваго флера на язвы и струпья дѣйствительности. Она шла къ своей художественной цѣли, какъ безтрепетный аналитикъ жизненной правды, поступью рѣзкой, мужественной и твердой. Многія роли Савина играла одновременно съ М. Н. Ермоловой. Каждый разъ обѣ артистки давали двѣ разныя варіаціи одного и того же образа.

И раздѣльная черта между этими варіаціями всегда пролегала въ одномъ и томъ же направленіи. Аналитическому творчеству Савиной М. Н. Ермолова противополагала величайшія откровенія идеализирующаго синтеза. „Горѣ имѣемъ сердца!“ вотъ что можетъ служить истиннымъ девизомъ всей творческой дѣятельности Ермоловой. Конечно, и Ермолова не обходитъ въ своихъ созданіяхъ тѣхъ конкретныхъ деталей каждаго образа, оттѣнить которыя бываетъ необходимо для приданія ему жизненной изобразительности. Но это для артистки лишь досадная необходимость. „Выше просится душа“. Артистка неудержимо стремится прямо къ психологическому центру роли, къ ея идеальной сущности. И когда вскрывается эта сущность, — трагическій паѳосъ, пламенѣющій въ складкахъ собственнаго духа артистки, изливается на зрителей такой бурной огненной лавой, потоку которой не можетъ противостоять ничто. Все другое уходитъ на задній планъ. Соображенія о деталяхъ, о бытовыхъ бликахъ, о пропорціяхъ между различными элементами роли и проч. и проч., — Боже мой, да развѣ зрителю есть время и охота думать о всемъ этомъ, когда ему опомниться некогда, когда его душа подхвачена на крылья титаническаго вдохновенія великой артистки и летитъ стремглавъ куда-то въ высь, и онъ потрясенъ до самой глубины доступнаго ему чувства! Тутъ уже не до аналитическаго разъятія жизни, тутъ гремитъ осанна трагическаго паѳоса, тутъ обнажена самая сердцевина страданій души человѣческой.

Облагораживающая сила страстнаго страданія — вотъ то идеальное начало жизни, которое особенно близко родственно художественной натурѣ М. Н. Ермоловой, и художественное изображеніе котораго эта артистка всегда непроизвольно ставитъ въ центрѣ всего своего творческаго процесса. Остальные элементы роли, въ которой есть такой центръ, становятся уже въ полное подчиненіе ему, не въ томъ смыслѣ, что они изображаются не ярко и не правильно, а въ томъ смыслѣ, что изображеніе центральнаго элемента выходитъ такъ могуче, что на ряду съ этимъ остальное неизбѣжно получаетъ служебное положеніе.

Дивно-прекрасны эти высоты трагическаго вдохновенія при изображеніи страстнаго страданія и не слѣдуетъ ли пожертвовать ради нихъ тѣмъ, что ими заслоняется?

„Нѣтъ, не слѣдуетъ“, отвѣчаетъ намъ на это своимъ творчествомъ Савина, этотъ безтрепетный аналитикъ, для котораго строгая жизненность сценическаго образа дороже всего на свѣтѣ, дороже самыхъ титаническихъ порывовъ вдохновеннаго лиризма.

Пусть страданіе само по себѣ есть великое идеальное начало жизни, но если въ дѣйствительности оно совмѣщается съ отталкивающими чертами нравственнаго уродства, такъ давайте сюда, на сцену и эти черты, и не смягчайте ихъ красотою страданія и давайте смотрѣть отважно и мужественно прямо въ глаза жизни и природѣ.

Это не „горѣ имѣемъ сердца“, но и въ такомъ лозунгѣ заключается великая импонирующая сила, потому что отъ него вѣетъ мужественною стойкостью и рѣшительностью.

Творчество Варламова принадлежало не къ Савинскому, а къ Ермоловскому типу. И Варламовскій духъ былъ до краевъ переполненъ нѣкоторымъ идеальнымъ началомъ и загорался пламенемъ на сценѣ при его художественномъ изображеніи. Идеальное начало, которымъ для Варламова весь міръ красился въ поэтическіе цвѣта, заключалось въ стихійно-веселомъ добродушіи. „Страстное страданіе спасаетъ міръ“, говоритъ намъ Ермолова. „Нѣтъ, — отвѣчалъ Варламовъ, — міръ спасается веселымъ добродушіемъ“, и всѣ художественные образы этого замѣчательнаго артиста являлись для него прежде всего матеріаломъ для безконечнаго, неустаннаго изображенія во всевозможныхъ варіаціяхъ этого добродушія человѣческой души, которое свѣтило ему съ высоты его вдохновеній, какъ доброе, щедрое, всеоживляющее солнце,—источникъ и ангелъ-хранитель всего сущаго. Варламовъ показывалъ намъ проявленіе этого духовнаго животворнаго начала съ такой силой, съ такимъ блескомъ, съ такой проникновенной убѣжденностью, что вы, смотря на его игру, чувствовали себя насквозь пропитаннымъ этой основной стихіей Варламовскаго творчества, чувствовали себя безмѣрно веселѣе, лучше, добрѣе, нежели до того момента, когда на сцену появилась богатырская, грузная и въ то же время необыкновенно легко-подвижная фигура удивительнаго комика. Варламовъ, конечно, оттѣнялъ, и даже очень выпукло и интересно, и частныя бытовыя черты того или иного изображаемаго имъ типа, но поверхъ всѣхъ частностей изображенія всегда и неизмѣнно блестѣла, трепетала

и все наполняла собою эта указанная выше основная стихія Варламовскаго духа, которою онъ такъ щедро и роскошно надѣлялъ и всѣхъ своихъ героевъ. Даже нелѣпые владыки московскаго Замоскворѣчья, эти Титы Титычи и Аховы, несущіе съ собой всюду столько горя и измывательства надъ зависимыми отъ нихъ людьми, расцвѣчивались Варламовымъ тѣмъ же неизсякаемымъ добродушіемъ, которое заставляло зрителя прощать имъ ихъ человѣконенавистническія нелѣпости. Тайна великаго таланта заключалась тутъ въ томъ, что въ этомъ смягченіи отталкивающихъ чертъ даннаго типа не было, однако, и тѣни какого-либо обсахариванія, какого-либо приторнаго прекраснодушія. Титъ Титычь изъ „Тяжелыхъ дней“ являлся въ изображеніи Варламова сущимъ дикаремъ, отъ котораго трудно было бы ожидать чего-либо кромѣ обидъ и насилій. Но когда Титъ Титычъ начинаетъ выпытывать у Досужева, сколько тотъ возьметъ съ него за окончаніе дѣла, и говоритъ Досужеву „только ты не грабь“, то въ этомъ „не грабь“ у Варламова вдругъ, какъ краешекъ солнышка изъ-за тучи, сквозь всю дикообразность Тита Титыча проступала бездонная бездна добродушія, сразу освѣщавшая мягкимъ свѣтомъ весь обликъ этого замоскворѣцкаго чудовища. Изображая отъявленныхъ насильниковъ, безобразниковъ, самодуровъ, Варламовъ и тутъ, вѣрный лейтмотиву всего своего творчества, царственно миловалъ ихъ отъ человѣческаго суда, щедро изливая и на нихъ неисчерпаемый потокъ собственнаго добродушія.

Въ этомъ отношеніи въ качествѣ антипода Варламову я указалъ бы на замѣчательнаго комика Андреева-Бурлака. Кто изъ театраловъ не помнитъ Андреева-Бурлака въ Аркашкѣ Счастливцевѣ? Варламовъ не могъ играть этой роли по своей фигурѣ, но можно живо представить себѣ, какъ сыгралъ бы Варламовъ Аркашку; это, конечно, былъ бы ослѣпительный фейерверкъ беззаботнаго веселья, и добродушное настроеніе разливалось бы широкой волной по всему театру. А помните, что дѣлалъ изъ этой роли Андреевъ-Бурлакъ? Я сказалъ бы, что названный замѣчательный комикъ подходилъ къ ней по-савински, съ безтрепетнымъ обнаженіемъ жизненной правды въ ея будничныхъ, непринаряженныхъ очертаніяхъ. И въ исполненіи Андреева-Бурлака было немало веселья въ роли Аркашки, но это было веселье не солнечное, не добродушное,

а все пронизанное злыми искорками ожесточенности на людей, оставляющихъ Аркашку въ холодѣ и голодѣ, хотя и съ веселыми ужимками, кочевать по аренѣ своей незадачливой жизни.

Мы опять здѣсь—у рубежа между двумя основными типами творчества!

Какой же типъ творчества выше, цѣннѣе, нужнѣе? Нельзя и предлагать такого вопроса. Оба они одинаково несутъ въ міръ великія эстетическія волненія, оба восполняютъ другъ друга въ совмѣстномъ служеніи художественной красотѣ. Въ царствѣ искусства обителей много и тщетно стали бы кабинетные эстетики предуказывать единообразные ходы бурливымъ потокамъ истиннаго художественнаго вдохновенія.

Да не сочтутъ страннымъ, что я занимаю читателя вопросами искусства въ сборникѣ, вызванномъ мыслью о великихъ страданіяхъ, сейчасъ переживаемыхъ нашими братьями въ странѣ враговъ. Вѣдь между искусствомъ и страданіемъ больше точекъ соприкосновенія, нежели можетъ показаться тѣмъ, кто привыкъ смотрѣть на искусство, какъ на забаву. Эти точки соприкосновенія состоятъ не только въ томъ, что искусство часто избираетъ страданіе предметомъ художественнаго изображенія, но еще и въ томъ, что искусство несетъ въ себѣ великія утѣшенія для угнетеннаго человѣческаго духа. И такіе свѣтлые дѣятели искусства, какъ тѣ, о которыхъ упоминалось въ настоящей статьѣ, не должны ли быть названы истинными утѣшителями рода человѣческаго?

А. Кизеветтеръ.

ОСЕНЬ.

Тихо, безшумно, какъ легкая мгла,
Въ часъ предвечерній заката
Осень въ безмолвныя чащи пришла,
И мановеньемъ волшебнымъ жезла
Лѣсъ расцвѣтился богато.

Пышное золото радуетъ глазъ,
Нѣжитъ, чаруетъ, ласкаетъ.
Точно прикованъ, смотрю цѣлый часъ,
Какъ, между вѣтокъ цѣпляясь, кружась,
Листъ за листомъ опадаетъ.

Ласковой осени тихій приходъ—
Мирное, ровное счастье.
Въ сонномъ лѣсу дремлетъ зеркало водъ,
Чистъ, безмятеженъ глядитъ небосводъ.
Въ сердцѣ—покой и безстрастье.

А. Чельцовъ.

---

* * *

Осеннимъ золотомъ чуть тронутъ—
Еще и свѣжъ и зеленъ садъ,
Но все грустнѣй деревья стонутъ,
И все печальнѣй листопадъ.

Широколиственные клены
Уже пылаютъ, какъ въ огнѣ,
А старый дубъ свой плащъ зеленый
Хранитъ, какъ память о веснѣ.

Рябины вянущей кораллы,
И липъ сквозные янтари,
И тѣхъ же красокъ блескъ усталый
Въ сіяньи гаснущей зари.

П. Петровскій.



В. М. Васнецовъ.

МАРІЯ МАГДАЛИНА.

О Щепкинѣ.

Прошло болѣе полвѣка со дня смерти М. С. Щепкина, съ именемъ котораго связанъ весь русскій театръ. Изъ 75 лѣтъ своей жизни этотъ человѣкъ отдалъ театру 67. „Лѣтъ пятьдесятъ назадъ“, пишетъ онъ въ своихъ запискахъ въ 1846 году, „въ Суджи одинъ изъ учениковъ принесъ въ классъ книгу подъ названіемъ „*Комедія вздорщица*“. Начался споръ — что это такое „комедія?“ Никто не зналъ, кромѣ одного человѣка. Это происходило зимою 1796 года, когда этому *человѣку* было 8 лѣтъ. И началось. Была у этого человѣка и личная жизнь, была семья, матеріальныя заботы, были общественныя горести и радости. Но когда вы читаете его записки,—и когда вы припоминаете все, что писали о немъ „отборнѣйшіе умы вѣка“ и когда вы, наконецъ, входите въ старыя стѣны московскаго Малаго театра, вы видите, что Миша Щепкинъ, крѣпостной казачокъ графа Волькенштейна и ученикъ Суджанскаго уѣзднаго училища, съ разгорѣвшимися щечками одинъ „до нельзя споря“, противъ всего класса отстаивающій свое убѣжденіе „что такое комедія“, и великій артистъ Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ, въ 1847 году не уступающій самому Гоголю даже Держиморду, „потому что и онъ мнѣ дорогъ“, самому Гоголю, желавшему символизировать реальныя фигуры „Ревизора“—когда вы все это видите и знаете, образъ Щепкина становится съ исторической своей стороны наравнѣ съ тѣми создателями эпохъ, которые творятъ цѣлыя области жизни, открываютъ пути великаго значенія, силой своей вѣры видоизмѣняютъ то дѣло, которому они призваны служить съ тѣхъ лѣтъ, когда это призваніе еще не можетъ быть сознательнымъ, и до могилы. Пушкинъ понялъ Щепкина, какъ великій поэтъ понималъ все, и его священною для насъ рукою написаны 17 мая 1836 г. первыя слова „записокъ актера Щепкина“.—„Я родился въ курской губерніи, Обоянскаго уѣзда, въ селѣ Красномъ, что на

рѣчкѣ Пеикѣ“. — Пушкинъ зналъ, какъ онъ зналъ все, какое огромное дѣло дѣлалъ Щепкинъ, какъ важно, чтобы онъ самъ, Щепкинъ, далъ хотя бы отрывочныя, хотя бы мало касающіяся именно театра, но *личныя* воспоминанія. Пушкинъ къ неисчислимому богатству своихъ даровъ Россіи прибавилъ съ царственной щедростью и этотъ даръ — записки одного изъ величайшихъ людей Россіи, сохранившія намъ внутренній міръ создателя русскаго театра.

Всѣ народы, во всѣ времена, любили зрѣлища. Будь то Діонисовы дѣйства, будь то римскія circenses, итальянскій балаганъ, испанскія трагедіи, европейскіе театры послѣднихъ вѣковъ — все привлекало и привлекаетъ вниманіе толпы. Но слово толпа — просто ходячее выраженіе, замѣняемое часто болѣе вѣжливымъ названіемъ „публика“. На самомъ же дѣлѣ всякое зрѣлище есть потребность не толпы, не публики, а всего народа и всѣхъ народовъ, то-есть—всего человѣчества, начиная съ высшихъ классовъ, кончая низшими, дѣлить ли людей на классы по ихъ соціальному положенію или по ихъ умственному цензу. Всѣ любятъ объединяться на болѣе или менѣе художественныхъ, а иногда и ничего общаго съ художественностью неимѣющихъ, изображеніяхъ другими людьми событій, людей, ихъ борьбы, ихъ характеровъ. И вотъ эти „другіе люди“, выдѣляются въ особую касту актеровъ. Каста эта, въ большей части своей исторіи, если только она не служила цѣлямъ религіи, какъ въ древней Греціи или въ духовныхъ мистеріяхъ среднихъ вѣковъ, вызываетъ къ себѣ очень сложное отношеніе со стороны окружающаго ее общества. Это отношеніе, мѣняясь вмѣстѣ съ временемъ въ своихъ размѣрахъ, не было одинаково въ своей сущности всегда: на актера профессіонала глядѣли, какъ на что-то среднее между полубогомъ и отверженцемъ. Не будемъ совершенно касаться современнаго взгляда, но каковъ бы онъ ни былъ, онъ уже не тотъ, какимъ его засталъ Щепкинъ. Тогда было вотъ что. Русскіе государи, неизмѣнные покровители искусства, начиная съ императрицы Елизаветы Петровны, жаловали актерамъ шпаги — символъ чести и достоинства. Лучшимъ признакомъ изящества и культуры среди высшихъ круговъ общества считалось умѣнье хорошо играть въ такъ называемыхъ „благородныхъ“ спектакляхъ. Но ни одинъ не только дворянинъ, но и купецъ того времени, кромѣ развѣ отдѣльныхъ деклас-

сированныхъ индивидуумовъ, не рѣшился бы стать актеромъ профессіоналомъ, хотя бы онъ такъ беззавѣтно любилъ сцену, какъ Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ. На стр. 143 своихъ записокъ Щепкинъ пишетъ: „Но главное, что возмущало *все общество* это то, что онъ (губернаторъ) не бралъ взятокъ". И далѣе П. М. Торжевскій и Л. С. Бакановъ и въ Судженскомъ уѣздѣ Котельниковъ—тотъ самый, о которомъ Гоголь сказалъ въ „Мертвыхъ душахъ" нѣсколько словъ и въ томъ числѣ фразу „полюбите насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякой полюбитъ"... считались за благороднѣйшихъ людей, потому что брали и дѣлали; а то все служащее брало и ничего не дѣлало".—Но это же *все общество* не считало возможнымъ для своихъ членовъ, вмѣсто взятокъ, зарабатывать себѣ деньги актерскимъ трудомъ.

Я привожу это вовсе не въ обличеніе—совершенно безцѣльное и запоздалое—нравовъ того времени. Я вижу въ этомъ предпочтеніи всякой формы полученій—будь то жалованье, подарокъ, даже взятка, артистическому заработку—наиболѣе яркое выраженіе этого сложнаго отношенія народа къ актерству. Въ самомъ дѣлѣ—это почти единственная всѣми классами общества отрицаемая въ то время форма заработка. Если дворянинъ служитъ, онъ дѣлаетъ дѣло. За дѣло онъ имѣетъ право брать не только законно, но пусть и незаконно. Если купецъ торгуетъ—это опять дѣло. За дѣло онъ имѣетъ право не только на добросовѣстный, но и на недобросовѣстный барышъ. Затѣмъ, если баринъ или купецъ забавляются—то ужъ пусть забавляются даромъ. Стыдно за бездѣлье, за ту потѣху, про которую говорится „дѣлу время, потѣхѣ—часъ", получать мзду, жить за счетъ забавы. И это отношеніе всегда, у всѣхъ народовъ, къ актерамъ было до тѣхъ поръ, пока театръ данной націи оставался грубой до примитива или утонченной до изящества забавой, потѣхой, зрѣлищемъ, волнующимъ не только смѣхомъ, но и слезами. Чуть только театръ начиналъ служить своими, особыми путями, чисто художественными, окружающей его жизни, отношеніе къ нему общества мѣнялось съ такой быстротой, съ какой не происходило ни одной перемѣны общественныхъ настроеній. Люди всѣхъ классовъ, объединяясь въ зрительномъ залѣ, прекрасно чувствуютъ, когда передъ ними—игра въ красоту, забава ею на потѣху собравшихся,—пусть самая искусная, самая талантливая, но забава—

и никто, ни одинъ величайшій художникъ не заставитъ этихъ людей признать за нимъ право смотрѣть на это, какъ на *дѣло*. Но чуть Мольеръ или Шекспиръ играетъ пьесу Мольера или Шекспира, эти же собравшіеся люди чуютъ и понимаютъ, что тутъ совершается *дѣло*, настоящее дѣло, что эти спектакли— одно изъ безчисленныхъ колесъ великаго механизма жизни, вносящее свою силу въ его непрерывное, великое движеніе. Какая роль этого колеса, что именно оно дѣлаетъ—большинство не даетъ себѣ отчета. Пусть даже оно думаетъ, — что это все та же красивая забава, пусть оно такъ *думаетъ*, но *чувствуетъ* оно уже иначе—и въ этомъ *чувствѣ*, какъ сахаръ въ кипяткѣ, таетъ предубѣжденіе. Пусть еще пока остаются классовые предразсудки, пусть пережитки времени вызываютъ внѣшнее отрицаніе того значенія, которое театръ и его работники имѣютъ на жизнь, но уже театръ становится дѣломъ, а не потѣхой. Отъ этой отправной точки пойдетъ все, пойдетъ болѣе или менѣе медленно, но пойдетъ.

Эту-то отправную точку и установилъ Щепкинъ въ русскомъ театрѣ. Дѣло не въ томъ, что геніальный артистъ заговорилъ просто, когда всѣ говорили фальшиво. Это внѣшній признакъ, одно изъ наружныхъ проявленій огромнаго внутренняго творчества. Дѣло въ томъ, что что́ бы ни игралъ Щепкинъ, онъ сперва безсознательно, а потомъ какъ апостолъ своего призванія, какъ великій вождь и создатель актерской Россіи, вѣрилъ въ *значеніе* сценическаго творчества. Къ нему не идетъ терминъ „игралъ“, но мы должны принять это выраженіе въ особомъ смыслѣ, чисто техническомъ. Пусть онъ „игралъ“, но онъ никогда не „забавлялся“. Пусть онъ смѣшилъ до слезъ, но онъ никогда не „потѣшалъ“. Слово и молчаніе его на сценѣ никогда не были пусты. Его колоссальная работа надъ собою вызывалась, кромѣ „взыскательности художника“, главнымъ образомъ, его глубокой вѣрой въ важность всего существованія на сценѣ актера, претворившагося въ то или другое — всегда значительное — лицо. „Страшнымъ“ называетъ С. Т. Аксаковъ количество сыгранныхъ Щепкинымъ ролей. Среди этого „страшнаго“ количества, не менѣе семивосьми сотъ ролей, мы найдемъ едва десять, стоившихъ его. Но изо всѣхъ остальныхъ сотенъ ни одной не было такой, въ которую онъ не вложилъ бы связи съ жизнью, его окружавшею, не углубилъ, не расширилъ бы ея значенія. Онъ

дѣлалъ *дѣло*—и дѣлалъ его всегда и во всемъ, онъ изъ дрянной ольхи и ржаваго чугуна дѣлалъ плугъ и пахалъ имъ великую русскую пашню, обливаясь потомъ съ головы до ногъ, съ утра до глубокой ночи. Гоголь, Грибоѣдовъ и Мольеръ — наименьшія изъ его заслугъ, хотя и крупнѣйшіе брильянты въ его коронѣ. Но вся, постоянная, убійственная работа этого геніальнаго человѣка, создававшая русскій театръ почти изъ негоднаго драматическаго матеріала, поднявшая русскій театръ на уровень великой литературы, ему современной, слишкомъ мало давшей, къ несчастью, до Островскаго русской сценѣ — вотъ въ чемъ его великая заслуга. На Транжириныхъ и Богатоновыхъ и еще не знаю, на комъ, онъ выработалъ въ себѣ Щепкина, ставшаго плечо въ плечо съ Грибоѣдовымъ, Гоголемъ и Мольеромъ, въ сотняхъ разныхъ Дюпре и Досажаевыхъ онъ пріучилъ русское общество уважать свой родной театръ и признать въ актерѣ общественнаго слугу, работника родной земли, имѣющаго право ѣсть свой кусокъ хлѣба, заработанный своей профессіей, нужной и важной. Дворяне и купцы, князья и генералы, работающіе сейчасъ на русской сценѣ, въ поясъ должны поклониться этому, вначалѣ крѣпостному, актеру за то счастье, которое они испытываютъ, служа дѣлу, а не потѣхѣ. — Мнѣ могутъ сказать, что въ самомъ театрѣ заложено то, что я приписываю Щепкину. Да. Америка существовала всегда, ее рано или поздно открыли бы. Но ее все-таки открылъ Колумбъ и никто другой.

Какими же путями Щепкинъ достигъ разрѣшенія своей исторической задачи? Почему именно автобіографію Щепкина властно требуетъ для Россіи Пушкинъ? Почему именно Щепкину на голову возлагаетъ вѣнокъ Гоголь? Развѣ не было современныхъ двумъ величайшимъ писателямъ Россіи другихъ великихъ актеровъ? Развѣ геній Мочалова, его трепетное, вдохновенное горѣніе, дороставшее до Шекспира, вызывавшее пламенный восторгъ того же Пушкина, и Гоголя, и Бѣлинскаго—не давали ему права на такой же почетъ? Конечно, да. Но не только *почтить* въ Щепкинѣ великаго актера хотѣли великіе писатели. Они этими двумя обращеніями къ нему какъ бы возложили на него обязанность служить идеѣ русскаго театра не однимъ геніемъ своимъ, но и всей силой своего убѣжденія въ его значеніи, всей мощью его *духа*.

Наконецъ мы договорились до этого слова. *Духъ* Щепкина—вотъ въ чемъ отвѣтъ на тѣ вопросы, которые сейчасъ возникли передъ нами. Онъ непоколебимо вѣрилъ въ то, что если *духъ* актера и актера такого, какимъ онъ себя чувствовалъ, касается самого безжизненнаго лица, то онъ, этотъ духъ, будетъ той сказочной живой водой, отъ брызгъ которой заиграетъ румянецъ на мертвомъ лицѣ и заблещутъ жизнью потухшіе глаза, и поднимется дыханіемъ неподвижная грудь. И, конечно, не будутъ уже на такое чудо одухотворенія смотрѣть окружающіе люди, какъ на „зрѣлище“ или „потѣху“. Какая же это потѣха, когда *живой* Сквозникъ-Дмухановскій плететъ свои хитрыя сѣти и запутывается въ нихъ головой? Какая же это забава, когда какой-нибудь водевильный дядюшка вдругъ вырастаетъ въ такое живое, такое близкое лицо, что наслажденіе игрой геніальнаго художника переходитъ въ какое-то изумленіе — да какъ же этотъ актеръ, играющій на сценѣ, совсѣмъ и съ лица не похожій, явился для каждаго изъ зрителей кѣмъ-то видѣннымъ, кѣмъ-то такимъ значительнымъ, что, глядя на него цѣлый родной уѣздъ неисповѣдимой силой и невѣдомыми путями встаетъ передъ глазами, какъ живой? Жизнь можетъ быть смѣшна, трогательна, велика, пошла, но она жизнь, а не представленіе, не зрѣлище. И актеръ, дающій жизнь, во всемъ ея неизмѣримомъ разнообразіи,—не потѣшникъ и скоморохъ, а мудрый художникъ, знающій, сильный и нужный всѣмъ.

Щепкинъ не только геніальный актеръ. Онъ — геніальная натура. Онъ—Ломоносовской породы. Какъ Ломоносовъ былъ носителемъ вѣры въ силу и значеніе русскаго ученаго, такъ Щепкинъ былъ носителемъ вѣры въ силу и значеніе русскаго актера. Какой холмогорскій морозъ или какіе украинскіе вѣтры взрастили эту вѣру въ двухъ русскихъ мужикахъ? Какой геній забросилъ ея зерно въ ихъ большія сердца, въ ихъ мощные умы? Какой средой или наслѣдственностью можно объяснить эти поразительныя явленія? Какой силой эти люди, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ сумѣли отстоять и защитить свое дорогое дѣло? Не мнѣ отвѣчать на эти вопросы. Но факты налицо: какъ Ломоносовъ утвердилъ значеніе русскаго ученаго, такъ Щепкинъ утвердилъ значеніе русскаго актера. Это были не только геніальные люди, это были геніальные и неутомимые борцы за то, что для нихъ было дороже семьи, дороже личныхъ благъ, дороже самой жизни.

Образъ Михаила Семеновича, глядящій на насъ съ извѣстнаго его портрета И. Е. Рѣпина, созданъ художникомъ скорѣе по легендѣ, по живой памяти о Щепкинѣ, чѣмъ по портретамъ и гравюрамъ той эпохи. И эта же живая память облекла, въ сознаніи актеровъ Малаго театра, этотъ дорогой для насъ образъ въ опредѣленныя очертанія. Мы видимъ нашего Щепкина ступень за ступенью взбирающагося въ разработкѣ своей роли отъ одной репетиціи къ другой, отъ одного спектакля къ другому, вѣчно работающаго, вѣчно взволнованнаго. И мы идемъ за нимъ, сколько позволяютъ намъ наши силы. Мы знаемъ, что какъ бы ни совершенствовалась внѣшняя красота постановки, если угаснетъ въ ней духъ артиста, то это будетъ „гробъ, хотя и повапленный". Мы изо всѣхъ силъ удерживаемъ связь съ великимъ Щепкинскимъ завѣтомъ, переданнымъ его достойному ученику С. В. Шумскому: „ради Бога, только никогда не думай смѣшить публику: вѣдь и смѣшное и серьезное вытекаетъ, все-таки, *изъ вѣрнаго взгляда на предметъ...*" Въ первой половинѣ этого завѣта, восемью словами Щепкинъ опредѣлилъ, *чѣмъ* онъ завоевалъ себѣ безсмертную славу въ исторіи русскаго театра. Поставьте вмѣсто „смѣшить" — „потѣшать", вдумайтесь въ это начало фразы, въ силу этой мольбы „ради Бога", и вы увидите, почему русскій театръ занялъ почетное мѣсто въ русской жизни. Во второй половинѣ фразы—вся традиція Малаго театра, о которой толкуютъ и вкривь и вкось. „И смѣшное и серьезное вытекаетъ изъ вѣрнаго взгляда на предметъ". Добиться „вѣрнаго взгляда" — вотъ традиція, на которой выросли Садовскій и Шумскій, Самаринъ и Ленскій, Васильева и Медвѣдева, и крупнѣйшіе ихъ современники, рядъ именъ дорогихъ для всѣхъ, кому дорога свободная творческая красота. На этой традиціи выросли и дѣйствуютъ тѣ, кто сейчасъ украшаетъ нашу сцену — и нѣтъ въ этой традиціи никакихъ путъ и оковъ для свободнаго творческаго духа. Ни одинъ изъ тѣхъ, кого я назвалъ и кого не назвалъ, не похожъ на другого: каждый по-своему „добивается вѣрнаго взгляда". Щепкинъ требовалъ отъ актера прежде всего — творчества личнаго. Вотъ почему его традиція, традиція его дома, всегда требуетъ совершенствованія духовной артистической силы и отодвигаетъ на второй планъ зрительныя или слуховыя передачи тѣхъ или иныхъ сценическихъ впечатлѣній. Говоря объ идеалѣ, о мечтѣ, актеръ

рѣчью, молчаніемъ, жестомъ и мимикой, а главное — внутреннимъ подъемомъ долженъ не только исполнить всю свою прямую задачу, создать живое лицо, но и замѣнить своей силой, своимъ переживаніемъ и декорацію, и музыку, и все остальное. Глядя на его лицо, слушая его рѣчь, вбирая въ себя его глубокія переживанія, зритель самъ создастъ своимъ воображеніемъ такой волшебный міръ, какой ему долженъ умѣть внушить актеръ.

Какіе же могутъ быть для этого рецепты и формулы?

Никакой догмой не связалъ русскаго актера великій творецъ русскаго театра. Умный и вѣрующій въ свое дѣло, въ его важное значеніе въ русской жизни, онъ глядѣлъ на Мочалова, на Сосницкаго, онъ глядѣлъ въ себя, онъ анализировалъ и творилъ въ одно и то же время, видѣлъ, въ чемъ сила и Мочалова, и Сосницкаго, и самого Щепкина и сумѣлъ не столько поученіями, сколько самой своей жизнью изъ своей личности выработать стройный кодексъ театра. Этотъ кодексъ не изобилуетъ мелочными подробностями, не вяжетъ частностями. Онъ поражаетъ широкой свободой для каждаго духовнаго проявленія творческой силы, лишь бы она была. И именно въ наше время, когда опять со всѣхъ сторонъ на театръ надвигается опасность стать зрѣлищемъ или потѣхой, когда подъ предлогомъ борьбы съ кризисомъ театра актера сводятъ на степень почти аксессуара, безъ котораго еще не придумали, какъ обойтись на сценѣ, когда подъ вліяніемъ насѣвшихъ на театръ постороннихъ силъ почти замерла русская драматургія — въ наше трудное время съ вѣрой и упованіемъ глядитъ на дорогія черты Щепкина каждый изъ насъ. Эти черты говорятъ намъ: уйди въ безпредѣльныя глубины духа. Только въ этихъ глубинахъ—сила артистическаго творчества. Въ этихъ глубинахъ духовныхъ переживаній—и защита дорогого и важнаго дѣла отъ превращенія въ потѣшное зрѣлище и сліяніе съ лучшей частью окружающей насъ жизни.

Преклонимся же передъ этимъ старикомъ. Пойдемъ безъ уклоненій за Щепкинымъ, котораго благословили на его подвигъ Пушкинъ и Гоголь.

А. Южинъ—кн. Сумбатовъ.



С. А. Виноградовъ. БОРЗЯТНИКЪ.

Тарантасъ-призракъ.

У Бавиныхъ въ этотъ вторникъ было очень оживленно за ужиномъ. И хозяинъ и гости декламировали по очереди шуточныя, мало извѣстныя стихотворенія въ жанрѣ Кузьмы Пруткова, разсказывались веселые анекдоты и цѣлыя сцены.

Наконецъ очередь дошла до музыки и при звукахъ фортепіано, за которое сѣлъ кто-то изъ присутствующихъ, замолкъ шумъ разговоровъ. Григъ, Шопенъ и Чайковскій настроили общество нѣсколько на иной ладъ и, особенно въ женской его половинѣ, зародился запросъ на что-либо болѣе серьезное, чѣмъ смѣшные разсказы и сцены, даже запросъ на мистическое.

Сначала дѣло это не налаживалось и никто не бралъ на себя обязанность серьезнаго разсказчика; гости стали уже посматривать на часы, но положеніе неожиданно спасъ мало знакомый обществу молодой человѣкъ, изъ судейскихъ, временно гостившій въ Москвѣ провинціалъ,—Петръ Петровичъ Граблинъ.

Онъ объявилъ, что передастъ событіе, недавно имъ пережитое и очень странное, пожалуй, даже фантастическое.

— Разсказъ мой,—началъ свое повѣствованіе Граблинъ,—связанъ со смертью моей тетки, скончавшейся недавно въ небольшомъ своемъ имѣніи, скорѣе хуторѣ, „Дубравкѣ", расположенномъ въ десяти верстахъ отъ станціи С.-В. желѣзной дороги. Тетушка моя—Аделаида Сергѣевна Хижина, вдова генерала, бездѣтная, уже за пятьдесятъ лѣтъ, жила за послѣдніе годы въ „Дубравкѣ", гдѣ имѣлся небольшой деревянный господскій домъ съ хозяйственными постройками и флигелемъ; въ послѣднемъ ютились на положеніи „богадѣлокъ" нѣсколько старушекъ, жалкихъ, забитыхъ жизнью, бездомныхъ, подобранныхъ гдѣ-то Аделаидой Сергѣевной, отличавшейся рѣдкой добротой.

Скончалась Аделаида Сергѣевна внезапно, повидимому, отъ кровоизлiянiя въ мозгъ; она была дама полная и вела образъ жизни сидячiй. Случилось это поздней осенью, въ октябрѣ, и въ это время у нея, кромѣ постоянныхъ ея сожительницъ— старушекъ, гостили только двѣ младшiя ея внучки, мои кузины, совсѣмъ молоденькiя барышни. Онѣ такъ растерялись отъ неожиданнаго несчастiя, что не знали, что имъ предпринять и кого увѣдомить, и уже одна изъ старушекъ догадалась послать мнѣ въ Т., гдѣ я живу съ сестрой, телеграмму.

Мы съ сестрой тотчасъ же собрались и выѣхали въ имѣнiе тетушки въ тотъ же день съ вечернимъ поѣздомъ; въ первомъ часу ночи мы были уже на нужной намъ станцiи. Оттуда до хутора всего десять верстъ по шоссе и потомъ въ сторону съ полверсты.

Ночь была, какъ оно и полагается осенью, темная, — зги Божьей не было видно; дулъ холодный, порывистый вѣтеръ, нанося низкiя, густыя тучи, тотчасъ же выливавшiяся дождемъ на мокрую, грязную и безъ того, землю. Мы наняли одного изъ стоявшихъ на станцiонномъ дворѣ извозчиковъ парочкой въ коляскѣ, то-есть въ сущности въ пролеткѣ, и двинулись въ путь, не желая ночевать на неприглядной станцiи, грязной, полутемной, вонявшей накоптившими керосиновыми лампами, въ обществѣ нѣсколькихъ сѣрыхъ, сумрачныхъ фигуръ, валявшихся, или дремавшихъ, сидя на лавкахъ. Какъ только мы вышли на крыльцо станцiи, насъ охватило вѣтромъ и въ лицо брызнуло дождемъ; пришлось поднять верхъ пролетки и натянуть на ноги дырявый, давно не отстегивавшiйся, закорузлый кожаный фартукъ. Скоро по верху и по фартуку застучалъ крупный дождь, и какъ мы ни укрывались отъ усилившагося, казалось, рѣзкаго вѣтра, прижимаясь къ задку пролетки, онъ проникалъ къ намъ со всѣхъ сторонъ, обдавая холодными брызгами. Вообще, намъ чувствовалось очень скверно и полная темнота достаточно-таки смущала насъ. Бѣловато-сѣрую линiю шоссе можно было, впрочемъ, кое-какъ разглядѣть на остальномъ, уже безусловно черномъ, фонѣ, а извозчикъ нашъ, знавшiй, конечно, наизусть каждый толчокъ на этой дорогѣ, и совсѣмъ не унывалъ, поддерживая тѣмъ въ насъ нѣкоторую бодрость, и подгонялъ лошадей, весело покрикивая, словно бы ѣхалъ днемъ.

По дорогѣ до Дубравки всего одно жилье—постоялый дворъ, стоящій на восьмой верстѣ отъ станціи; а какъ разъ у девятаго верстового столба съѣздъ съ шоссе направо, черезъ канаву по мостику и идетъ грунтовая, обсаженная ветлами и обкопанная канавой, дорога до усадьбы тетушки. Другихъ свертковъ съ шоссе до этой дороги нѣтъ, а первое селеніе—Иванищево находится въ верстѣ за поворотомъ на хуторъ. Прямая дорожка, ведущая въ Дубравку, не идетъ никуда дальше и съ нея нѣтъ ни одного бокового съѣзда.

Извозчикъ отлично зналъ, гдѣ надо сворачивать на Дубравскую аллею и даже въ это утро возилъ кого-то со станціи къ тетушкѣ, но я все-таки отъ времени до времени высовывался изъ пролетки, стараясь разглядѣть дорогу.

Ѣхали мы довольно быстро, не встрѣчая и не обгоняя рѣшительно никого, что было не удивительно въ такую темную, ненастную ночь, и вскорѣ миновали постоялый дворъ, видный издалека свѣтившимися еще окошками и по еле мерцавшему зажженному фонарю, укрѣпленному на столбѣ около крыльца. Судя по времени, прошедшему съ тѣхъ поръ, какъ мы миновали постоялый дворъ, мы должны были уже находиться у мостика, но верстового столба не было видно. Извозчикъ остановилъ лошадей, утверждая, что мы, несомнѣнно, подъѣхали къ повороту, и слѣзъ съ козелъ, чтобы провести черезъ мостикъ лошадей подъ уздцы. Намъ не было видно ямщика, но мы слышали его шаги, сначала удалявшіеся, потомъ опять приближавшіеся; онъ долго бродилъ по обѣ стороны отъ пролетки, ворча, зажигалъ спички, гаснія тотчасъ же на вѣтру, и, наконецъ, вернулся къ намъ, не найдя ни верстового столба, ни мостика.

Онъ, видимо, былъ разстроенъ и даже ругался.

— Чортъ лысый унесъ столбъ! На дрова ему понадобился,—ворчалъ онъ, взлѣзая на козлы.

Мы шагомъ, внимательно слѣдя за дорогой, двинулись впередъ и, наконецъ, въѣхали въ околицу Иванищева: очевидно, мы прозѣвали съѣздъ. Пришлось, конечно, вернуться; нѣсколько разъ мы останавливались; и я, и извозчикъ слѣзали и шли пѣшкомъ, спускаясь даже въ придорожную канаву и перебираясь на ту сторону шоссе; но верстовой столбъ, мостикъ и ветловая аллея положительно исчезли. Мы опять сѣли въ экипажъ и проѣхали по направленію къ станціи до

постоялаго двора; оттуда двинулись шагомъ и, наконецъ, извозчикъ, передавъ мнѣ вожжи, слѣзъ и пошелъ пѣшкомъ по самой канавѣ, разсчитывая, если не увидать, то прямо-таки натолкнуться на мостикъ. Но переѣзда не было и мы, неожиданно, вторично очутились въ Иванищевѣ. На обратномъ пути опять не оказалось мостика и мы дотащились до постоялаго двора... Становилось жутко.

Что-то творилось съ нами неладное.

— Не заночевать ли на постояломъ?—заговорилъ струсившій извозчикъ.—Куда еще ѣхать? Насъ прямо-таки лѣшій водитъ. Въ Дубравку ни за что намъ не попасть! Ужъ это вѣрно!

Но я не согласился. Не вѣрить же въ лѣшаго! Да и сестра запротестовала.

Мы въ третій разъ тронулись впередъ отъ постоялаго двора, и вдругъ до нашего слуха долетѣли сперва неясные, а потомъ все болѣе и болѣе отчетливые звуки бубенцовъ. Вскорѣ мы нагнали бѣжавшую легкой рысцой тройку, запряженную, судя по звуку колесъ и всего хода, въ тарантасъ; подъѣхавъ ближе, мы разглядѣли даже, какъ намъ казалось, кузовъ экипажа...

На томъ мѣстѣ, гдѣ долженъ былъ находиться поворотъ на Дубравку, и гдѣ мы только что исходили вдоль и поперекъ все шоссе, шедшая впереди насъ тройка, за движеніемъ которой мы слѣдили по гудѣнію бубенцовъ и шуму колесъ, повернула на всемъ ходу направо, и мы тотчасъ же различили топотъ лошадей и гулъ колесъ по мосту, а затѣмъ шлепанье лошадей по мягкой грязи.

Извозчикъ нашъ даже перекрестился.

— Ваше благородіе! Вѣдь вотъ онъ свертокъ-то! Гдѣ жъ онъ прежде былъ? Баринъ, а тройка-то не наша, господская! Чудеса! И тоже къ Хижинымъ ѣдетъ!

Слѣдуя вплотную за тарантасомъ, мы въѣхали на мостикъ, у котораго на этотъ разъ замѣтили-таки версту, и зашлепали по размякшей грунтовой дорогѣ, не отставая отъ тройки. Подъѣзжая къ воротамъ усадьбы, я велѣлъ извозчику немного задержать лошадей, чтобы дать время въѣзжавшимъ въ этотъ моментъ во дворъ путникамъ выйти изъ экипажа.

Насъ въ Дубравкѣ ждали. На крыльцѣ дома стояло нѣсколько человѣкъ и старый слуга Хижиной держалъ въ рукахъ зажженный фонарь, при свѣтѣ котораго мы съ чувствомъ

великаго облегченья выбрались, наконецъ, изъ пролетки. Кузины встрѣтили насъ заплаканныя, разстроенныя и тотчасъ же сознались, что необычайно рады нашему пріѣзду, а то имъ однѣмъ со старухами тяжело и даже страшно стало на хуторѣ, особенно къ ночи.

— А кто это пріѣхалъ какъ разъ передъ нами въ тарантасѣ?—спросилъ я.

— Никто не пріѣзжалъ,—отвѣчали кузины.—Вы первые и единственные наши гости. Утромъ только былъ вызванный нами докторъ, но онъ уже не засталъ тетушку въ живыхъ. Васъ мы давно поджидаемъ и ужъ отчаялись, а тутъ Иванъ, наконецъ, услыхалъ шумъ вашего экипажа, пока вы еще не въѣхали во дворъ; кромѣ васъ, никого не было.

Мы переглянулись съ сестрой и ничего не сказали про указавшій намъ путь и предшествовавшій до самаго крыльца тарантасъ. Но обоимъ намъ стало очень не по себѣ.

Мы только тутъ сообразили фантастичность появленія тройки, какъ разъ у Дубравскаго мостика. Откуда взялся этотъ тарантасъ? Онъ оказался впереди насъ... Но вѣдь этого не могло быть! Вѣдь мы только что доѣзжали до Иванищева, не встрѣтивъ никого, а онъ двигался въ одномъ съ нами направленіи, отъ станціи. Оттуда, къ тому же, никто, кромѣ насъ, и не выѣзжалъ, да у здѣшнихъ извозчиковъ и не бываетъ такихъ бубенцовъ. И куда же, наконецъ, дѣвалась тройка съ тарантасомъ? Дорога съ шоссе ведетъ только на усадьбу тетушки и кончается тутъ, не идя никуда дальше: проѣхать мимо усадьбы невозможно.

Все это мы съ сестрой обдумали молча, про себя, но извозчикъ, попросившій дозволенія поставить гдѣ-нибудь и покормить замотавшихся лошадей и побыть до утра на усадьбѣ, разсказалъ, конечно, на людской о встрѣтившемся намъ тарантасѣ-призракѣ, а изъ людской разсказъ его перешелъ быстро во флигель старушекъ и, наконецъ, на нашу половину.

Я, однако, не желая пугать и безъ того нервно настроенныхъ кузинъ, объявилъ, что тарантасъ мы, дѣйствительно, встрѣтили, но только на шоссе и что онъ вовсе не въѣзжалъ въ Дубравскую аллею.

До свѣта было еще далеко, на завтра ожидался утомительный день, и я попросилъ отвести мнѣ гдѣ-нибудь мѣсто, чтобы прилечь и соснуть.

Въ домѣ не было свободной комнаты, и я отправился въ стоявшую за домомъ въ саду баню, гдѣ мнѣ наскоро постлали на лавкѣ постель. Мнѣ и въ прежніе пріѣзды не разъ приходилось ночевать тамъ.

Не раздѣваясь, я завалился на лавку, потушилъ свѣчу и уже сталъ было засыпать, когда услыхалъ, какъ съ шумомъ растворилась наружная дверь, ведшая въ предбанникъ, которую, какъ мнѣ помнилось, я заперъ на крючокъ. Я прислушался и сейчасъ же до меня долетѣлъ совершенно явственно скрипъ двери изъ предбанника и кто-то, тяжело шлепая обутыми въ мягкое ногами, вошелъ въ баню и, постоявъ немного на мѣстѣ, двинулся ко мнѣ; я разслышалъ даже скрипъ одной плохо пригнанной половицы. Я схватилъ, положенную рядомъ со мной на стулъ, спичечницу, зажегъ свѣчу и убѣдился, что въ банѣ никого нѣтъ. Наружная дверь оказалась запертой на крюкъ, плотно лежавшій въ петлѣ.

Результатъ нервнаго настроенія, навѣяннаго смертью тетушки и странной исторіей съ тарантасомъ, подумалъ я и, хотя уже не такъ охотно, но расположился опять на постели и, подождавъ немного, потушилъ свѣчу.

Но какъ только я очутился въ темнотѣ, я услыхалъ,—я не галлюцинировалъ и мнѣ ничего не „казалось",—тотъ же очень громкій шумъ отворяемой съ силой двери въ предбанникъ, скрипъ второй двери...

Я вскочилъ и схватилъ спичечницу, но, торопясь, выронилъ ее; пока я искалъ спичечницу, шаря по полу, я слышалъ, какъ, тяжело шлепая мягкими туфлями, ко мнѣ приближался, не спѣша, кто-то грузный.

Я, сознаюсь, испугался этого молчаливаго, не виднаго, но несомнѣннаго движенія на меня чего-то невѣдомаго, хотѣлъ крикнуть, но не могъ и, найдя, наконецъ, спичечницу, сѣлъ на лавку и чиркнулъ спичку, но она не зажглась; въ это время я почувствовалъ, какъ на мою лавку, въ ногахъ постели, опустился пришедшій,—лавка погнулась подъ его тяжестью... Спичка вспыхнула и я, не глядя въ ту сторону, гдѣ „онъ" сѣлъ, зажегъ свѣчу и, наконецъ, заставилъ себя посмотрѣть туда... Ни на лавкѣ, ни гдѣ-либо еще въ банѣ не было никого, и дверь опять оказалась запертой.

Я уже не рѣшился тушить свѣчу и хотя прилегъ, но чувствовалъ, что не засну. Свѣча плохо освѣщала темную, за-

коптѣлую баню; на нее тянуло изъ окна и пламя колебалось; казалось, вдоль стѣнъ двигаются какія-то тѣни; по наружной стѣнѣ бани порывисто и назойливо стучали сучья куста, росшаго подлѣ, раскачиваемые вѣтромъ; слышно было, несмотря на шумъ дождя, какъ на усадьбѣ отвратительно завывала собака.

Я не сомнѣвался въ томъ, что мои испытанія еще не кончились и ждалъ чего-то; по спинѣ пробѣгалъ неотвязный холодокъ и охватившій меня неразумный страхъ все наросталъ. И вотъ, наконецъ, раздались удары въ окошко, а потомъ въ наружную дверь. Я бросился въ предбанникъ, но не рѣшался отворить дверь. Однако, удары учащались и мнѣ не подъ силу стало слушать ихъ, ничего не предпринимая. Держа передъ собою свѣчу, я снялъ крюкъ съ петли... Въ то же мгновеніе дверь распахнулась и свѣчку задуло порывомъ вѣтра... Не знаю, что было бы дальше со мною, если бы я не узналъ голосъ сестры, робко и испуганно спрашивавшей: „Петя, это ты?“

Сестра пришла ко мнѣ въ сопровожденіи обѣихъ кузинъ, чтобы звать въ домъ, гдѣ онѣ не рѣшались оставаться однѣ безъ меня. Тамъ было нехорошо.

— Покойная тетушка ходитъ по всему дому, словно ищетъ чего-то, — увѣряли, буквально дрожавшія отъ ужаса, кузины.

По ихъ словамъ, какъ только онѣ улеглись и потушили огонь, въ спальнѣ тетушки, гдѣ она скончалась, послышались шаги и не безразличные...

Онѣ обѣ узнали тетину походку, какая у нея была подъ конецъ ея жизни, тяжелая и въ мягкихъ теплыхъ туфляхъ. Шаги были сперва слышны въ тетиной спальнѣ, въ коридорѣ, столовой и, наконецъ, приблизились къ комнатѣ кузинъ, которыя сидѣли на своихъ постеляхъ, не смѣя двинуться и даже заговорить. Но въ это время къ нимъ вошла съ зажженной свѣчой сестра, и страшные звуки замолкли. Слышали эти шаги не только кузины и сестра, а также одна изъ флигельныхъ старушекъ, оставшаяся на ночь въ домѣ и сидѣвшая въ кухнѣ.

Я, конечно, исполнилъ желаніе кузинъ, [и въ эту ночь мы уже болѣе не ложились, не тушили нигдѣ огня и сидѣли всѣ вмѣстѣ въ столовой до утра. Шаговъ болѣе не было слышно.

Утромъ пріѣхалъ приходскій священникъ и была отслужена первая панихида по тетушкѣ. Раньше нельзя было добиться священника: приходскій и два сосѣдніе батюшки отсутствовали въ день смерти тетушки; всѣ они были на освященіи новой церкви большого сосѣдняго села и вернулись къ себѣ лишь поздно вечеромъ.

Тетушкины старушки, посовѣщавшись, выяснили для себя совершенно безспорно причину странныхъ явленій, свидѣтелемъ которыхъ мнѣ пришлось быть.

По ихъ авторитетному толкованію тройка, явившаяся намъ на шоссе, была не что-либо реальное, а видѣніе, посланное намъ покойной тетушкой, душа которой еще не разсталась окончательно съ земнымъ, чтобы помочь намъ добраться до нея. Шаги въ банѣ и домѣ были ея,—ходила сама покойница; а потому ходила, что не было успокоенія ея душѣ, и она требовала себѣ отъ насъ молитвенной помощи. Скончалась она скоропостижно, не только безъ исповѣди и причастія, но и безъ послѣдняго напутствія; никто и отходной надъ ней не прочелъ, а потомъ болѣе сутокъ по ней не было отслужено панихиды; ей оттого не было покоя.

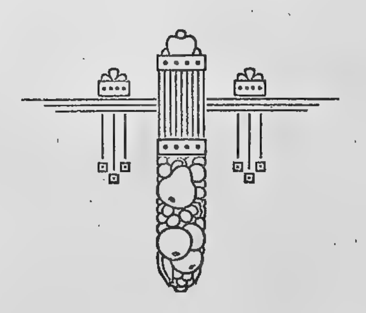
Рѣшеніе старушекъ подкрѣплялось, по ихъ словамъ, тѣмъ, что на слѣдующую ночь, да и дальше въ банѣ и въ домѣ все было покойно и никакихъ шаговъ не было слышно.

— Лично для меня,—добавилъ Граблинъ,—исторія эта, то-есть не столько шаги, которые, конечно, могли быть результатомъ настроеннаго нервно и въ опредѣленномъ направленіи воображенія, притомъ у всѣхъ насъ одинаково, а появленіе и исчезновеніе тройки съ тарантасомъ,—осталось совершенно неразгаданнымъ. Во всякомъ случаѣ, это не плодъ моего воображенія: кромѣ меня и сестры слышалъ и видѣлъ тройку извозчикъ, молодой малый, повидимому, вовсе не нервный, посторонній намъ.

Приподнятое настроеніе общества, подъ вліяніемъ странной исторіи Граблина, очень понизилось, да было уже поздно, и гости поспѣшили разойтись по домамъ.

Н. Давыдовъ.

СОДЕРЖАНІЕ.



РИСУНКИ.

ОБЛОЖКА — Н. А. Андреева.



Отчетъ по изданію сборника «КЛИЧЪ»—на помощь жертвамъ войны, Москва, 1915 г.

По подписному листу на изданіе сборника . .	10.098 р.	72 к.
Выручено отъ продажи книгъ 1-го изданія . .	27.594 »	—
» » » » 2-го »	11.487 »	75 »
Получено $^0/_0{}^0/_0$ по текущему счету	374 »	58 »
Всего . .	49.555 р.	05 к.
Расходы по 1-му изданію въ 10.000 экз.. . .	10.236 р.	08 к.
» » 2-му » » 4.500 » . . .	5.298 »	97 »
Всего . .	15.535 р.	05 к.
Итого получено чистаго дохода	34.020 р.	— к.

Тридцать четыре тысячи двадцать рублей.

Деньги полностью переданы въ кассу «Дня Печати».

Н. Телешовъ.

„ДЕНЬ ПЕЧАТИ“

ВЪ ПОЛЬЗУ ЖЕРТВЪ ВОЙНЫ.

Суммы, вырученныя отъ изданія въ Москвѣ 9 февраля 1915 года однодневной газеты **«День Печати»** (52620 р.) и отъ литературнаго сборника **«Кличъ»** (34020 р.), изданнаго въ Москвѣ 16 марта 1915 года, по постановленію собранія представителей московской печати, издательствъ, редакцій газетъ, литературныхъ организацій и участниковъ «Дня Печати», распредѣлены слѣдующимъ образомъ:

1.	Пироговскому Обществу	10.000 р.
2.	Московскому О-ву помощи жертвамъ войны. . . .	10.000 »
3.	Всероссійскому Земскому Союзу на изготовленіе респираторовъ-противогазовъ	10.000 »
4.	О-ву дѣятелей печати и литературы на помощь пострадавшимъ отъ войны лицамъ, причастнымъ къ печатному дѣлу	10.000 »
5.	На помощь бѣженцамъ, 3-мъ обществамъ: «Борьбы съ дѣтской смертностью», «Помощи жертвамъ войны» и «Помощи дѣтямъ-бѣженцамъ»	15.000 »
6.	На помощь военноплѣннымъ, черезъ Всероссійскій Земскій Союзъ	5.000 »
7.	На изданіе сборника «Въ помощь плѣннымъ русскимъ воинамъ»	2.640 »
8.	Національнымъ организаціямъ, оказывающимъ помощь пострадавшимъ отъ войны населеніямъ: армянскому, грузинскому, еврейскому, латышскому, литовскому, мусульманскому, польскому и украинскому (черезъ Пироговское О-во) по 3.000 р. на каждую организацію	24.000 »
	Всего . . .	86.640 »

Восемьдесятъ шесть тысячъ шестьсотъ сорокъ рублей.

Секретарь организаціоннаго Комитета по устройству «Дня Печати» въ Москвѣ *С. Раецкій.*

